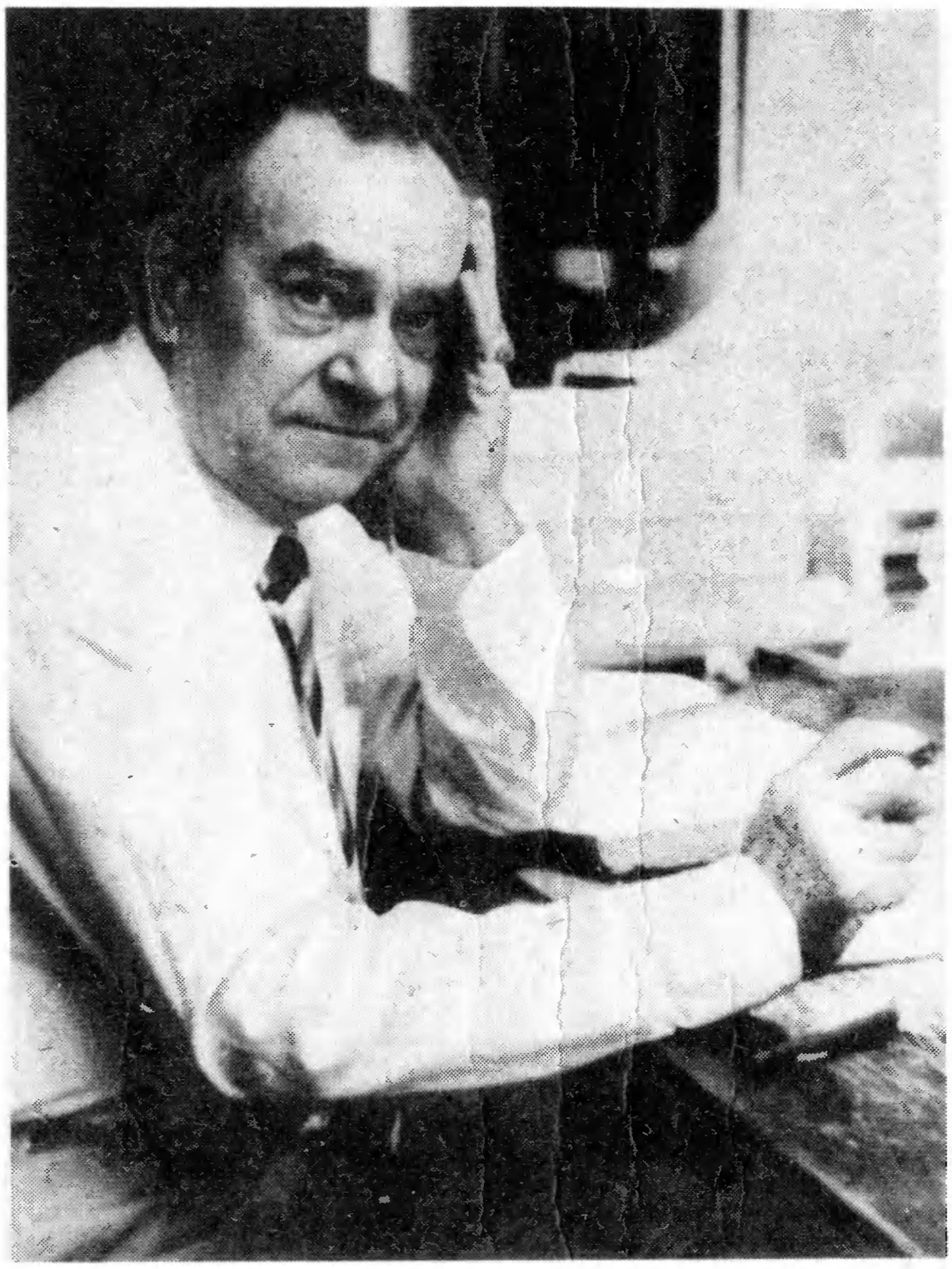
ISSN 0131-6044

РОМАН-ГАЗЕТА

(1151) ·1991

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА



Валентин Саввич Пикуль (1928—1990) принадлежал к поколению, чье детство было опалено Великой Отечественной войной. Тринадцатилетний мальчишка, тушивший «зажигалки» в блокадном Ленинграде, через год — учащийся Соловецкой школы юнг, он в пятнадцать лет становится командиром боевого поста на эскадренном миноносце «Грозный».

За сорок лет подвижнического литературного труда В. С. Пикуль вернул русскому человеку значительную часть великой родной истории. Он подарил миллионам и миллионам своих читателей вошедшие в сокровищницу нашей литературы книги: «Баязет» (1961), «Париж на три часа» (1962), «На задворках великой империи» (1964—1966), «Реквием каравану PQ-17» (1970), «Пером и шпагой» (1971), «Моонзунд» (1972), «Битва железных канцлеров» (1977), «Богатство» (1978), «Три возраста Окини-сан» (1981), «Фаворит» (1984), «Крейсера» (1985), «Каторга» (1987), «Честь имею» (1989) и другие.

Многие произведения изданы в Болгарии, Чехословакии, Франции, Японии, Сирии, Китае и других странах.

Валентин Саввич Пикуль был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, Дружбы народов, медалями.

В 1988 году за роман «Крейсера» был удостоен звания лауреата Государственной премии РСФСР.

РОМАН-ГАЗЕТА
НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ · МОСКВА
(1151) · 1991
Основана в 1927 г.

В этом номере журнала по вине полиграфкомбината перепутаны местами несколько страниц. Содержание текста не нарушено и соответствует нумерации страниц.
В связи с чрезвычайным дефицитом бумаги перепечатка журнала невозможна.
Приносим извинения читателям за неудобство пользования журналом.
Полиграфкомбинат

Валентин Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Роман

Памяти моей бабушки —
псковской крестьянки
Василисы Минаевны
Карениной, которая всю свою
долгую жизнь прожила не для
себя, а для людей,—
посвящаю

ОТ АВТОРА

Роман «Нечистая сила» я считаю главной удачей в своей литературной биографии, но у этого романа очень странная и чересчур сложная судьба...

Помню, я еще не приступал к написанию этой книги, как уже тогда начал получать грязные анонимки, предупреждавшие меня, что за Распутина со мною расправятся. Угрожатели писали, что ты, мол, пиши о чем угодно, но только не трогай Григория Распутина и его лучших друзей.

Как бы то ни было, роман «Нечистая сила» был написан, и вскоре же я имел договор с Лениздатом. В ожидании выхода романа отдельной книгой я уступил его для публикации журналу «Наш современник». Редакция журнала известила, что роман, слишком объемный, будет печататься в сильном сокращении.

Однако, когда он вышел, я — в журнале — обнаружил не свое, а чужое название «У последней черты», первые же страницы публикации были написаны не мною, а чужой рукой. По сути дела под названием «У последней черты» читатель получил не сокращенный вариант романа, а лишь отрывки из него, по которым никак нельзя было судить обо всей книге.

Но даже этих отрывков оказалось вполне достаточно, чтобы взволновать ближайшее окружение Л. И. Брежнева, которое в сценах коррупции при дворе Николая II, в картинах расхищения и продажности увидело самих себя и все грехи своей камарильи. Недаром же в середине публикации мой роман пожелали «редактировать» сами жены — того же Л. И. Брежнева и М. А. Суслова.

© В. С. Пикуль, 1989.
Журнальный вариант.

Первый удар был нанесен мне со стороны М. В. Зимянина, который требовал меня «на ковер» для учинения надо мною расправы. Затем появилась разгромная статья Ирины Пушкаревой (кто она такая — до сих пор не ведаю), послужившая сигналом для общей травли меня. После этого вступила в действие «тяжелая артиллерия» — в лице М. А. Суслова, и его речь, направленная против меня лично и моего романа, была угодливо подхвачена страницами «Литературной газеты».

Лениздат, конечно, сразу же порвал договор со мною, но при этом расторг договор и на издание популярной книги М. К. Касвинова «Двадцать три ступени вниз», ибо наши материалы были во многом идентичны.

Прошло много лет, вокруг моего романа и моего имени сложился вакуум зловещей тишины — меня попросту замалчивали и не печатали. Между тем историки иногда говорили мне: не понимаем, за что тебя били? Ведь ты не открыл ничего нового, все, что описано тобою в романе, было опубликовано в советской печати еще в двадцатые годы...

К сожалению, редакция Лениздата, отвергая мой роман, ориентировалась на мнение опять-таки Ирины Пушкаревой, которая писала для той же редакции: «По прочтении рукописи романа В. Пикуля так и остается неясным, зачем понадобилось автору поднимать давно забытые и погребенные на свалке истории события и факты второстепенного значения». А для меня, автора, оставалось неясным, почему события кануна революции, невольно приблизившие ее начало, оказались «на свалке» и почему они кажутся критикессе «второстепенными»?

Но не будем забывать, что писано это в том бесплодном и поганом времени, которое ныне принято называть «эпохой застоя», а потому нашим верховным заправилам совсем не хотелось, чтобы читатель отыскивал прискорбные аналогии — между событиями моего романа и теми вопиющими безобразиями, которые творились в кругу брежневской элиты. В самом деле, разве голубчик Чурбанов не похож на Гришку Распутина? Похож! Еще как похож, только бороды не имел...

Вот, думаю, главные причины, по которым роман вызвал столь яростную реакцию в самых верхних эшелонах власти.

Но теперь времена изменились, и я буду счастлив, если читатель — наконец-то! — увидит мой роман под настоящим его названием и в полном объеме.

ПРОЛОГ, КОТОРЫЙ МОГ БЫ СТАТЬ ЭПИЛОГОМ

Старая русская история заканчивалась — начиналась новая. Стелясь в переулках крыльями, шарахались по своим пещерам гулко ухающие совы реакции... Первой исчезла куда-то не в меру догадливая Матильда Кшесинская, уникальнейшая прима весом в 2 пуда и 36 фунтов (пушинка русской сцены!); озверелая толпа дезертиров уже громила дворец.

Императорскую чету временно содержали под арестом в Царском Селе; на митингах рабочих уже раздались призывы казнить «Николашку Кровавого», а из Англии обещали прислать за Романовыми крейсер, и Керенский выразил желание лично проводить царскую семью до Мурманска. Под окнами дворца студенты распевали:

Надо Алисе ехать назад,
Адрес для писем — Гессен-Дармштадт,
Фрау Алиса едет «нах Рейн»,
Фрау Алиса — ауфидерзейн!

Кто бы поверил, что еще недавно они спорили:

— Монастырь над могилою незабвенного мученика мы так и назовем: Распутинским! — утверждала императрица.

— Дорогая Аликс,— отвечал супруг почтительно,— но такое название в народе истолкуют превратно, ибо фамилия звучит непристойно. Обитель лучше именовать Григорьевской...

Помирились на том, что монастырь станет называться Царскосельско-Распутинским; перед архитектором Зверевым императрица раскрыла «идейный» замысел будущего храма: «Григория убили в проклятом Петербурге, а потому Распутинский монастырь вы повернете к столице глухой стеной без единого окошка. Фасад же обители, светлый и радостный, обратите на мой дворец...» 21 марта 1917 года, именно в день рождения Распутина, они собирались закладывать монастырь. Но в феврале, опережая царские графики, грянула революция, и казалось, что сбылась давнишняя угроза Гришки царям: «Вот ужо! Меня не станет — и вас не будет». Это правда, что после убийства Распутина царь продержался на престоле всего 74 дня. Когда армия терпит разгром, она закапывает свои знамена, дабы они не достались победителю. Распутин лежал в земле, подобно знамени павшей монархии, и никто не знал, где его могила. Место его погребения Романовы скрывали...

Штабс-капитан Климов, служивший на зенитных батареях Царского Села, однажды гулял по окраинам парков; случайно он выбрел к штабелям досок и кирпичей, на снегу коченела недостроенная часовня. Офицер фонариком осветил ее своды, заметил черневший под алтарем провал. Протиснувшись в его углубление, оказался в подземелье часовни. Здесь стоял гроб — большой и черный, почти квадратный; в крышке было отверстие, вроде корабельного иллюминатора. Штабс-капитан направил луч фонаря прямо в это отверстие, и тогда на него из глубин небытия, жутко и призрачно, глянул сам Распутин...

Климов явился в Совет солдатских депутатов.

— Дураков-то на Руси много,— сказал он.— Не хватит ли уже экспериментов над русской психологией? Разве можем мы ручаться, что мракобесы не узнают, где лежит Гришка, как узнал это я? Надо от начала пресечь все паломничества распутинцев...

За это дело взялся солдат дивизиона броневиков большевик Г. В. Елин (вскоре первый начальник бронетанковых сил юной Советской Республики). Весь в черной коже, гневно скрипящей, он решил предать

Распутина казни — казни после смерти!

. . . . . .

Сегодня дежурным по охране царской семьи был поручик Киселев; на кухне ему вручили обеденное меню для «граждан Романовых».

— Суп-похлебка,— читал Киселев, маршируя длинными коридорами,— пирожки и котлеты из корюшки-ризотто, отбивные из овощей, каша-размазня и оладьи со смородиной... Что ж, недурно!

Двери, ведущие в царские покои, отворились.

— Гражданин император,— произнес поручик, вручая меню;— позвольте обратить ваше высочайшее внимание...

Николай II отложил бульварный «Синий журнал» (в котором одни его министры были представлены на фоне тюремной решетки, а головы других обвивали веревки) и ответил поручику тускло:

— А вас не затрудняет несуразное сочетанье слов «гражданин» и «император»? Почему бы вам не называть меня проще...

Он хотел посоветовать, чтобы к нему обращались по имени-отчеству, но поручик Киселев понял намек иначе.

— *Ваше величество,*— шепнул он с оглядкой на двери,— солдатам гарнизона стало известно о могиле Распутина, сейчас они митингуют, решая, как им поступить с его прахом...

Императрица, вся в обостренном внимании, быстро переговорила с мужем по-английски, затем внезапно, даже не почуяв боли, сорвала с пальца драгоценный перстень, дар британской королевы Виктории, почти силком напялила его на мизинец поручика.

— Умоляю,— бормотала,— вы получите еще что вам угодно, только спасите! Бог накажет нас за это злодейство...

Состояние императрицы «было поистине ужасно, а еще того ужаснее — нервные подергивания лица и всего ея тела во время разговора с Киселевым, завершившегося сильным истерическим припадком». Поручик добежал до часовни, когда солдаты уже работали заступами, озлобленно вскрывая каменный пол, чтобы добраться до гроба. Киселев начал протестовать:

— Неужели средь вас не найдется верующих в бога?

Нашлись и такие среди солдат революции.

— В бога мы верим,— говорили они.— Но при чем здесь Гришка? Мы же не кладбище грабим, чтобы нажиться. А ходить по земле, в которой лежит эта падла, не желаем, и все тут!

Киселев кинулся к служебному телефону, названивая в Таврический дворец, где заседало Временное правительство. На другом конце провода оказался комиссар Войтинский:

— Спасибо! Я доложу министру юстиции Керенскому...

А гроб с Распутиным солдаты уже несли по улицам. Средь местных обывателей, набежавших отовсюду, блуждали «вещественные доказательства», изъятые из могилы. Это было Евангелие в дорогом сафьяне и скромный образок, перевязанный шелковым бантиком, словно коробка конфет на именины. С исподу образа химическим карандашом императрица вывела свое имя с именами дочерей, ниже расписалась Вырубова: вокруг перечня имен рамкой разместились слова: *ТВОИ — СПАСИ — НАС — И ПОМИЛУЙ*. Снова начался митинг. Ораторы взбирались на крышку гроба, как на трибуну, и говорили о том, какая страшная звериная силища лежит вот здесь, попранная ими, но теперь они, граждане свободной России, смело топчут эту нечисть, которая никогда не воспрянет...

А в Таврическом дворце совещались министры.

— Это немыслимо! — фыркал Родзянко.— Если рабочие столицы узнают, что солдаты притащили Распутина, могут произойти нежелательные эксцессы. Александр Федорыч, а ваше мнение?

— Надо,— отвечал Керенский,— задержать манифестацию с трупом на Забалканском проспекте. Предлагаю: отнять гроб силой и тайно закопать его...

Вечером возле царскосельского вокзала Г. В. Елин остановил грузовик, спешащий в Петроград, солдаты водрузили Распутина в кузов автомобиля — и понеслись, только держи шапки!

— Вот уж чего я только не возил,— признался шофер.— И китайскую мебель, и бразильское какао, и даже елочные игрушки, но чтобы везти покойника... да еще Распутина! — такого со мной еще не бывало. Кстати, а куда вам надо, ребята?

— Да мы и сами не знаем. Ты, милок, куды правишь?

— В гараж. Мой «бенц» придворного ведомства.

— Вези и нас туды. Утро вечера мудренее...

Грузовик с гробом Распутина въехал в гараж министерства двора, и тут заночевали по соседству с роскошными свадебными каретами царей. Временное правительство на рассвете узнало, что гроб с телом Распутина уже начал колесить по улицам и проспектам, словно солдаты еще не решили, как с ним поступить, и это беспокоило министров. Родзянко, вторые сутки не спавший, нехотя жевал бутерброд с черствым сыром, мрачно ругался:

— Сколько мне возни было с этим Гришкой, пока он щеголял тут живым, так теперь и от дохлого нет покою. Звоните же куда-нибудь! Выясняйте. Надо что-то делать с этим поганцем!

. . . . . .

Невский, дом № 100 — штаб броневых сил Петрограда; полковник Антоновский названивал в Михайловский манеж:

— Второму дивизиону поручика Келлера выдать магнето, и пусть заводят моторы. Выезжать из манежа на первой скорости. Маршрут: Выборгское шоссе — в сторону Парголова.

— А что там стряслось, господин полковник?

— Стало известно, что Распутина повезли именно в этом направлении. Все трамваи города уже изменили маршруты — толпы народу едут в Парголово, туда бегут все кому не лень.

Между дачными станциями Шувалово и Ланская броневики включились в оцепление, дабы сдержать петербуржцев, нахлынувших сюда, как на праздник.

В наведении порядка броневикам помогали низкорослые волынцы и казаки Сводного гвардейского полка. Внутри большого заснеженного поля закурился едучий дымок, потом пламя полыхнуло выше. Скоро язык костра, со свистом коптящий, казалось, коснется низко летящих облаков. Трескуче названивая, с Поклонной горы уже летела в низину выборгская пожарная команда; перед красными, как огонь, повозками, перед первобытною яростью долгогривых пегих коней народ заранее разбегался в стороны... Решено было казнить Распутина именно здесь!

С гроба сбили тяжелую крышку, и перед людьми предстал долговязый мужик в вельветовых портках, в рубахе из тканого серебра. Пахло от Распутина приторно-сладко, но покойницкий дух забивал тончайший аромат благовоний, которыми его обильно умастила царица, а все раны на теле Распутина были искусно зашпаклеваны душистыми смолами. Всех особенно поразило, что впалые щеки Распутина были густейше нарумянены, а губы даже подкрашены. Сейчас он напоминал фараона дикой древности, извлеченного из лабиринтов загадочных пирамид... Вокруг топали валенками:

— Вот он какой! — кричали вразброд.

— Хоронили-то по первому разряду.

— Это верно... не как пса! Берегли...

А костер уже распылался так, что вокруг него оплавился снег. Пора извлекать мертвеца из гроба, однако охотников браться за него руками не нашлось. Пробовали зацепить Распутина крючьями, но Гришка вдруг начал расползаться, будто мокрое мыло. Тогда брандмайор, мужчина решительный, гаркнул:

— А чего мучаться? Гроб ему — заместо сковородки. Становь в духовку! Изжарим так, чтобы на зубах хрустел, язва!

Бесстрашные пожарные прислонили к поленнице костра два наклонных бревна, соорудив подобие аппарели, гроб с Распутиным был водружен на эти бревна, словно вагон на рельсы. Работая длинными баграми, солдаты толкали Распутина в самое пекло огня. Под влиянием жара труп начал корчиться, и Распутин вдруг... сел. Сел, и глаза у него стали... открываться! Гроб с треском плавился под ним, стекая в огонь каплями свинца и цинка. Брандмайор глянул на свои прожженные рукавицы, сказал:

— Горит, будто в аду. Приходи, кума, любоваться!

Сожжение продолжалось 10 часов подряд. К ночи пламя пошло на убыль, медленно меркли раскаленные угли. Дул сильный холодный ветер, разнося над толпою коптящий дым, однако народ не расходился. Ступая по жирному горячему пеплу, солдаты внимательно исследовали место казни. Вывод их был утешителен:

— Сгорел как свечка, и даже фитилька не осталось...

Всю землю вокруг костра перекопали лопатами, и никто бы не догадался, что здесь был казнен Распутин. А через несколько дней дотошные газетчики установили, что по странному капризу судьбы Распутин был предан казни как раз на том месте, где накануне рабочими-выборжцами была сожжена дотла роскошная вилла врача Джамсарана Бадмаева; история иногда словно подшучивает над людьми — пепел Гришки Распутина оказался перемешан с золою тайного притона, где он много лет пил и гулял, где он обдумывал свои черные планы. А потом сюда, на это ровное поле, повадились приезжать таинственные дамы, закрывая вуалями холеные породистые лица. Они торопливо собирали в сумочки землю пополам с пеплом и снегом, крестились, целуя ее, и уходили прочь — до ближайшей остановки кольцевого трамвая...

Окольными путями такая же горсть земли дошла и до бывшей императрицы, которая «впала в состояние анемии, потеряв способность не только передвигаться, но лишилась и дара речи. Болезнь на сей раз осложнилась параличом конечностей, и ее приходилось кормить, т. к. она не в состоянии была удержать в руках даже салфетку». Приступ неврастении сменился мрачной и тупой меланхолией. Императрица целыми днями, безучастная ко всему на свете, просиживала в креслах, часто плача. На вопросы мужа она мычала, отвечая лишь слабым подергиванием плеч. Потом (что закономерно для этой женщины!) ее навестила острая форма мании преследования. Средь глубокой ночи дворец огласился дичайшим воплем, от которого даже бывалым солдатам стало не по себе.

— *Он жив*... Григорий опять со мною!

Николай II уговаривал жену успокоиться:

— Аликс, не кричи так. Неудобно перед охраной...

Вся колотясь, она рассказывала ему:

— Сейчас он навестил меня. Боже, в каком виде! Борода и волосы обгорели, Григорий с трудом передвигался на обожженных пятках... Он не сгорел! Укрываясь за плотным дымом, святой мученик выбрался из гроба... И знаешь, что он сказал мне?

— Что, милая Аликс?

— Нагнись, Ники, ко мне. Я шепну его слова...

Бывший император склонился над бывшей императрицей.

— Он сказал, чтобы мы скорее бежали. Надо бросить здесь все, даже детей, и... бежать, бежать! Англия, он сказал, не примет нас, а Керенский обманет. Бежать надо в Германию, у нас сейчас последняя надежда — на кузена-кайзера и на его могучую армию!

. . . . . .

«Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, имя которой — Петербург... Куда ты несешься, жизнь? Ото дня, от белой ночи — возбуждение, как от вина». Худущий, нелюдимый солдат в длинной шинели бродил по городу, размышляя о революции — неукротимой, как набег скифской конницы на чужеплеменные шатры.

Столичные барышни вряд ли узнали бы теперь в этом солдате кумира их первой любви — Александра Блока! Нет, уже не стихи о Прекрасной Даме замышлял он на распутье ветров, где еще вчера старая цыганка дала ему поцеловать свою руку, всю в кольцах и перстнях.

На скользком мосту, при зыбком свете фонаря, Блок записывал самое откровенное, самое наболевшее: «Что-то нервы притупились от виденного и слышанного. Опущусь — и сейчас же поднимается этот сидящий во мне Распутин... Все, все они — живые и убитые дети моего века — сидят во мне. Сколько, сколько их!»

А на углу Офицерской и Лермонтовского мальчишки-газетчики звонко расторговывали последний шедевр подпольной литературы — «АКАФИСТ ГРИГОРИЮ РАСПУТИНУ»:

...Мы, Григорий Первый и Последний, конокрад и бывший Самодержец Всероссийский, Царь банный и Великий Князь драный и проч., объявляем всем нашим распутинцам; министрам, ворам-карманникам, жандармам-охранникам и прочей нашей сволочи: пребываем сейчас в аду и каждый день с Сатанинского благословения в баньке паримся... Дано в аду в день сороковой Нашей Собачьей Кончины. На подлинном верно Собственным Его Скотского Величества задним копытом наляпано —

Г р и ш к а,

а скрепил подпись адский секретарь

барон фон-Фридрихераус!

> Конечно, мы ни на секунду не отступим от нашей марксистской философии, истории, мы знаем, что всякая личность, в том числе и личность монарха, закономерна. Но мы все-таки вряд ли предполагали все то количество глупости и подлости, которое наделали на своих тронах эти господа.
>
> Л у н а ч а р с к и й А. В.

Часть первая
ПОМАЗАННИКИ БОЖИИ
(1880-е годы — осень 1905-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Давно это было... На почтовом тракте, что стелился от Саратова в степи заволжские, служил в ямщиках мужик — прозванием Ефим Вилкин; небогато жил, ибо крепко запивал по трактирам дорожным. Сберется в «гоньбу» — честь честью, как положено, месяц или два нет его дома, а потом явился кормилец — все уже пропито и даже шапку с рукавицами посеял в дороге.

Завоет тут жена, заревут дети. Ефим тоже убивается:

— Пелагеюшка, не гневайся. Детки, не судите своево батюшку. Едешь-едешь, а тут — глядь — кабак. Как не зайти? Как не погреться? Опять же, щец похлебать охота. Ай-ай, во грех-то где! Попутал окаянный. Спаси и помилуй нас, царица небесная...

Так и бедствовали. Но однажды отвозил Ефим Вилкин земскую почту на лошадях казенных. И столь упился на станции Снежино, что даже не заметил, как выпрягли коренника из оглобель, а люди воровские на растопку печей и самоваров всю почту в клочки разнесли... Дело подсудное! Вилкина усадили в острог губернский, где он и казнился совестью. Уж как он плакал там, как он каялся — нет, не отпустили его до дому.

— Сиди! — было сказано, и сидел, коли велят.

Семья его за это время совсем обнищала. Жена нанималась к мещанам потолки белить, старший сын Лаврушка мыл коляски для господ проезжих; дома еще два рта разевались — Марьюшка, падучей страдавшая, да Гришенька, который с печи не слезал. Через год явился Ефим Вилкин, все иконы в избе перецеловал:

— Заручаюсь пред богом — винца в рот боле не возьму!

И слово́ сдержал — пить бросил. Однако, хотя и был Вилкин отныне тих, аки ангел, на почтовую гоньбу его не брали. Попробовал было при купцах устроиться — делать, что ни прикажут, но купцы иметь Ефима в услужении не пожелали. «Ты ж в остроге сиживал»,— говорили ему... Вилкины вконец обхудились.

— Христа ради побираться надоть, — горевал Ефим.

Но тут повезло. По губернии Саратовской объявили призыв к малоземельным мужикам, чтобы искали счастья на просторах сибирских, где жирная земля издревле лежит втуне, еще девственна, плугом не тронута... Вилкин сказал своей Пелагее:

— Ну, мать, выбирай: в Сибирь али башкой в прорубь...

Продали они домишко, перецеловались с родней, покидая ее на веки вечные, и покатили на восток, сидя на телеге поверх жалкого скарба. Переселенцев размещали в 80 верстах от Тюмени, на новых целинных землях, отчего сибиряки Ефима Вилкина прозвали на свой лад — «Новым»; по местному обычаю, дети Ефима именовались уже *Новых,*— так зародилась совсем другая фамилия, противу которой Вилкин не возражал: «За новой жизнью приехали — вот и поновились!» Скоро в тайге выросло молодое село, которое — по церкви — назвали Покровским, а покровские мужики выделяли Ефима как умевшего подписываться, как много повидавшего.

— Башка! — говорили они.— Энтот всем носы утрет...

За трезвость похвальную выбрали Ефима сначала в церковные старосты. А когда́ Покровское с окрестными выселками преобразовали в волость, Ефима Новых провели в волостные старшины. Далеким сном казались теперь мужику синие вьюги на заволжских трактах. Ефим картуз заимел, стал чайком из самовара баловаться. И даже дерзостно помышлял к старости кровать купить:

— С шарами... А шары чтоб сверкали, ядрена вошь!

Но даже во дни табельные, во дни значительные от водки он взоры свои геройски отвращал, говоря с немалым достоинством:

— Рад бы уважить, но потребить не могу. Потому как всю пайку винища, свыше мне господом отпу-

щенную, уже восприял по-божески, а ныне угощаться даже задарма не рыскну... Увольте, люди!

И дома у Новых — достаток, у каждого по тулупу и валенкам. Все трудились. Один лишь Гришка зимами на печи лежал, а по весне вытаскивал кислые овчины под плетень, дрыхнул на солнцепеке. Средь крестьянских детей выделялся он крайней нечистоплотностью, отчего его на селе иначе, как «сопляком», и не звали. Поначалу-то, дабы вразумить сыночка, Ефим немало вожжей об него измусолил. Но к труду приохотить не мог — и отступился:

— Пущай уж валяется... падаль. Слава те, хосподи, нонеча мы не бедные. Одного-то лодыря как-нибудь прокормим.

Вдруг начала помирать Пелагея, и Ефим велел Лаврентию скакать верхом по округе, дабы найти добрую знахарку. Сын вернулся домой, когда мать уже на столе лежала, и сам свалился на лавку. Разгорячась, гнал он лошадь, на ветру ознобился — в сорок дён скрутила парня злая чахотка. Два могильных холма не успели еще травой порасти, как случилась новая беда. Пошла как-то Марья стирать на речку, нагнулась над водой, чтобы порты батькины прополоскать, тут девку схватило в корчах — и бултых в воду! Под праздник светлого воскресения Ефим Новых разговелся в церкви и объявил односельчанам:

— Видать, не угодил я богу. Теперича *рыскну*...

И — запил! Начал разорять хозяйство с телеги, а кончил тем, что даже иконы пропил. Осталась голая изба, вся в паутине. Град выбил стекла в окошках, Гришка кое-как заткнул их старыми валенками. Ефима лишили звания церковного старосты, а губернатор не стал держать его в волостных старшинах. Земля опустела — отец пьяный да сын ленивый, разве они зерно бросят в землю? Чтобы не возиться с нею, разом пропил Ефим и землю — аж до самого плетня, что ограждал его дом от забытой пашни. Потом и плетень обменял за два штофа... Сам пил, угощал и сынка родимого:

— Пей, Гришуня, да поговори со мной. Скушно мне!

Гришка подрастал в звериной молчаливости. В ту пору, когда он водки попробовал, было ему годков пятнадцать, не больше. Вырос костлявым, мокрогубым, бессловесным, рано полезла из него мужская растительность. В один из дней, мучимый с похмелья, Ефим стащил с соседского забора цветной половик из тряпок, отнес его в кабак. В необъятных анналах истории по этому поводу сказано: «Крестьяне порешили бывшего своего кумира собственным мужицким судом: ворвались в избу к нему, поочередно избивая Ефима, переломав ему все ребра сразу, так что он вздохнуть не мог и потерял сознание». Из уезда приехал фельдшер, велел доставить избитого в больницу — до города. Покровские мужики лошадь с телегой дали, но ехать до Тюмени не пожелали:

— Пущай Гришка и отвозит, он же сыном ему доводится, а мы Ефиму не родня. А коль помрет Ефим... ну-к, што с того? С кем того не бывает? И все помрем... Эка невидаль!

Сын отвез полумертвого отца до Тюмени, и всю долгую дорогу, бултыхаясь в соломе, тот поминал свою мечту о кровати:

— Не повезло. Видать, не леживать мягко под шарами...

Гришка в больнице так и остался. Жил под лестницей, кормился объедками от больных. А врачи подростка приметили:

— Эй, малый! Не крутись без толку. Ступай в палату и за сидельца будь. Да приучись руки-то с мылом мыть...

Средь тюменских врачей немало было тогда и сосланных студентов, вечно движимых лучшими побуждениями. От них Гришка кое-как постиг грамоту, научился читать вывески на трактирах. Любил он, когда стихнет в больнице, приткнуться в уголку и слушать умные речи. Мудростью не проникся, но кое-что из радикальных суждений все-таки запало в душу. Был он, однако, сонлив и ленив, труда избегал, в повадках нерасторопен.

— Сиделец,— истошно звали его из палаты,— тащи судно скоряй! Или сам не вишь, что человек под себя нуждится!

Таскать горшки из-под хворых — работа, вестимо, не из самых веселых. Но зато (будем справедливы) в больнице тепло и сытно, никто Гришку не обижал, мог бы он годков через пять и в санитары выбиться. Но тут лукавый попутал — стащил Гришка узелок с деньгами, что остался лежать под подушкой умершего...

Врачи вышибли его из больницы на улицу!

Долго скитался парень, бездомный, подворовывая где мог, потом перебрался в губернский Тобольск. Муза истории, божественная Клио, временно потеряла его из виду, а через несколько лет она обнаружила Гришку половым в трактире по названию «Не рыдай». В трактире этом с утра до ночи только и слышалось:

— Гришка, самовар благородным клиентам оттащи.

— Чичас! Вот тока пьяного вышибу.

— Девицу Цветкову провесть до купца Ужаснова.

— Моментом! Эй, Дашка, пошли.

— Гришка, дюжину пива господам извозчикам.

— Сей секунд! Тока вот блевотину подотру...

«Не рыдай» был такой славы, что добрых людей туда на аркане не затащишь. Но в Тобольске считался самым веселым местом, где можно и себя показать, и на людей посмотреть. Опять же Гришке здорово повезло: водки этой самой — хоть залейся! После гостей в рюмках столько недопито, что к вечеру сам едва на ногах стоишь. Пьяницы, они ведь балованы — вилкой закусочку сверху ковырнут, а далее больше разговаривают. И сыт и пьян Гришка!

Но однажды пришли в трактир двое. На диво трезвые. Одеты суконно. В сапогах со скрипом на высоком московском ранте. И вели себя вполне осмысленно: гоняли чаи с конфеткой вприкуску, глазами по сторонам бдительно зыркая. Присмотрелись они, что за люди вокруг, и один из них властно поманил Григория пальцем:

— Эй, носатый, подь сюды... Да не бойсь — спросить хотим. Не знаешь ли, кака кобыла дешевле — куплена али крадена?

— Гы-гы-гы! Всяк знает, что крадена дешевле.

— Уверен? — спросили его.— Тогда пошли с нами...

Гришку закружило в лихой и опасной жизни, в которой — ни кола, ни двора, сегодня не ведал он, будет ли жив завтра. Заматерел, заволосател. Конокрад деревенский — всеми палками битый, мрачный и страшный... С богатой выручки на ярмарках плясал он по трактирам в рубахе, расшитой васильками, висли на его жилистой шее развеселые бабы-солдатки:

— Ох, и Гришка! Сокол ты наш разлюбезный...

. . . . . .

Как раз о ту пору прогремел на Москве судебный процесс — судили *всю* деревню, от мала до велика. Мужики, бабы и дети линчевали конокрада дрекольем. Экспертиза установила, что у конокрада были разорваны шейные позвонки, отчего он — по всем правилам! — должен бы умереть на месте. Однако вор доказал, что наука способна ошибаться. Замертво рухнув, конокрад вдруг воспрянул от земли и пулей влетел в деревенский кабак. Там он хлестанул косушку водки, закусил шматом жирной ветчины с хлебом, после чего покорился выводам медицины и умер на пороге, не расплатившись за выпивку и закуску... Путаная русская жизнь породила особых людей с философией проще лаптя лыкового: «Краденая кобыла дешевле купленой!» В конокрады шли мужики, безжалостные к людскому горю, двужильные здоровьем, заранее готовые выносить побои от целой деревни. Конокрад невольно становился отщепенцем народа и с каждой украденной лошадью отходил от крестьянского мира все дальше, вставая не только против закона, но и делаясь врагом своего народа, который он — враждуя с ним! — учился презирать. И носили они сапоги со скрипом, рубахи шелковые, ножики за голенищами, а в глазах у конокрадов было что-то дикое и озорное, было что-то бесовское.

Их боялись мужики, но зато как любили бабы!

...А теперь, читатель, мы отправимся в Гатчину.

1. ГАТЧИНСКИЕ ЗАТВОРНИКИ

Сто лет назад Гатчинский замок казался столь же несуразен и дик, как и сегодня. Каркали вороны в старинном парке. Вечерняя метель заносила тропинки... В тесной комнате замка, заставленной неуклюжей мебелью, ворочался, словно медведь в посудной лавке, громадный дядька с бородой, из-под которой проглядывало плоское лицо калмыцкого типа. Вот он протиснулся к столу, что-то начал писать — и перо кажется ничтожным в его большущей лапе с красными, будто ошпаренными кипятком, пальцами. Дверь в соседнюю комнату чуть приоткрыта, и время от времени жена заглядывает в кабинет мужа. *Пока* все идет как надо: муж вершит делами государства, а она... она штопает его носки.

Речь идет об императоре Александре III.

Это — тип! Грубый и нетерпимый, зато яркий и выразительный. Не анекдот, что боцмана Балтийского флота учились материться у этого императора; на флоте даже бытовало выражение «обложить по-александровски». На докладе министра просвещения он наложил историческую резолюцию: «Прекращай ты это образование!» Всю жизнь его глодала забота обставить свой быт как можно скромнее. Обожал крохотные комнатенки и низкие потолки. Став императором, из Аничкова дворца перебрался в Гатчинский замок, где безжалостно распихал семью по клетушкам лакейских антресолей.

— Даже рояля негде поставить,— жаловалась императрица.

— Но зато, Мари, еще есть место для пианино...

Когда приехала гостить греческая королева Ольга, спать ее положили в большую ванну. Хорошо, что женщина была бедовая, с чувством юмора, а другая бы обиделась. Александр III таскал мундир, сопревший по швам; быстро полнея, он велел портным расставить рейтузы, чтобы в них вшили клинья. В крайности всегда есть доля безобразия. Императрица как-то получила фотографии от датских родственников, показывая их мужу, она просила:

— Сашка, можно, я закажу для них дешевые рамочки?

— Ах, Мари! Тебе бы только деньги на пустяки тратить...

Фотографии королей и принцев пришпилили на стенках канцелярскими кнопками, будто в казарме. Штаны его величества неприлично лоснились сзади, вытертые от прилежного сидения. Сколько бы ни навалили бумаг министры, император корпел над ними до глубокой ночи, считая себя обязанным изучить каждую бумажку. Недостаток образования царь восполнял примерным усердием, словно мелкотравчатый чиновничек, не теряющий надежд когда-нибудь выбиться в люди. Дело в том, что к роли самодержца его никто не готовил, и смолоду Александр бесцельно толкался в передних отца, не всегда трезвый. В цари готовили его брата Николая, на которого и проливалась вся земная благодать. Профессура вкладывала в него массу знаний, на Николая текли меды и сливки, ему сыскали самую красивую невесту в Европе. Но в 1865 году Николай скончался от излишеств, и права престолонаследования механически перенесли на Александра; с титулом цесаревича он унаследовал и невесту покойного брата — принцессу Дагмару Датскую, которая в крещении стала звать-ся Марией Федоровной...

Вот сейчас она сидит в соседней комнате и — мешает ему! Как раз пришло время хватить гвардейский «тычок» без закуски, а Машка торчит там и подсматривает, как бы муженек не выпил чего-либо. Отложив перо, император подкрадывается к буфету. Без скрипа отворяются дверцы, заранее (какое гениальное предвидение!) смазанные. Вот и вожделенный графин. Засим следует легкое, давно обдуманное наклонение его над рюмкой.

Но раздается предательское — буль-буль-буль.

В дверях уже стоит жена:

— Ах, Сашка, Сашка,— говорит она с укоризной.— Зачем ты хочешь обмануть свою старую Мари? Ведь тебе нельзя пить.

Александр III, шумно вздыхая, снова берется за дела великой и могучей империи. Правда, у самодержца прибережен один вариант в запасе. Вдруг он встает, бодро направляясь к дверям.

— Сашка, ты куда? — окликает его жена.

В ответ следует патетическое признание мужа:

— Ах, милая Мари! Не отнимай у меня хоть одно право — побывать там, куда и цари ходят своими ногами...

Теперь, когда лучезарная свобода на миг обретена, скорее вниз — в подвалы замка, где денно и нощно работает царская кухня. Здесь появление императора никого не удивляет: привыкли!

— Василь Федорович, скорей подавай «дежурного»...

Ему вручают ковш с водкой. Сладостно зажмурившись, царь осушает его до дна. Отовсюду слышны советы поваров:

— Ваше величество, закусите... нельзя же так!

— Некогда, братцы. А за поддержку — царское вам спасибо...

Опьянение у него выражалось в одной привычке, которой он не изменял смолоду. Император ложился спиною на пол и начинал хватать за ноги проходящих людей, слегка и игриво их покусывая. В таких случаях камер-лакеи звали царицу. «Сашка,— говорила она,— сейчас же спать... Ты пьян!» И самодержец всея Руси, Большая и Малыя, Белыя и Прочая, не шумствуя (и не стараясь доказать, что он трезвый), самым покорнейшим образом убирался в спальню. Гатчинский замок, и без того угрюмый, становился во мраке словно заколдован; в ночи гулко цокали копытами лошадей лейб-казачьи разъезды... Петербуржцы называли царя «гатчинским затворником», а европейская пресса — «пленником революции». Этот самодержец с тяжелым воловьим взором иногда умел и ошарашить Европу! В острый момент политического кризиса, когда многие страны искали поддержки у России, он провозглашал тост: «Пью за здоровье моего *единственного друга,* короля Черногории, а иных друзей у России пока что нет». Но подобные выкрутасы не были пустозвонством. Царь был уверен в несокрушимой мощи своего государства и, выпивая чарку за здоровье южных славян, напускал похмельную икоту на Габсбургов. Военный авторитет России стоял тогда очень высоко, и Европа смиренно выжидала, что скажут на берегах Невы...

— А пока русский император изволит ловить рыбку,— говорил Александр III, закидывая удочку в мутные гатчинские пруды,— Европа может и потерпеть. Ничего с ней не случится!

. . . . . .

Ему повезло — он любил жену. Страшный пьяница, он не устраивал попоек, а надирался втихомолку. Начальник его охраны, генерал Петр Черевин, по совместительству исполнял должность и царского собутыльника...

Мария Федоровна до старости была неутомимой танцоркой. Женщина с большой волей и выдержкой, Мария сумела подобрать отмычки к сердцу грубияна мужа. Вполне счастливая в браке, она произвела на свет трех сыновей — Николая, Георгия и Михаила (Ники, Жоржа и Мишку).

Мария Федоровна приехала в Россию, везя в своем багаже запасы лютейшей ненависти к бисмарковской Германии, и этих запасов хватило на всю ее долгую жизнь. Она страдала за свою маленькую отчизну, на которую в 1864 году напали немцы, отнявшие Шлезвиг-Голштинию, и датская принцесса, став русской императрицей, уже никогда этого не простила. Под сильным влиянием жены Александр III мстительно затирал людей с немецкими фамилиями, двигая по «Табели о рангах» всяких Ивановых, Петровых и Николаевых. Настала пора бурной русификации всего чужеродного, что было усвоено прежними императорами. Вдруг исчезли усы и бакенбарды. Подражая неприхотливому властелину, генералы и министры России буйно зарастали густопсовыми бородищами. Чем пышнее была растительность, тем больше было шансов выказать себя отчаянным патриотом. На русский же лад заново переобмундировали и армию. Солдат при Александре III получил удобную и легкую гимнастерку. Офицерский корпус принарядили в шаровары и сапоги бутылками, появились высокие мерлушковые папахи генералов и шинели упрощенного образца с двумя рядами пуговиц... Перед нами исторический парадокс: сын и внук германофилов стал отчаянным русофилом!

А жена не уставала нашептывать ему слова ненависти к жаждущей добычи Германии. Тактично оставаясь в тени престола, она настойчиво подталкивала мужа в объятия поверженной Франции, которая была готова на все — лишь бы иметь Россию в друзьях. И вот русские броненосцы отшвартовались в Тулоне; матросы вернулись в Кронштадт, имея на запястьях массивные браслеты из чистого золота,— так пылкие француженки передали оригинальный привет русскому флоту. Усиленно ковалась новая ось *ПАРИЖ — ПЕТЕРБУРГ,* безжалостно пронизывающая сердце Германии! Франция устраивала шумные «русские базары», где нарасхват шли тульские самовары, тряпичные матрешки, всякие там ванькивстаньки, игрушки-дергалки, в которых два медведя усердно кузнечили молотками по наковальне. Парижане жадно скупали иконы, вышивки, кружева, меха Сибири и оренбургские платки, проскальзывавшие в самое узкое кольцо... Петербург не спеша разворачивался на фарватер незнакомой для России политики: от Берлина — к Парижу! Правда, при встрече французской эскадры случилось быть немалому конфузу. Сможет ли Александр III обнажить голову, чтобы с благодатным вниманием прослушать «Марсельезу», зовущую к восстанию против деспотов?.. Минута была критическая. Рядом с массивною глыбой императора на мостике «Александрии» колыхалась стройная фигура жены, затянутой в серую чешуйчатую парчу. Она вдруг что-то резко сказала, и царь-деспот покорно стащил с головы фуражку.

На эскадре приплыли в Петербург республиканские министры, спешившие закрепить союз, который позже переплавится в тройственную Антанту. Под жерлами путиловских пушек накрывали столы для банкета. Орудийные салюты русских броненосцев созывали гостей к завтраку. Корабельные оркестры играли попеременно — то «К оружию, граждане!», то «Боже, царя храни!». Мария Федоровна, прежде чем проследовать к столу, все же успела шепнуть мужу:

— Сашка, умоляю — не напейся. Не ставь себя и меня в неловкое положение. Здесь тебе не Гатчина, и если ляжешь на палубу, кусая республиканцев за ноги, они тебя просто не поймут!

. . . . . .

Когда Ники станет императором Николаем II, политическое наследство отца будет виснуть на его ноге тяжелою гирей.

2. СУЩИЙ МЛАДЕНЕЦ НИКИ

Но иногда (по старой дружбе) германские эскадры, пачкая дымом балтийские рассветы, заворачивали к Петербургу. Вильгельм II обожал демонстрировать возросшую мощь своего флота. «Вилли производит впечатление человека дурно воспитанного,— говорил Александр III.— Не мое это дело, но, будь он моим сыном, я бы порол его с утра до ночи!» Кайзер отзывался о русском императоре с не меньшей злобой: «Это просто дикарь, считающий себя неуязвимым за бастионами былой русской славы. Он не понимает, что Россия начала превращаться в большую кучу гнилой картошки...»

Германские крейсера бросали якоря вдали от Кронштадта.

Александр III спрашивал брата — генерал-адмирала:

— Алешка, чего эти фервлюхтеры там застряли?

— Вилли ждет, чтобы ты отдал ему первый визит.

— Пошли туда флотского флигель-адъютанта, и пусть он за шкирку притащит ко мне этого берлинского зазнайку...

Иной прием встречал Вильгельм II у наследника русского престола — цесаревича Николая; во время прогулок в Петергофе кайзер неизменно вставал от Ники по правому боку, чтобы цесаревич не замечал его левой руки, высохшей, как гороховый стручок, и обезображенной от рождения.

Николая кайзер подчинял, подавляя нещадно:

— Проклятье божие еще веками будет тяготеть над Францией. Ваш союз с республиканцами — это угроза святым монархическим принципам. Но если вы измазались в этом альянсе с лягушатниками, так хотя бы держите их в руках, чтобы не сели на шею.

Вовсю шумели каскады и фонтаны, ликующая свежая вода дробилась на мириады брызг. Николай выглядел смущенно.

— Но так решил папа. А я ведь еще не император...

Кайзер четко впечатывал в песок каблуки своих кованых сапог с блямбами лейб-уланского полка на сверкающих голенищах.

— Я говорю с тобой как с кесарем... будущим! На твоем месте, владей я Россией, постарался бы забыть, что такая Европа вообще существует. Германия, дружественная тебе, своими силами способна переколотить все горшки на кухнях Парижа, Брюсселя и даже... в Лондоне! Твоя же страна чисто азиатская, русское будущее — на Востоке, и ты, Ники, должен с Востоком поспешить, пока туда не забрались известные в мире нахалы — англичане... Не забывай,— намекал Вилли,— что твоя прабабка была внучкой Фридриха Великого, кровь «старого Фрица» кипит в твоих жилах, как она кипит и в моих. Дай руку! Я неисправимый идеалист, и потому я слышу повелительный голос крови...

. . . . . .

Жизнь наследника слагалась в замкнутом треугольнике: Гатчина — Копенгаген — Ливадия. Невнятным шепотком вельможи судачили, что Николаю на престоле не бывать, а бывать Михаилу. Симпатии матери тоже сосредоточились на младшем сыне. Однажды под окнами дворца вдруг грянул гимн, который исполнялся только при выходе императора. Выяснилось, что гимн велел сыграть в свою честь Мишка! Но и в этом геройском случае экзекуция любимца родителей ограничилась лишь грозным окриком царя:

— Мишка, ох, дождешься... ох и выдеру же я тебя! Или ты не знаешь, что наследником твой брат Ники!

Александр III постоянно ворчал на жену, что она «испортила породу Романовых». Ники с детства страдал сильными головными болями. Он не удался в родителей — ни красотою матери, ни отцовскою статью. Подрастая, цесаревич производил на окружающих странное впечатление. «Наполовину ребенок, наполовину мужчина, маленького роста, худощавый и незначительный... говорят, он упрям и проявляет удивительные легкомыслие и бесчувственность!» Императрицу однажды навестил граф Шереметев.

— Вчера меня,— сообщил он,— посетил ваш сын с сестрою Ксенией. Я сам был молод и тоже, прости господи, любил побеситься. Но... цесаревич ведет себя довольно-таки странно.

— Что он там еще натворил? — нахмурилась мать.

— Впрочем, ничего! Только носился по комнатам, все к чертям перевертывая. *Играл в прятки.* Прятки так прятки,— согласился Шереметев, огорченно вздыхая.— Но смею думать, что когда человеку с усами пошло уже на третий десяток жизни, мне кажется, что он мог бы проводить свои вечера более содержательно.

— Ах, вот оно что! — рассмеялась царица-мать.— Но, милый граф, вы же сами знаете, что мой Ники еще сущий младенец.

Министр финансов Витте, видя, что молодой мужчина болтается без дела, хотел приобщить цесаревича к делам государства, но Александр III отвечал на это министру — честнейше:

— Сергей Юльевич, вы же сами видите, что мой сын растет оболтусом, каких еще поискать. Он запоздал в своем развитии.

А сил, чтобы развить в цесаревиче грамотного человека, было положено немало. Достаточно сказать, что химию ему преподавал славный Бекетов, композитор Кюи читал курс фортификации. Знаменитый умница Драгомиров, дававший наследнику уроки тактики, первым осознал всю тщету этих занятий.

— Не в коня корм! — заявил генерал сердито.— *Сидеть* на престоле годен, но *стоять* во главе России не способен...

Николая пичкали науками до 22 лет, после чего он радостно отметил в дневнике, что отныне с образованием покончено — раз и навсегда! Дневнику он поверял и свои главные впечатления:

«Танцевали до упаду... Ужасная смерть Литца, которого разорвали собаки... Поехали на каток, покалечились... Изрядно нализались... Очень смеялся и забавлялся... Обед у кавалергардов. Венгерцы, песенники и цыгане... Обедали у Черевина; он, бедный, совершенно надрызгался... Был картофель и Ольга к чаю... Ко мне слишком приставала кн. Урусова (гренчанка)... Я проиграл 9 руб., потом весело ужинал с песнями... Закусывали с подобающими винами и песнями... Поехал к Бергамаско и снялся с Татьяною в разных положениях... Целый день возился с насморком. Закусывал по обыкновению... Закусывали у себя... Катался с Ксенией, хлыщил за девицами по набережной... Лежали на лужайке и пили... Опять пили... Пили и закусывали...»

Пользу из учения Николай взял только от англичанина Хетса, преподававшего ему английскую речь. Хетсу удалось привить цесаревичу отличное знание языка и любовь к спортивной ходьбе. Последним обстоятельством Ники явно гордился и буквально замучивал людей, рискнувших с ним прогуляться. Позже наследник самолично освоил процесс заготовки дров, и — надо признать! — чурбаки он колол вдохновенно. Многие тогда поражались, что образование цесаревича не превышает кругозора кавалерийского поручика. Зато военная служба его оживляла! Пребывание в лейб-гусарах, которыми командовал «дядя Николаша» (великий князь Николай Николаевич), увлекло наследника. Повальное пьянство здесь начиналось с утра, а к вечеру уже наблюдали зеленых чертей. Очевидец таких сцен пишет: «Никто, быть может, не обращал внимания, что организм Николая уже начинал отравляться алкоголем: тон лица желтел, глаза нехорошо блестели, под ними образовывалась припухлость, свойственная привычным алкоголикам». Но еще страшнее оказалось воздействие на цесаревича другого его дяди, Сергия Александровича, который «протащил» племянника через угар великосветских притонов. Ежедневные вакханалии. Ники с дядей гремели тогда на весь Петербург, «и часто случалось, что гвардейские офицеры доставляли его домой в бесчувственно-пьяном виде».

Отчасти она права: Николай порою вел себя как недоразвитый ребенок. Приникнув к решетке Аничкова сада, он часами следил за движением публики на Невском проспекте. В красочном разнообразии афиш и реклам катились конки и кареты, прохаживались военные, спешили курсистки и студенты, бодро шагали по своим делам осанистые жандармы. Если бы кто из них заметил в кустах чье-то незначительное лицо с усиками, то, конечно же, не мог бы подумать, что там — за решеткой! — торчит цесаревич, будущий император России, и с невольной завистью взирает на яркое оживление чужой для него толпы, которой он скоро может повелевать.

. . . . . .

Белая мучнистая пыль нависла над плацами и лагерями русской гвардии. Маневренный сезон открыт... Между Петергофом и Царской Славянкой до поздней осени крутится и бьется, подражая настоящей битве, запутанный клубок мнимо враждующих полков. А по вечерам в зелени дачных садиков загораются лампы, из темени брызжут ухарские гитары улан, с треском вылетают пробки из бутылей с шампанским, от веранды к веранде шляются, таская в пылище пудовые юбки, загорелые ведьмы-цыганки: погадать бриллиантовому, наворожить яхонтовому... не надо ль?

Красное Село — жарко тут, душно. В стойлах хрумкали сено уставшие за день кони. Вальсы Штрауса неслись от курзала, кричали поезда на станции. Семейные полковники, встретив своих жен, уводили их в дачные кущи — под уютную сень домашних самоваров. Холостяки фланировали по бульварам, а возле лагерного театра царила, как всегда, обычная сутолока любителей Терпсихоры. «Господа,— слышались голоса,— а это правда, что вечером танцует наша несравненная Малечка?..» *Малечка* — так в кругах гвардии называли Кшесинскую. Сегодня она была в ударе. Великие князья Николай и Георгий, бисирующие ей из царской ложи, обтянутой фиолетовым бархатом, словно подогревали балерину. Белая полоска крупных и чистых зубов женщины обворожительно сверкала в потемках зрительного зала...

6 июля 1890 года Николай записал в дневнике: «Положительно Кшесинская меня очень занимает». Через несколько дней он повторил эту запись почти буквально: «Кшесинская мне положительно очень нравится». Великий князь Георгий, кажется, опередил своего брата, но цесаревича балерина тоже не отвергла... С той поры прошло много-много лет. Острые углы обкатала безжалостная река времени. С разумным тактом мы сумели отделить балерину от женщины. В нашей памяти уцелела большая и талантливая актриса. И все-таки, как ни старайся забыть дурное, Кшесинская останется для нас «роковой героиней». История знает, что почти все женщины, отмеченные подобным клеймом, как правило, были некрасивы. Вот и Малечка — крепко сбитая, с «пузырчатыми» мышцами ненормально коротких ног, невысокая и ладная, с осиной талией, а волосы темные... Даже придворные ненавидели эту «технически сильную, нравственно нахальную, циничную и наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями». Нет, она не ангел! И жила не как балерина: отчаянно кутила, ела и пила, что душе угодно, ночи напролет резалась в карты, огненные рысаки увозили ее в ночные шантаны. Беспутство не губило ее таланта, а бессонные ночи не портили внешности.

Зато потом следовал жестокий режим, почти тюремный, и строжайшая диета. Кшесинская вставала к станку и работала так, что пот хлестал с нее струями. Она трудилась, шлифуя свой талант, словно одержимая. И только крах царизма затормозил эту удивительную карьеру,— итальянский лайнер «Семирамида» увез ее от нас навсегда...

...Между тем пора бы уж цесаревичу и жениться!

3. ГЕССЕНСКАЯ МУХА

Остроумцы прошлых времен говорили: Петр I прорубил окно в Европу, не догадываясь, что через это окно полезут в Россию всякие воры и негодяи. В это же легендарное окно залетела на Русь и гессенская муха — вредитель злаков, пожиравший побеги пшеницы. Эту муху распространили по миру солдаты из Гессена, которые вывезли ее со своим фуражом. Гессенская муха ежегодно уничтожала на полях России посевы хлебов и была злостным врагом мужиков. Однако речь пойдет о другой «мухе», более опасной и зловредной. Но каждая история имеет свою предысторию...

. . . . . .

К тому времени, когда Ники стал женихом, рекорды по долголетию царствования побивала Виктория — королева Великобритании и Ирландии (она же императрица Индии). Англия уже отпраздновала золотой юбилей ее правления и готовилась отмечать бриллиантовый. Своим долгим веком высокомерная королева внесла в быт Европы новое историческое понятие — викторианство...

Понятно, что с высоты своего величия Виктория смело вершила браки своих дочерей. Старшая стала императрицей Германской, породив кайзера Вильгельма II (он открыто презирал свою маменьку за то, что в душе она оставалась англичанкой). Младшую дочь — Алису-Мод-Мэри — Виктория неосмотрительно выдала за герцога Людвига IV Гессен-Дармштадтского, и этот бурбон затиранил свою жену. Оскорбленная в браке, Алиса «испытала страсть к тюбингенскому богослову-рационалисту Давиду Штраусу... глубокая тайна окутывает этот роман, но он сильно смутил женщину, и Алиса пережила ужасные потрясения», от которых вскорости, еще молодой женщиной, и умерла. Людвиг IV, овдовев, отбил жену у русского дипломата Колемина, введя блудницу во дворец гессенских герцогов. Дочери подрастали между молитвами и сценами разврата с мордобитием их папеньки от госпожи Колеминой. В 1884 году Людвиг IV привез в Россию старшую дочь Эллу (Елизавету), выданную за царского брата Сергия Александровича; вскоре спихнул с рук и вторую дочь Ирену — за принца Генриха Прусского. Но уже подрастала младшая дочь — *Алиса*, и папаша зачастил в Петербург, прихватывая с собой и красивую девочку. Живя на хлебах русского зятя, Людвиг IV с непонятным упорством трижды в сутки обходил все окраины Петербурга; ни музеи, ни театры, ни библиотеки его не интересовали,— вечно пьяного дурака тянуло лишь в шалманы задворок русской столицы, где шумно пировали воры, извозчики и дворники. Герцог был законченный обалдуй «со старательно улыбающимися глазами и полной готовностью расхохотаться даже от рассказа о похоронах, дабы таким дешевым способом снискать популярность».

После скудного рациона Дармштадта, где гессенские принцессы чинно и благонравно хлебали вчерашний суп, Алиса с тихим ужасом наблюдала, как русские князья при игре в картишки, ленясь считать деньги, ставили золото «внасыпку» — стаканами! В 1889 году она целых шесть недель гостила у сестры Элли; подле своего беспутного папеньки Алиса очень много теряла во мнении русских и, кажется, сама понимала это. Принцесса была на голову выше Николая, отчего неказистый цесаревич стыдился подходить к ней, всегда испытывая робость перед рослыми людьми. Николая ужасно коробило, что придворные окрестили Алису «гессенской мухой»... Александр III, сам рожденный от гессенской матери, никаких симпатий к ее сородичам не испытывал (он даже ликвидировал в Дармштадте русское посольство!). И сейчас в Гатчине отлично понимали, зачем таскается в Петербург сам и таскает за собой дочку этот гессенский обормот. «Ники наш слабоволен,— сказала мать,— и я бы не хотела, чтобы он потом всю жизнь страдал под германским каблуком». Вопрос был решен за спиной Николая, который уже придумал невесте нежное имя — *Аликс* (нечто среднее между немецким «Алиса» и русским «Александра»). Однажды в Петергофе, когда отец подобрел от легкого подпития, сын рискнул завести разговор о возможной женитьбе на Алисе.

— Гессенская муха жужжит напрасно,— ответил отец.— У меня такое ощущение, что у этих гессенцев из Дармштадта много всего в штанах и очень мало чего под шляпами! Алиса же только тем и хороша, что имеет высокий рост и этим — да, согласен! — могла бы исправить твою испорченную породу...

При дворе сразу заметили, куда подул ветер, и сановники империи с их женами, еще вчера низкопоклонствующие Алисе как возможной избраннице, теперь демонстративно отвернулись от нее. Перед самым отъездом принцесса была звана на придворный бал, но кавалера для нее уже не нашлось. Подавленная таким открытым невниманием, Алиса скромно жалась в стороне от танцующих, когда перед нею предстал молодой свитский полковник Орлов и тут же насквозь пронзил сердце «гессенской мухи» малиновым звоном отчаянных шпор... Таких красавцев Алиса еще не встречала! Александр Афиногенович Орлов с его стройной фигурой, с матовой кожей лица, с глазами-маслинами,— именно он, бравируя своей дерзостью, стал для нее прекрасным кавалером. Об этом человеке следует писать до конца: заядлый наркоман, поглощавший коньяк и опиум, шампанское и кокаин, водку и морфий, Орлов был еще и мистиком с особым взглядом на скрещение людских судеб. Добавим к этому злостную реакционную сущность красавца полковника — и образ будет завершен!

— А ведь я роковой мужчина,— сказал он Алисе, обомлевшей от его красоты.— Вы не боитесь меня?

На что последовал откровенный ответ:

— Мне ли бояться вас, если я сама верю в рок!

Между ними уже тогда возникла немая духовная близость с привкусом тягучего, как мед, сладострастия, и все это (странное совпадение!) отчасти напоминало близость матери Алисы с мрачным фанатиком Штраусом... Качаясь на упругих диванах кареты, Алиса возвращалась с бала, и здесь случилось то, что она сама же хотела: за Аничковым мостом к ней запрыгнул Орлов.

— Моя жена дивная женщина. Но... вы поразили меня!

В ушах еще гремела бальная музыка, и Алиса поклялась, что никогда его не забудет. Она покинула Россию, чтобы больше сюда не возвращаться. Потом, из затишья Дармштадта, поцелуи Орлова казались ей лишь смешным эпизодом, каких будет в жизни еще немало. Русский престол стал для нее недосягаем, словно далекая звезда, и Алиса дала согласие на брак с Эдуардом Саксен-Кобург-Готским, который приходился ей кузеном.

— Но не станем спешить,— предупредила она жениха.

«Гессенская муха» словно предчуяла, что все еще может измениться, а в дневнике цесаревича Николая скоро появится пылкая фраза: «Моя мечта — когда-либо жениться на Аликс Г.».

. . . . . .

Мария Федоровна с явным удовольствием поставила сына в известность о том, что Алиса уже обручена с Кобургским.

— Разве я тебя огорчила? Но поверь моему материнскому сердцу: оно чувствует, что Алиса способна принести лишь несчастье. Я думаю,— заключила мать,— французам было бы лестно видеть под русской короной очаровательную головку истой парижанки.

Даже имя невесты было примечательно — графиня Елена Парижская; отец ее, в прошлом герцог Орлеанский, еще претендовал на бурбонский престол во Франции. Выбор для сына мать не ограничивала: существуют еще дочери герцога Коннаутского, вот красивая принцесса Вюртембергская (наполовину русская), вот и юная греческая королевна, двоюродная сестра Ники.

— Ты можешь подумать и, подумав, выбрать...

Вскоре дотошный санкт-петербургский градоначальник фон-Валь дознался, что цесаревич в Царском Селе соблазнил молодую еврейку, обещая сделать ее царицей (!); эту еврейку тут же сослали в Сибирь, чтобы она не растрепала эту дикую новость. Попутно фон-Валь точно установил, на какие такие шиши Малечка Кшесинская с ног до головы обвешалась бриллиантами. История получалась, прямо скажем, некрасивая. Александр III имел с сыновьями мужской разговор.

Скоро у Георгия обнаружились признаки чахотки, лейб-медики спровадили его на горную климатическую станцию. Черевин, как верный собутыльник царя, обладал правом говорить Александру III все, что думает, без придворных выкрутас.

— Ваше величество,— сказал он (не забывая, однако, титуловать своего приятеля),— а разгони-ка ты их всех подальше...

Александр III, по совету Черевина, велел готовить старших отпрысков в путешествие — почти кругосветное.

Об этом вояже писали многие — напишу и я!

4. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Переход от бурной балерины к замкнутой и монументальной принцессе был слишком резок, и требовалась промежуточная ступень, которую цесаревич заполнил случайной связью, в результате заболел секретной болезнью, а лечиться, во избежание сплетен, следовало подальше от дома,— такова подоплека путешествия, на которое царь навесил бирку с широковещательной надписью: «воспитательное»... Осенью 1890 года Николай приехал в гавань Триеста; тут его поджидал прибывший с Кавказа брат Георгий, имевший чин мичмана. Фрегат «Память Азова» отплыл в Пирей, где на пристани их встретила греческая королева Ольга, русская происхождением. С нею был сынок — королевич Георгий в чине русского лейтенанта, хороший спортсмен и замечательный лоботряс. Отведя его за руку в кают-компанию, королева сказала командиру фрегата:

— Мне с ним уже не справиться. Но, может, он еще послушается вас. В случае чего разрешаю вам моего лейтенанта... сечь!

Георгий греческий подмигнул Георгию российскому:

— Нам бы только до Каира добраться,— шепнул он.

Каир они прочесали так, что о них там долго еще вспоминали. Египетским пирамидам тоже отдали дань просвещения, но это — так, больше для приличия. Греческий принц Георгий, бугай здоровенный, еще издалека предвкушал индийскую экзотику:

— Теперь бы до Бомбея доплыть поскорее! Я слышал, что там женщины — на любой вкус и все разноцветные.

Нашелся в свите человек, который осмелился заявить, что столь бесстыже вести себя нельзя. Это был дипломат Михаил Константинович Ону — блестящий знаток Востока, русский посол в Афинах, который сел на фрегат в Пирее.

— А ну его! — сказал на Ону греческий королевич.

Великокняжеская троица устроила на почтенного старца настоящую охоту. Стоило послу появиться на палубе, как все трое, включая и цесаревича Николая, дружно орали:

— А ну! А ну его...

Травля беззащитного старика увлекла молодежь. Николай с королевичем достали грязную прокисшую тряпку и теперь часами лежали над входом в кают-компанию, выжидая. Ону открывал дверь, чтобы выйти на палубу, и смрадная тряпка тут же опускалась на его лысину... Дипломат признался командиру фрегата:

— Кажется, это путешествие станет самым труд-

ным эпизодом в моей биографии. Мне становится не по себе, когда я подумаю, что один из этой милейшей троицы станет моим императором...

Дул слабый зимний муссон, качки почти не было, на столах кают-компании горшки с цветами даже не привязывали. Корабли работали машинами, в помощь которым поставили косые паруса. Оба Георгия (русский и греческий) жили в кормовых каютах на общих офицерских правах. Иное дело — наследник. Николай занимал во фрегате салон адмирала, куда приглашал к столу, согласно очередности, по три офицера ежедневно, в том числе — по графику! — к нему ходил обедать и брат... Опьянев, они заводили на палубе бесовские игры. Инициатором игр являлся греческий королевич, которому сил и хамства девать было некуда. Но однажды над мачтами фрегата, идущего в океан, вдруг завитала на мягких пуантах тень балерины Кшесинской — злопамятный Ники не простил брату его успехов у Малечки! Георгий стоял в это время спиною к открытому люку. Николай со страшной злобой пихнул Жоржа от себя — и тот залетел прямо в трюм. Из глубин корабля послышался сочный шлепок тела, столь отчетливо прозвучавший, будто на железный прилавок шмякнули кусок сырого мяса... Чахотка, недавно залеченная, после падения в трюм дала яркую вспышку. В Бомбее был созван консилиум врачей — русских и колониальных, которые сообща решили, что влажный воздух тропиков лишь ускорит развитие туберкулеза. Александр III телеграфом из Гатчины распорядился: *«ГЕОРГИЮ ВЕРНУТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО»*. Новый год встречали без елки — вместо нее соорудили нечто варварское из бамбуковых палок. На рейд Бомбея, возвращаясь из Владивостока на Балтику, влетел бравый крейсер «Адмирал Корнилов», чтобы забрать на родину великого князя Георгия. Николай вежливо прервал охоту на крокодилов — ради прощания с братом, которого сам и угробил!

— Со мной все кончено,— сказал Жорж, кашляя кровью...

Николай продолжил увлекательное путешествие. Он даже прифрантился. Серая «тройка» с жилетом, на голове — котелок, в руке — тросточка. Напоминал он при этом лабазного приказчика из Сызрани или Тамбова,— вот он вышел вечерком на Дворянскую, вгоняя в трепет купеческих дочек...

. . . . . .

Проплыли мимо, словно в сказке, белые слоны Сиама; снасти кораблей были увешаны гирляндами бананов и мангустов; матросы стругали ананасы ножиками, словно репу с родимого огорода; сиамский король, искавший дружбы с Россией, прислал в дар русским морякам двух черных пантер, к которым было не подступиться, и двух милых поросят — ручных, как деревенские собачки. Была уже весна 1891 года, когда в день вербного воскресенья эскадра вошла на рейд японского порта Нагасаки. В компании с королевичем Николай начал свое знакомство с Японией. Для переездов пользовались рикшами, укрывались от дождей бумажными зонтиками. 29 апреля, осмотрев древности Киото, Николай въехал в узенькие улочки Оцу. Его вез на себе один рикша, двое других бежали сбоку, помогая везущему. За цесаревичем двигалась коляска с греческим Георгием, третьим (тоже на рикше) ехал японский принц Арисугава. Улица была шириною всего в восемь шагов. Кортеж растянулся, а по стенкам домов жались японские полицейские.

Среди них стоял и самурай Тсуда Сацо!

Двумя руками он обхватил саблю и с первого же удара рассек котелок на голове русского наследника. Со второго удара из-под сабли брызнула кровь. Георгий, выскочив из коляски, треснул самурая столь сильно, что тот сразу упал. В этот же момент сабля оказалась в руках рикши, который, не долго думая, уже начал отделять голову покусителя от тела. Тсуда Сацо, едва живого, скрутили. Николая отвели в ближнюю лавочку, где старая японка промыла водой ему раны. Врачи наложили на черепе два шва. Стало известно, что микадо Мацухито срочно выезжает к месту печального происшествия. Внук солнечной богини Аматерасу приложил немалые старания, дабы загладить вину своего самурая (Япония никак не хотела ссориться с великой соседкой из-за этого случая в Оцу). Микадо лично прибыл на борт «Памяти Азова», он буквально завалил палубу фрегата драгоценными дарами Востока, и корабль стал похож на громадный антикварный базар. Здоровье Николая не внушало никаких опасений, он был готов продолжить поездку по Японии, народ которой с удивительным дружелюбием относился к русским. Но тут вмешался грозный отец: *«ОСТАВИТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ,*— диктовали из Гатчины,— *НЕМЕДЛЕННО ИДТИ НА ВЛАДИВОСТОК»*. Был пасмурный и холодный день, когда «Память Азова» втянулась в гавань Владивостока; Россия обнажала перед наследником престола свои глубокие тылы... Владивосток — город бешеных денег (один паршивый лимончик, которому в Питере цена копейка, здесь стоил 5 рублей). Железной дороги еще не было, но вокзал уже стоял, сверкая новенькими кирпичами. Николай взял тачку с землей, которую и сбросил в обрыв, символизируя этим жестом закладку Великого Сибирского пути со стороны Дальнего Востока... «Воспитательное» путешествие закончилось!

Много позже потянулись глупые сплетни, будто Николай II и не начал бы войны с Японией, если бы самурай не ударил его тогда саблей по голове. Но причины войны не были мелочны, а самураю Тсуда Сацо император на всю жизнь остался даже благодарен.

— Вы не поверите! — говорил Николай близким.— Но с тех пор, как меня трахнули в Японии по черепу, окончательно прошли головные боли, мучавшие меня от самого раннего детства...

. . . . . .

А брат Георгий, посланный лечиться на высокогорном Абастумане, домой уже не вернулся. В сознании своего неизбежного конца люди становятся мудрее. Георгий увлекся астрономией и на свои личные деньги отстроил в Абастумане обсерваторию, которая сохранилась до наших дней... Смерть пришла к нему в 1899 году; на смертном ложе он ругался:

— Это мне братец устроил... за Малечку! Теперь убийца царствует, шлюха пляшет, а я вот подыхаю... под облаками!

Умер он страшно, решив убежать от смерти. Его нашли мертвым в грязной проточной канаве. Когда революция сошлет Николая II с его семейством в Екатеринбург, там, сидя на бревнах, сваленных возле дома купца Ипатьева, царь на свой лад осмыслит давно минувшее в юности.

— Господь бог покарал меня за Георгия,— говорил он.— Это я виноват в смерти брата. Если б не пихнул его тогда в люк, бог не гневался б на меня — и не было б революции на Руси...

5. КОЛЕСО ИСТОРИИ

Россия даже в самые мрачные времена своей истории не сидела сложа руки... Била камни на мостовых и создавала умные механизмы; таскала на пристанях мешки с зерном и выводила в лабораториях химические формулы; она разгружала корабли и копала картошку; люди гуляли на свадьбах, рожали детей и сидели в тюрьмах; русские с одинаковой гордостью носили великолепный фрак и бряцали ржавыми кандалами; производство имперской индустрии возрастало, и Россия могла выбрасывать на мировой рынок почти все — от броненосцев до детских сосок. Но два года подряд засуха губила урожаи; провинция голодала; в 1892 году холера проникла даже в столицу (одна из жертв — композитор Чайковский), а весь 1893 год Россия оправлялась от прошлых невзгод. Однако гатчинцев жизнь народа касалась лишь боком, и, отрывая первую страницу календаря, они произносили привычные слова: «Дай-то бог, чтобы новый год был как прежний...» Но в 1894 году пресловутое колесо истории со скрипом медленно провернулось, и сработали ржавые рычаги престолонаследия.

Александр II, один на один ходивший с рогатиной на медведя, передал Геркулесову силищу и сыну: Александр III шутя разрывал колоду игральных карт, в его кулаке бронзовые пепельницы сминались в комок. Но могучий организм царя уже подточила ежедневная выпивка, отчего ускорилось перерождение почек. Доказывать царю, что ему нельзя пить, было бесполезно, и потому врачи в основном обращались к его жене, чтобы она исключила из меню все «горячительные» напитки. Мария Федоровна вино со стола убрала, к обеду подавались квасы и вода Таицких ключей.

— Маша! — клянчил царь.— Ну, хоть стопочку... Лишь один гвардейский «тычок» в день могу я себе позволить?

Здоровье царя ухудшилось, из Москвы был зван знаменитый доктор Захарьин, который заявил, что брайтонова болезнь нуждается в климате острова Корфу.

— Если со мной что случится,— сказал царь Николаю,— ты еще не женат. Это неприлично для... императора. Пока я жив, хочу видеть тебя супругом. Слава богу, что Эдди Кобургский умер и сердце Алисы Гессенской отныне снова свободно...

Ситуация не совсем корректная: сначала Алису забраковали, а теперь жених пускался за невестой вдогонку — умолять, чтобы она его осчастливила. Впрочем, Алисе не пристало и задаваться, ибо Гессенский двор в Европе — двор не первого ранга!

. . . . . .

Гессен-Дармштадтское герцогство входило в состав кайзеровской Германии, и дела гессенские были делами берлинскими. Едва стало известно, что цесаревич едет искать руки Алисы, как сразу же сорвались с места два опытных путешественника — кайзер Вильгельм II и королева Великобританская. Брак и любовь для монархов — это прежде всего продолжение династической политики.

Николая сопровождали пресвитер Янышев, дабы обратить Алису в православие, и придворная лектриса Шнейдер — вразумить ее русскому языку. Поезд цесаревича достиг Кобурга, где в это время невеста проживала у своих русско-германских родственников. На следующий день сюда прибыла грозная старуха Виктория, обладавшая полмиром (эскадроны гвардейских драгун составляли ее почетный эскорт). Примчался на экспрессе и кайзер, которого Николай встретил на перроне вокзала в прусском мундире. Вильгельм II засел со свитою в соседних комнатах замка, а за стенкою происходили вялые переговоры жениха с невестою. Топорща жесткие завитки усов, кайзер недовольно щелкал крышкою часов: «Мне надо быть в Киле на спуске нового крейсера, а вместо этого я торчу здесь. Я не имею права столь бездарно расходовать свое время! — Он решительно прошел к молодым, скоро вернулся к свите.— Все оформилось, *как мне было угодно*... Надо же знать Ники — он совсем размяк, но я взял бутылку с мозельским и влил ее в моего птенца-кузена. После чего толкнул его в объятия моей племянницы. Дело сделано! Сейчас они уже там целуются напропалую...» Николай записывал вечером: «Чудный, незабвенный день моей жизни... мы объяснились. Вилли сидел в соседней комнате, все семейство на радостях лизалось». Утром жениха разбудили шотландские волынки — это английская бабка Алисы выстроила музыкантов под окнами замка. За семейным кофе, тряся жирными брылями одутловатых щек, Виктория сказала Николаю: «Теперь вы, Ники, тоже должны звать меня бабушкой...» Желая отплатить королеве за игру на волынках, цесаревич срочно выписал из Петербурга преображенских певчих с волосатым, как леший, пропойцей регентом (на кобургских немцев он произвел неизгладимое впечатление). Николай постился, усердно раскрашивая пасхальные яйца. К заутрене выходил в гусарском ментике, христосовался со свитой. Алиса в эти дни заявила ему:

— А теперь я должна знать, что ты пишешь в дневнике...

— Но дневник я веду на русском.

— Все равно! Ты мне покажешь его...

Еще не став мужем, он уже попал под гессенскую цензуру. В конце апреля, заодно с бабкой, Алиса

тронулась погостить в Англию, а Николай вернулся домой. Всю дорогу до Гатчины свита беспощадно расправлялась с гигантскими запасами вагона-ресторана. Вот и Луга — здесь, на подталом перроне, Николая поджидали офицеры 1-го батальона лейб-гвардии полка Преображенского, которым цесаревич командовал, и они кричали «ура» жениху. На гатчинском вокзале сына встречал император с семейством.

— А отец плох,— шепнула Мария Федоровна...

Летом император разрешил Ники взять яхту «Полярная звезда», чтобы навестить в Англии невесту. Здесь Алиса, еще не постигнув русского языка, начала уснащать николаевский дневник сентенциями по-английски. «Мой дорогой мальчик,— писала она,— верь и полагайся на свою девочку... Всегда верная и любящая. Преданная, чистая и сильная, как смерть! Я мечтаю о поцелуях... Будущее скрыто для нас — только настоящее мы можем считать своим». Николай обожал военную форму, но в Виндзорском дворце, как последний «штафирка», был вынужден танцевать в белых чулках. За обедом принц Уэльский (будущий английский король Эдуард VII), который приходился Алисе дядей, сказал невесте, кивая в сторону смущенного курносого Николая:

— Профиль твоего суженого природа будто скопировала с профиля Павла Первого... В России ты должна спать вполглаза: как бы ночью вас обоих не придушили бородатые генералы!

Это был светский «гаф», не вполне тактичный, но сердиться на дядюшку Алиса не осмелилась.

. . . . . .

Слухи о болезни Александра III уже просочились в народ, русское общество стало неясно грезить о том, что престолонаследник свернет Россию с реакционного курса своего упрямого и вечно нетрезвого родителя. Император же продолжал жить так, будто никакого нефрита у него нет.

Ради охоты (скорее по семейной традиции) он отправился осенью в Беловежскую пущу. Текли холодные дожди. Мария Федоровна сильно простыла, получив в бок острый lumbago.

— Сашка, хватит тебе стрелять, едем греться в Ливадию!

Врачи настаивали, что надо ехать на остров Корфу.

— Нет уж! — отвечал царь.— Если помирать, так дома...

Романовы и громадная их свита, радостно волнуясь, плотно забили вагоны поезда и 18 сентября направились на юг — к солнцу, к теплому морю, к виноградникам, в Ливадию!

6. СКАНДАЛ В ЛИВАДИИ

Они разместились в Малом дворце, созданном вычурным зодчим Монигетти. Небольшие комнаты вполне устраивали Александра III; окно в спальне с видом на море было открыто. Вдали, испытывая механизмы, утюжил воду тяжкий броненосец «Двенадцать Апостолов». Император громадной тушей расплылся в креслах, а Мария Федоровна неразлучно сидела с ним рядом. В паркет их супружеской спальни были вделаны две старые татарские подковы.

— Одну нашла я, а другую нашел ты... Стерлась наша жизнь, Саша, как и эти подковы. Говорила же я тебе — не пей!

«Двенадцать Апостолов» проплыли мимо Ливадии, над печальным морем еще долго клубился темно-бурый дым скверно перегоревших углей. Молодежь шумно веселилась внизу дворца. Ники с Ксенией играл на фортепьянах, ездил в Массандру пробовать вина, а на ферме в Эриклике поглощал кефиры и простокваши. Пять светил медицины неотлучно дежурили возле кресла больного императора. Поняв, что смерть не за горами, Александр III стал проявлять сильное беспокойство о делах престольных.

— Время не терпит,— говорил он жене,— и надо ускорить приезд Алисы...

Алиса прибыла в прозрачный и чистый день, от Ялты она катила в широком ландо, заваленном цветами и крупным виноградом. Возле дворца невесту встречал, отдавая ей первые царские почести, николаевский батальон преображенцев.

Александр III отнесся к приезду невестки равнодушно:

— Приехала? Я так и знал... С чего бы ей отказываться? Короны — это не пуговицы, и на земле они не валяются.— Возле его кресла лежала куча министерских бумаг, ждущих подписи; отец придвинул их сыну: — Читай ты, а я уже отчитался...

Николай впервые в жизни скучал над казенными бумагами. Его развлекало соседство свежей ароматной невесты.

— Эта депеш есть читала мы,— говорила она по-русски...

Романовы разбрелись по саду, потерянные. Собирались в гостиной первого этажа. Наспех жевали бутерброды, пили чай и молоко. За столом слышались приглушенные разговоры:

— Она какая-то деревянная, словно сколочена из досок, и я удивляюсь, что при ходьбе от нее не исходит скрипа шарниров.

— Тетя Минхен, передайте масло. Благодарю... Я ей поклонилась, а она ответила мне кивком головы, и то не сразу.

— Я не одобряю выбора Ники: лицо у Алисы красиво, но если присмотреться, то черты лица совсем не тонкие.

— Говорят, ее брат Санди не совсем-то нормальный.

— Да, у этих гессенцев давно не все в порядке...

По отношению к великокняжеским родичам Алиса держала себя в холодной недоступности, ни с кем не вступая в разговоры, несла свой подбородок высоко. Ей было уже ясно, что Александр III обречен, а русская корона ей обеспечена... Но наверху дворца мать с отцом еще имели право решать дела престольные по своему усмотрению, и Александр III вызвал сына к себе.

— Ники,— сказал он ему,— ты и сам знаешь, что

не способен управлять страной. Обереги же Россию от врагов и революций хотя бы до того времени, когда Мишке исполнится двадцать один год. Обещай клятвенно по доброй воле уступить престол брату!

Александр III загибал разбухшие от водянки пальцы.

— Сколько же тебе мучаться? — бормотал он, подсчитывая годы.— Сейчас Мишке только шестнадцать. Год, два, три... Пять лет тебе сидеть на престоле, после чего *сдай корону Мишке!*

. . . . . .

Алиса встретила его, поджав тонкие губы.

— Ники,— заявила она,— мне не нравится, как ты ведешь себя с людьми, которые ниже тебя. Если ты меня любишь, ты обязан меня слушаться... Почему профессор Лейден делает доклад о здоровье твоего отца не тебе, а твоей матери?

— Но это же так естественно: она ему жена.

— Согласна, что это естественно, но это... неправильно! Не забывай, *кто ты*. Нельзя, чтобы тебя обходили. Выяви свою железную волю, и пусть все сразу знают, что в России ты самый главный человек, а после тебя... после тебя *главная здесь я!*

Александр III скончался на 50-м году жизни. Его не задушили, не взорвали, не отравили — он умер сам (уникальный случай в династии Романовых!). Телеграфы уже отстукивали по редакциям мира сногсшибательное сообщение: *«ЭТО БЫЛ ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ИМПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УМЕР ЕСТЕСТВЕННОЙ СМЕРТЬЮ — ОТ АЛКОГОЛИЗМА...»* Мария Федоровна с трудом высвободила свою ладонь из влажной руки мертвеца.

Возле тела отца появился Николай, и она (мать его!) вдруг с нежданной ненавистью посмотрела на сына, который приближался к ней — уже как император. В ливадийском дворце разразился жесточайший скандал, о котором знали тогда лишь немногие... Надо было присягать *НИКОЛАЮ ВТОРОМУ*, но Мария Федоровна отказалась дать клятву. В дворцовой церкви духота от множества пылавших свечей. Теснотища от наплыва великих князей и княгинь великих. Обращаясь ко всем Романовым, вдовая царица вдруг заявила:

— Мой сын не способен править Россией! Он слаб. И умом и духом. Еще вчера, когда умирал отец, он залез на крышу и кидался шишками в прохожих на улице... И это — царь? Нет, это не царь! Мы все погибнем с таким императором. Послушайтесь меня: я же ведь мать Ники, и кому, как не матери, лучше всех знать своего сына? Вы хотите иметь на престоле тряпичную куклу?

Началась свара — хоть святых выноси. Великая княгиня Мария Павловна (из дома Мекленбург-Шверинского) уже пихала к престолу своих отпрысков — Кирилла, Бориса или Андрея Владимировичей, но их тут же оттерли, как рожденных от лютеранки. Черногорки Милица и Стана трещали как сороки, что «дядя Николаша» лучше племянника. Мария Федоровна шагнула к сыну, глядя в упор:

— Ты должен, Ники, понять меня и мои чувства...

Николая II обступили и другие Романовы:

— Как это ни печально, Ники, но мать права. Откажись от престола сразу же, и пусть коронуется Мишка, а до его совершеннолетия регентство над ним отдадим твоей разумной матери...

Алиса Гессенская вдруг начала краснеть, и выражалось у нее это странно: сначала до самых локтей побагровели руки, потом лицо, мертвенно-бледное, вдруг закидало яркими пионами пунцовых пятен. Тут все догадались, что невеста, едва владея русским языком, все же *поняла* смысл романовской перебранки.

— Не слушай никого,— шепнула она жениху по-английски, — а поступай по воле божией. Если сейчас на твою голову опустятся святые ангелы, они внушат тебе то же самое, что говорю я!

Николай слабо оправдывался перед сородичами:

— Ну, какой же Мишка царь? Ему бы только собак гонять. Отец и не требовал, чтобы я вручил ему престол сразу же... Покойный родитель просил меня царствовать хотя бы пять лет.

— Прекратите этот базар! — рыдала Мария Федоровна.— Боже, какая дикая ночь... Я не стану присягать тебе. Не стану!

...Она прожила очень долгую жизнь и умерла на своей родине, пережив три русские революции, гибель династии, потерю детей и внуков. Наверное, в тихом Копенгагене ей, уже глубокой старухе, часто потом мерещилась эта сцена в церкви Ливадии. Она так и не уступила сыну! Но ей пришлось умолкнуть перед батальоном лейб-гвардии полка Преображенского, который (верен своему командиру) вступил под сень храма, где грызлись «помазанники божии», и этот батальон первым присягнул Николаю как императору *, а следом пошли целовать иконы и все прочие... Но даже в кольце штыков Мария Федоровна не присягнула сыну!

На следующий день свершилось «миропомазание» Алисы Гессенской, которую нарекли Александрой Федоровной. Духовник дворца в своей речи обмолвился и назвал Алису «даромшматской» принцессой. Владимировичи, рожденные от матери-лютеранки, смеялись даже со злобой, скрывавшей их вчерашнее огорчение:

— Даромшматская... Надо же такое придумать!

Смеху подбавила и сама Алиса, объявив по-русски:

— Теперь я намазанница божия.

С моря накатывал сильный прибой, грохот воды и шум гальки заглушали все изветы. Александр III быстро разлагался, а лицо его после бальзамирования приобрело звероподобный вид. Пришла черноморская эскадра, на шканцах броненосца «Память Меркурия» (под тентом из андреевского флага) поставили гроб и отплыли в Севастополь. Шторм кончился, не качало. Алиса твердила Николаю:

— Я твой ангел-хранитель. Неси бремя с терпением...

Траурный поезд отходил от Севастополя: Мария

---

* Николай II считал себя позже обязанным своему батальону за доставление короны и до самого конца царствования оплачивал из своего кармана все долги преображенских офицеров.

Федоровна, стоя возле окна, билась лбом в забрызганное дождем стекло.

— Какой день, какой день... Саша, ведь именно в этот день была наша с тобою свадьба! Откройте гроб, я хочу его видеть...

Мрачный экспресс с грохотом и воем летел через великую многострадальную страну, жившую надеждами на будущее. Вот и первопрестольная! Здесь Николаю II предстояло сказать речь в Георгиевской зале Московского Кремля, а говорить-то с людьми он не умел, панически боялся многолюдства. Нашелся в свите опытный человек — подсказал, как поступать в таких случаях:

— Ваше величество, без шпаргалки не обойтись.

— Стыдно, если заметят, что я говорю по шпаргалке.

— Никто не заметит! — заверил придворный ловкач.— Эту шпаргалку вы смело кладете на дно своей шапки. А шапку надели на голову. Затем вы шапку, естественно, снимаете. Держа ее перед собой, поглядывайте в шапку, читая. Никто не догадается...

Первая речь царя, прочтенная из шапки, сошла благополучно. Петербург уже наполнялся королями и принцами, делегациями и посольствами, съезжавшимися к погребению Александра III, и в сцене его похорон как бы определился стиль будущего царствования. Провожали покойника с беспардонным цинизмом, а хаотичность церемонии была поразительной. Никто не знал своих мест, все перепуталось. Слышались разговоры, шутки и неуместный хохот; из рядов погребальной процессии кавалеры раскланивались с дамами, занимавшими балконы в домах. Под конец траурная церемония обратилась в панургово стадо, и это стадо валило через Неву, совсем забыв про покойника, а тем более о молодом императоре, понуро плевшимся за гробом. Возглавляли же кавалькаду два питерских *мясника*, которым по ритуалу следовало идти далеко впереди катафалка. Один мясник был одет в черные рыцарские латы, дабы выражать печаль по умершему царю, а другой шел в светлых латах, демонстрируя радость грядущего царствования. Как символам смерти и жизни, им нельзя было сблизиться! Но в общей неразберихе рыцарь печали и рыцарь радости сошлись бок о бок:

— Кондратьич, ты лавку-то свою красить собираешься?

— Уже покрасил! Говорят, вчерась на станции вагон с черкасским мясом растибрили... Тебе не предлагали из-под полы?

Александра III похоронили в Петропавловской крепости, где мертвые цари издревле привыкли разделять общество с живыми врагами царизма,— уродливейший парадокс самодержавной власти! В столицу нахлынули монархические депутации из губерний, Николай II, чтобы не возиться с каждой отдельно, велел всех монархистов, как баранов, загонять толпой в Николаевскую залу.

— Я тронут,— говорил он им.— Я очень тронут...

Словечко прилепилось к нему хуже банного листа, и он повторял его когда надо и не надо. Придворные шутники острили: «Наш император уже тихо тронулся...» Между тем дня не проходило, чтобы у нежной Аликс где-нибудь не побаливало. То здесь кольнет, то там ее схватит, то ей воздуху не хватает. Вот и сегодня лежит пластом, словно параличная: ходить не может, ее на руках таскают из комнаты в комнату. Лейб-медики удивлены — женщина не больна, но она и не здорова; ходить может, но она, черт ее побери, почему-то решила, что ходить не способна... 14 ноября невеста все-таки встала — был день ее свадьбы! Николай II отреагировал на это событие скромно: «Спать завалились рано, т. к. у бедной Аликс снова разболелась голова!» Зато жена писала в дневнике восторженно: «Наконец мы навеки скованы, и когда здешней жизни придет конец, мы опять встретимся на другом свете, чтобы вечно быть вместе. Твоя, твоя... Покрываю тебя горячими поцелуями. Мой супруг! Мое сокровище!» (В конце сделана ее рукою приписка: «Нехорошо по ночам скрежетать зубами...»). Экзальтацию своих чувств она покрывала налетом мрачного мистицизма, и этот налет, словно патина на старинной бронзе, придавал молодой женщине что-то нежилое, мертвенное, почти загробное. Характер ее в общении с людьми раскрылся мгновенно — узколобая и нелюдимая эгоистка, живущая лишь ради себя и своих страстей, она привезла из Германии презрение к русскому народу, который искренне считала народом варварским и недоразвитым; императрица заметила в православии лишь языческие пышности, а церковные формы религиозных обрядов, казалось ей, служат единой цели — восхвалению самодержавной автократии. «Я так хочу,— капризничала она.— А этого я не хочу. Но если я хочу, значит, так надо. Правда — это только то, чего мне хочется!» К сожалению, эта злобная фанатичка обладала сильной волей и хваткой памятью, что и доказала в занятиях русским языком. Лектрисса Шнейдер не могла нарадоваться своей ученицей, когда Аликс вписала в дневник мужа первые стихи по-русски:

Прозрачный сумрак, луч лампады,
Кивот и Крест — символ святой.
Все полно мира и отрады
Вокруг Тебя и над Тобой...

Современники заметили, что люди высокого роста всегда имели на царя большое влияние — Победоносцев, Плеве, Витте, Столыпин, Штюрмер и... жена! Имевшие же несчастье быть великанами повергали царя в ужас. Министр двора Фредерикс таким монстрам даже отказывал в аудиенции, говоря им откровенно: «Помилуйте, я не желаю вашим видом портить на весь день настроение государю...»

. . . . . .

Нет, она не забыла свою первую русскую любовь: став шефом Уланского полка, Алиса пожелала, чтобы Саня Орлов командовал этим полком, и Николай II уступил ее просьбе. В это время царица была стройной, хорошенькой женщиной, пышноволосая и синеглазая, с длинными черными ресницами, и никто бы не догадался, что за такою приличной вывеской таится скопище злобных истерик, мистики и ненависти... Один видный русский сановник случайно за-

ехал в Дармштадт, где имел немало старых знакомых, и разговор у них, естественно, зашел о молодой русской государыне:

— Ах! До чего же мы в Гессене счастливы, что от нее избавились. А вы с нашей сумасшедшей принцессой еще наплачетесь.

— Но почему же? Она благопристойна и корректна.

— А вы разве еще не заметили, что Алиса ненормальная? Вы ведь не знаете в России всего того, что тут творилось под крышею дворца наших гессенских герцогов.

— Простите, а... что же тут у вас творилось?

— Это уж секрет нашего Дармштадта!

Секрета не было: мать русской императрицы умерла в чудовищных содроганиях души и нервов — общение с германским черносотенцем Давидом Штраусом, в котором она видела «мессию», искалечило ее жизнь и ее психику. Но идеи мессианства она заложила в душу дочери, и теперь Алиса с высоты престола беспокойно озиралась по сторонам, словно желая знать — где тут апостолы? Кто станет ее пророком «от небесного откровения»?..

Будущий «мессия» пока что колобродил в Сибири!

7. НЕЧИСТАЯ СИЛА

Вдруг приехал в село Покровское мужик Григорий, никому неведомый, деловито занял пустовавшую избу. Никто и не думал, что под отчий кров вернулся сын бывшего волостного старшины... На высоком лбу его краснела шишка — застарелый след удара, полученного в кабацкой сваре, а шишку он закрывал длинными прядями волос. Покрытый оспинами нос выступал далеко вперед, похожий на иззубренное лезвие топора. Кожа лица была морщинистой и загорелой, а правый глаз Гришки обезображивало желтое пятно. Смотрел на всех муторно и беспокойно — противно эдак-то поглядывал.

Приехал не один: с ним была жена Прасковья, из тобольских мещан Серихиных. Кормиться трудом Гришка не пожелал. Правда, чтобы не околеть с голодухи, он иногда в извоз нанимался — когда ссыльных в глухомань отвезет, когда до Тюмени возы с сеном или дровами доправит. Из таких «ездок» обычно вертался пьян-распьян, весь раздрипан в трактирных драках. Без шапки, без денег! Входил в избу, и оттуда сразу же рвался наружу долгий вой Парашки Серихиной — это Гришка от самого порога начинал лупцевать свое сокровище. Вся деревня слушала, как воет баба.

По селу ходили недобрые слухи, будто Гришкина жена служила ранее в «номерах» губернских, где по дешевке проезжих гостей ублажала и трудами немалыми даже на швейную машинку себе скопила, но Гришка эту машинку пропил. Жизнь мужицкая нелегка: летом изматывались с домочадцами на пашне, готовили дрова и солили впрок убоину, а зимой тоже не продохнешь — катай для города валенки, подновляй упряжь, опять же и овчины — их мять надо! А Гришка знай себе на печке валяется и пухнет там, давя клопов на стенках желтым корявым ногтем.

— Рази так можно? — говорили мужики.— Ты бы встал. Ты бы умылся. Гляди, сам рван, жена не кормлена. А копейка в мошну не скачет. Ее струдить надоть. Крестьянская денежка пот любит!

Ответ Гришки звучал изуверски-кощунственно:

— Ежели господу богу угодно было меня на свет произвесть, так пущай он и позаботится, чтоб я сытым бывал. А работать — не! Я вам не лошадь. На кой хрен мне спину-то ломать? Все подохнут одинако — что труженики, что бездельники...

Порченый — поставили на нем клеймо односельчане. Известно, сколь целомудренна русская деревня: матерного слова не услышишь, а Гришка сквернословил при любом случае, дрался бесстрашно. Лошадей не жалел — загонял насмерть. Внешне мрачный и нелюдимый, обожал веселье, и, коли где гармоника пиликнет, он уже пляшет. Час пляшет, два, три часа... Пузырем вздувается на его спине рубаха, вонючая от пота. Плясал до исступления, пока не рухнет.

Имел тонкий нюх и на выпивку. Носом чуял, где вчера пиво варили, где казенный штоф распивают. Придет Гришка, никем не зван, встанет у притолоки, в избу не входя, и стоит там, шумно вздыхая: мол, я уже здесь... учтите! Мужики пьют водку из мутных стаканов. Суют в бороды лохмы квашеной капусты, закусывая. На зубах хрустят крепенькие огурчики. Иной раз посовестятся:

— Эвон, Гришка-то заявился. Може, и ему плеснем махоньку? Вить ён, как ни толкуй, а тоже скотина — ждет подношения...

Угостившись, Гришка не уйдет, а лишь обопрется о притолоку косяка. Быстро пустеющий штоф приводит его в отчаяние:

— Налейте же и мне, Христа ради!

— Это зачем же тебе наливать? Платил ты, што ли?

Протрезвев, мужики пугались — Гришка умел отомстить. Один богач на селе справлял свадьбу дочери, а Гришку не позвал к угощению. Когда молодые на тройках ехали из церкви, кони вдруг уперлись перед домом — не шли в ворота. Все в бешеном мыле, рассыпая с грив праздничные цветы и ленты, под градом ожесточенных побоев, кони не везли молодых к счастью. «И не повезут»,— сказал Гришка, стоя неподалеку... Молодухе же одной, отказавшей ему в любезности, Гришка кошачий концерт устроил. Со всего села сбегались коты по ночам к ее дому, и начинался такой содом, хоть из дома выселяйся...

Природа наградила Гришку железным здоровьем. Гораздо позже журналисты подвели итог его скотской выносливости. В возрасте 50 лет он мог начать оргию с полудня, продолжая кутеж до 4 часов ночи; от блуда и пьянства заезжал прямо в церковь к заутрене, где простаивал на молитве до 8 утра; затем дома, отпившись чаем, Гришка как ни в чем не бывало до 2 часов дня принимал просителей, говорил по телефону и устраивал разные аферы, потом набирал дам и шел с ними в баню, а из бани катил в загородный ресторан, где повторял ночь предыдущую.

Никакой нормальный человек не мог бы вынести подобного режима...

За мерзкие дела прозвали Гришку на селе РАСПУТИНЫМ, и это имя столь крепко прилепилось к нему, что уже не отдерешь. Исправник Казимиров, объезжая свои дремучие владения, не пожелал учитывать Гришку под фамилией «Новых».

— Тогда валяй по-старому — Вилкиным.

— Какой же ты Вилкин? — хохотал исправник.— Вилкин — это от вилки, которой господа салаты кушают, а Распутин — от распутства. Я грамотней тебя, фамильные тонкости понимаю...

Крестьянская община села Покровского возбудила перед властями вопрос о высылке Распутина в Восточную Сибирь, но Гришка не стал ждать, когда его возьмут за шкирку. Он разулся и босиком тронулся в дальний путь, покидая село. На околице ему встретились бабы с граблями:

— Ты кудыть уцелился-то, Григорий?

Вороватый взгляд и подлейший ответ:

— Да я далече... богу молиться. Мне и тятенька завещал, чтобы я Верхотурскую обитель посетил. Ох, грехи все, грехи наши...

Долог пеший путь из Тобольской губернии до Пермской, где затаился в лесах монастырь. Много месяцев о Распутине не было ни слуху ни духу. А потом явился... но в каком виде! Шел полураздетый, без шапки, длинные волосы совсем закрывали лицо. Никого не узнавая, размахивал руками и все время пел нечто духовное. В церкви дико озирался по сторонам и вдруг ни с того ни с сего начинал сипло голосить псалмы... Кажется, что в период богомолья Распутин повстречался с людьми, которые очень сильно подействовали на его кривобокую психику. Вел он себя странно. Движения стали беспокойны и порывисты, он ходил по селу, часто приседая, потирал руки. Речь иногда делалась бессвязным набором слов. А после нервного возбуждения наступала глухая, замкнутая депрессия... Вернувшись из Верхотурья, Распутин был явно ненормальным, потом он вроде оправился, и здесь летописцы отмечают страшный взрыв чувственности, словно нечистая сила посетила в нем беса блудного! Но грубую животную похоть Гришка неизменно облекал в формы богоугодничества — этим он невольно закладывал первый камень в фундамент будущей «распутинщины».

. . . . . .

Сибирь тогда кишмя кишела сектантами, и Распутин со своими наклонностями, конечно, не мог окунуться в холодный мистицизм официальной религии. Складу его натуры отвечали хлысты — с их буйными плясками, с их аморальным кодексом, где под глубоким покровом тайны творились самые мерзкие преступления противу нравственности. Теперь в избе Распутиных частенько останавливались какие-то странницы в полумонашеском одеянии, приходили на закате солнца, а убирались с первой росой... Скоро села Покровского показалось Распутину мало — обесчестил и села окружные. Словно сатана какой, водил баб в лес тучами, там ставил кресты на елках, велел бабам молиться на него, а при этом плясал, дергаясь, обнимал всех и звал парней из соседней деревни — начинался свальный грех...

— Хлысты объявились,— заговорил народ, будто о чуме.

Распутин взял моду целоваться со всеми в уста.

— Греха в том нету,— говорил в оправдание.— Какой же грех, ежели все люди на земле родня друг другу? Коли я девку целую, так я закаляю ее противу беса... Спроси любую из них — противно ли ей это? Ежели противно, тады ладно, не буду!

Вокруг него скоро образовался кружок из людей, темных и забитых. Сначала это были его дальние родственники с выселков, одичавшие в одиночестве, и две девки — Катька и Дунька Печеркины. Молельню вырыл Распутин под избой — словно могилу, и проникнуть туда никто из посторонних не мог. Из бани Распутин сам уже не шел — глупые девки тащили его на себе. В этот период жизни Гришка много болтал о любви к богу, молол что-то о создании на земле «мужицкого царства», и нашлись дуры, поверившие в его святость. Из дальних деревень шли женщины, дабы покаяться в грехах не священнику в церкви, а новому апостолу... Распутин говорил дурам: «Первонаперво, коли уже решила покаяться, ты меня не стыдись.— Но покаявшихся от себя уже не отпускал, внушая им: — Как мне поверить, что ты искренняя? Вот, коли в баньку со мною сходишь, ноги омоешь мне, яко спасителю, да водицы той испьешь толику, тады поверю: ты — во Христе!» Тунеядец, бежавший от труда, словно черт от ладана, Распутин нахально ощупывал котомки своих поклонниц и ничем не гнушался — ни соленым огурцом, ни куском ватрушки, ни луковицей. В этих обысках странниц активно участвовала и его жена Парашка (с того, кажется, и кормились)... Жидкие глаза Гришки, похожие на овсяный кисель, сочно и непотребно обласкивали деревенских молодух, которые отворачивались, закрывали лица рукавами, но тут же сами искали распутинских взглядов. Гришка давно уже приметил, что люди добрые взоров его не выдерживают...

...А в далеком Петербурге жаловалась мужу царица:

— Каждый день болит моя голова. Ежечасно расширено сердце. Я живу на каплях и валюсь в постель как мертвая. Меня гнетет ощущение предстоящей беды, и я не вижу никого, кто бы мог спасти меня! Жизнь очень трудно понять. Россия — унылая снежная равнина, а Петербург — столица подлецов и мерзавцев. Я знаю, что меня здесь не любят, но и мне тут никто не нравится!

Наглотавшись капель, она валилась на кушетку и курила крепкие папиросы, изнуряя себя самоанализом чувств, подозревая окружающих в том, что они решили испортить ей жизнь.

8. ЖИТИЕ ЦАРЯ ТИШАЙШЕГО

Осип Фельдман, известный в ту пору гипнотизер, прогуливался однажды по берегу моря возле Сестрорецка. Вдруг видит — с купальных мостков упал в

море старик, облаченный в тяжелое пальто, и тонет. Отважный гипнотизер кинулся в воду и вытащил старика на берег. Тот открыл один глаз — оглядел своего спасителя:

— Жид?

— Увы.

— Крестись...

Все рекорды лаконизма были побиты! Осип Фельдман вытащил из воды синодского обер-прокурора Победоносцева, и уже на следующий день газеты опубликовали фельетон Амфитеатрова, озаглавленный: «Не всегда тащи из воды то, что там плавает!» Фельдман имел неосторожность спасти самую зловещую фигуру столичной бюрократии... Вот он! Тощий аскет с высоченным лбом мыслителя, за роговыми очками беспокойно блестят глаза, всегда гладко выбрит, нос острый, а рот широкий, как у лягушки, манеры и одежды — испанского инквизитора. Дополню: подбородок крючком, безобразные зубы. На старости лет женился, конечно, на молоденькой... взяточнице! У этого дикобраза, пихавшего Россию в дремучую тьму реакции, никогда не было времени. «Когда я совершенно изнемогаю от трудов,— говорил он,— у меня остается лишь один доступный мне способ отдыха. Я сажусь в поезд и еду в Москву, откуда тем же поездом возвращаюсь в Петербург, даже не вылезая из вагона. Так я отсыпаюсь за всю неделю...»

Победоносцев он в Синоде,
Обедоносцев при дворе,
Бедоносцев он в народе
И Доносцев он везде.

Поздно вечером, когда Николай II катался на велосипеде по садику Аничкова дворца, из темных кустов выступила унылейшая фигура в долгополом пальто из вечно несносимого драпа. Император продолжал ехать по дорожке сада, едва вращая педали, вихляясь передним колесом в поисках равновесия, а Победоносцев настигал его, словно роковое видение из Апокалипсиса.

— Ваше величество,— бубнил он,— где ваши идеалы? Ох, нельзя ли ехать помедленнее? Я не успеваю за вами... Помните, что русский народ готов лобызать кнут, которым вы его наказуете. О-о, государь, вы даже не знаете, что все чаяния нашего народа издревле обращены к этому кнуту. Да, именно к отчему кнуту монарха... любой сын готов лобызать руку отца, поучающую его!

Призывы не пропали даром. Первый год царствования Николая II открылся брожением земских чинов в провинции. Во множестве приветственных адресов, поднесенных царю, земцы намекали на конституционные реформы. 17 января 1895 года царь положил в шапку очередную свою шпаргалку и вышел в Николаевскую залу, где толпились депутации — дворянские, земские, городские... Искоса поглядывая в шапку, он обрушил на них вещие слова:

— Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для изъявления верноподданнических чувств. Но мне стало известно, что в последнее время слышны голоса людей, увлекшихся *бессмысленными* мечтаниями... Пусть все ведают, что я, посвящая свои силы благу народному, буду охранять начала самодержавия столь же твердо и неуклонно, как и мой незабвенный родитель.

Оторвавшись от шапки, он закончил — с вызовом:

— Я говорю это громко и открыто!

При этих словах из рук тверского предводителя дворянства выпало золотое блюдо, со звоном покатившееся, хлеб разломился, а соль просыпалась. В довершение всего предводитель и царь одновременно бросились ловить крутящееся по залу блюдо и нечаянно треснулись лбами так, что у обоих искры из глаз посыпались.

К царю подошел Победоносцев — с упреком:

— Государь, а вы неправильно прочли то, что я для вас сочинил. Я же не писал *бессмысленные*, я писал *несбыточные*.

— Константин Петрович, простите — ошибся...

Бессмысленные или несбыточные — хрен редьки не слаще. Но голос самодержавия прозвучал на всю страну, и робкие надежды были похоронены от самого начала. В этом же году Департамент полиции подшил к делу первое пророчество, которое неведомо откуда стало распространяться в придворных кругах: *В НАЧАЛЕ ЦАРСТВОВАНИЯ БУДУТ НЕСЧАСТИЯ И БЕДЫ НАРОДНЫЕ, БУДЕТ ВОЙНА НЕУДАЧНАЯ, НАСТАНЕТ СМУТА ВЕЛИКАЯ, ОТЕЦ ПОДНИМЕТСЯ НА СЫНА, БРАТ НА БРАТА, НО ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ЦАРСТВОВАНИЯ БУДЕТ СВЕТЛАЯ, А ЖИЗНЬ ГОСУДАРЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ.* Согласно преданиям, это пророчество исходило из глухой давности Саровской обители, затерявшейся в тамбовских дебрях Темниковского уезда. Автором его был купеческий сын Прохор Мошнин, который родился в разгар Семилетней войны, а умер уже после казни декабристов. В монашестве этот пророк звался Серафимом Саровским, и Николай II сразу же (и безоговорочно) проникся верой в его былую чудотворность.

— Мое сердце чувствует,— говорил он,— что именно этот саровский угодник станет моим всемогущим патроном.

Победоносцев в ответ кривил лягушачий рот:

— Доказательств святости Серафима в архивах Синода не сыскано. Ваше величество, лучше назовите мне свои *идеалы*...

Не станем думать, что у Николая II не было идеалов. Совершенно непонятно — почему, но этот идеал он обратил в прошлое Руси: император проповедовал при дворе культ своего предка — Алексея Михайловича (ошибочно названного в истории царем «тишайшим»). Зимний дворец бессмысленно копировал угасшее в веках царствование второго Романова! Граф Шереметев, видный знаток боярской старины, выступал в роли режиссера костюмированных балов, которые устраивались с азиатской пышностью. Николай II любил облачаться в древние бармы, а царица играла роль красавицы Натальи Нарышкиной. Придворные в одеждах московских бояр пили, морщась, дедовские меды и говорили: «Редерер все-таки лучше!» Вошли в моду «посиделки боярышень» — девиц и дам высшего общества. Подпевая своему

властелину, министры перестраивали служебные кабинеты на манер старинных хором и принимали в них царя, сохраняя при этом неуклюжие формы этикета XVII века. Министр внутренних дел Сипягин, волоча по коврам подолы боярских шуб (а в зубах — папироса «Континенталь»), воображал себя премудрым боярином Морозовым. В телефонных аппаратах странно звучали древние славянизмы: понеже, бяше, иже, поелику... Царю же эти спектакли безумно нравились. «Когда у меня родится сын,— говорил он,— я нареку его Алексеем... Алексей — человек божий, и это будет хорошо». Странное желание! Романовы как раз избегали именовать своих отпрысков роковым именем Алексея, за которым чудилась отрубленная в застенке голова несчастного царевича. Алисе же в русской истории, напротив, нравился не «тишайший» царь Алексей, а залитый кровью Иоанн Грозный. «Ники,— твердила она мужу,— вот с кого ты должен брать пример. Совсем не надо, чтобы тебя любили. Умные правители добиваются не любви в народе, а страха...» Тихое житие завершилось рождением дочери, которую нарекли Ольгой. Ребенок родился крупным, орущим, здоровым, и Николай II, исполненный лучших отцовских чувств, с удовольствием сам и купал девочку в ванне.

— Обещай мне, Аликс,— говорил он жене,— что в следующий раз ты принесешь мне Алексея... Нам очень нужен наследник!

Царица уже постигла сложность отношений среди романовской родни. Конечно, скандал в Ливадии еще не забылся, а клятва, данная Николаем отцу, оставалась в силе: Мишка подрастал как на дрожжах и... «Что будет, если наследник не появится к тому году, когда Михаил достигнет зрелого возраста?»

Скорее короноваться! В Москву, в Москву, в Москву...

. . . . . .

В канун коронации был отпечатан на Москве особый плакат, извещавший народ, что 18 мая на Ходынском поле состоится народное гулянье с дармовым угощением. За городом выстроили сотни буфетов для раздачи узелков с подарками, выросли там дощатые бараки для разлива пьяницам водки и пива. Гостинец же от царя — диву даешься! — был совсем не богатым. В ситцевую косыночку завязывали обычную сайку, кусок колбасы, горсть пряников и коронационную кружку с гербом и датой (1896), чтобы о Николае навеки сохранилась в народе *несъедобная* память... Программа увеселений призывала люд московский к 10 часам утра, но голь и нищета тронулись к Ходынскому полю еще с вечера 17 мая. Ночь была, на беду, безлунной. На широком пространстве площади, изрытой ямами и оврагами, публика располагалась таборами, палила для обогрева костры, распивала шкалики. Толпа росла; напирая, она уже сбрасывала крайних на дно оврага — и сброшенные в овраг, как выяснилось впоследствии, оказались счастливцами. Вот и полночь! К этому времени, по данным полиции, на Ходынке собралось уже больше полумиллиона человек. Стояли плотно, как стенка. К трем часам ночи из спрессованной гущи людских тел послышались первые жалобы на тесноту. «Жалобы эти иногда переходили в рев, указывая на то, что в толпе уже гибнут люди...» *

Рассвет загорался над Москвою-рекой, медленно открывая страшную картину, которая доселе была погружена во мрак. «Над людскою массою густым туманом нависал *пар*, мешавший на близком расстоянии различать отдельные лица; даже в первых рядах люди обливались потом, имея измученный вид; иные стояли с широко раскрытыми, налитыми кровью глазами, у других лица были искажены, как у мертвецов; немолчно неслись предсмертные вопли, атмосфера же была настолько насыщена испарениями, что люди задыхались от недостатка воздуха и зловония». Рук было не поднять. А кто поднял руки раньше, тот уже не мог опустить их. Время от времени в облаках горячего тлетворного пара раздавался отчетливый треск — это у соседа ломалась грудная клетка.

Светлело...

Иногда путем неимоверных усилий удавалось поднять над толпою обеспамятевших женщин. «Они перекатывались по головам до линии буфетов, где их принимали солдаты». Дети же, «взобравшись на плечи соседям, по головам толпы легко добирались до свободного пространства». Множество трупов стояло посреди толпы, не падая. «Народ с ужасом старался отодвинуться от покойников, но это только усиливало давку». Словно в издевку, хулиганы забрались на колокольню (построенную для проигрывания финала оперы «Жизнь за царя»), и над умирающей толпой, глумясь над ее страданиями, разнесся неслыханный радостный перезвон.

Так было...

Полиция растерялась. Присутствие духа сохранили только солдаты и офицеры полков, наряженных для оцепления. Нарушив программу, они решили раздарить царские гостинцы не в 11 часов дня, а в 6 утра. При криках «ура, дают!» толпа смяла барьеры и ринулась на буфеты с удвоенной силой. При этом «мертвецы двинулись заодно с живыми...». Получив узелок и кружку, люди выдирались из толпы «оборванные, мокрые, с дикими глазами; многие тут же со стоном падали, другие ложились на землю, клали себе под голову царские гостинцы и умирали». Чтобы хоть как-то разрядить толпу, раздавальщики стали швырять гостинцы по сторонам — куда попало, кто поймает... Врачей не оказалось на месте. Не было и воды — людей, потерявших сознание, солдаты, не скупясь, обливали дармовым пивом. Вся местность вокруг Ходынского поля тоже была завалена мертвецами. Люди спешили прочь, забирались в кусты и здесь умирали. Иные, правда, сумели дотащиться до дому, где ложились и уже не вставали. «После того как схлынула толпа, на поле, кроме трупов, оказалась масса шапок, шляп, зонтиков, тростей и башмаков», находили здесь господские цилиндры, даже золотые часы купцов. Многие вырвались чудом, но... голые («за них цеплялись упавшие и в

* Здесь и далее по тексту фразы, взятые в кавычки, я цитирую из показаний свидетелей ходынской катастрофы, которые мало известны нашим читателям.

борьбе за жизнь обрывали их платье и белье»). А вырваться было почти невозможно: «Один из потерпевших, оставшись в живых, лежал на 15 трупах, а поверх него громоздились еще 10 человеческих тел...»

Итог «гулянья» таков: на поле Ходынском полегли замертво, как в битве, тысячи несчастных. Руководство «праздником» лежало на московской полиции, бывшей в подчинении царского дяди Сергия Александровича. Конечно, начались поиски мифического стрелочника, который всегда и за всех виноват!

. . . . . .

Батальоны фотографов, словно стрелки при осаде города, целились изо всех углов и щелей, отстреливая кадр за кадром сцены средневекового спектакля. Особо выделенные живописцы разводили на палитрах желть с белилами, дабы «схватить» на холсте ослепительный блеск мундиров и драгоценностей. Коронация проходила в благолепии, и, конечно же, в храме божием никого не помяли, никто не пищал и не выскакивал на улицу голым. Вот только митрополит Палладий малость подкачал. Будучи от природы картавым, он, вместо «какая радость», провозгласил с амвона трубяще:

— Какая *гадость* осеняет нас в этот волшебный миг...

Ляпнул и сам испугался! Николаю II уже вручили регалии его власти — державу и скипетр. Шесть натренированных камергеров поддерживали соболиную мантию императора. Согласно ритуалу Николай II чинно следовал к алтарю, где над ним должны свершить обряд помазания на царство и возложить на него корону. В этот-то момент лопнула бриллиантовая цепь, на которой держался орден Андрея Первозванного, и упала к ногам. Воронцов-Дашков быстро нагнулся и спрятал цепь с орденом к себе в карман.

Николай II, сильно испуганный, шепнул камергерам:

— О том, что случилось, прошу молчать всю жизнь...

Коронацию сопровождала пышная череда великолепных обедов и балов. Но ходынская катастрофа ужаснула всех! Умные люди убеждали царя удалиться на время в монастырь, дабы народ видел его скорбь. Некоторые настаивали на строгом наказании виновных, дабы суда не избежал и дядя царя Сергий, которого народная Москва уже прозвала «великим князем Ходынским».

Вдовая императрица, потрясенная, говорила сыну:

— Короноваться на крови — дурная примета. Будь же благоразумен, Ники, и отмени хотя бы ненужные празднества.

— Конечно, Ходынка — большое несчастие,— отвечал сын почтительно.— Но ее всем нам следует игнорировать, чтобы не омрачать праздника. Не хотел бы я, мама, огорчать и дядю Сережу!

В этом решении царя мощно поддерживал Победоносцев:

— Народа никто и не давил — он сам давился, а публичное признание ошибки, совершенной членом императорской фамилии, равносильно умалению монархического принципа...

Как раз в день катастрофы был назначен бал у французского посла Луи Монтебелло; богатый человек, владелец знаменитой фирмы шампанских вин, маркиз денег не пожалел; на дом к нему свезли деревья из ботанического сада, столы для пира украсили живыми цветами. Музыканты уже продували мундштуки инструментов, когда маркиз сказал стареющей красавице маркизе:

— Я вот думаю, моя прелесть, не напрасно ли мы тратились? Как-то не хочется верить, что император навестит нас сегодня. Ходынка напомнила мне случай из нашей истории. Когда Людовик XVI бракосочетался с этой отвратной венкой, в Париже тоже устроили подобное гулянье с дармовым угощением, а закончилось оно эшафотом! Теперь меня терзает аналогия: не есть ли эти катакомбы трупов Ходынки предзнаменование новой революции — русской, способной заново потрясти весь мир, и тогда короны посыплются на мостовые Европы, словно дешевые каштаны...

Он был умен, этот маркиз! Но тут явился граф Воронцов-Дашков, и хозяева услышали от него, что император с женою уже выезжают из Кремля — сейчас явятся. «Все ли у вас готово к танцам?»

— Странно,— хмыкнул Монтебелло в сторону жены.— Русский властелин желает сплясать мазурку на трупах... Что ж! История, как мы знаем, прощает кесарям немало ошибок, но подобных — *никогда*... Ага, вот они уже подъезжают!

Бал начался старинным контрдансом. Его открыла молодая царица, подавшая руку в серебристой перчатке французскому послу; за ними в чопорный жеманный круг вступил Николай II, бережно несший в своей руке руку маркизы Монтебелло в сиреневой перчатке. В улыбках, которые источали направо и налево «помазанники божии», было что-то порочно-неестественное...

Кое-кто из свиты жестоко напился в посольском буфете.

— Ходынкой началось — Ходынкой и кончится!

Этой фразе суждено стать исторической...

. . . . . .

Газета «Новое Время», описывая торжества, в том месте, где говорилось, что на главу царя была возложена корона, допустила опечатку: вместо *корона* напечатали слово *ворона*. Впрочем, газета быстро поправилась, предупредив читателя, что вместо *ворона* следует читать... *корова*! Виноватых не нашли.

9. ПЕРВЫЕ ПРИЗРАКИ

Фабрика по производству богов всегда размещалась на земле... Там, где ждут чуда, пути логики уже немыслимы, а все здравое кажется губительным. Лучшей частью русского народа царица сочла монахов, странников и юродивых. Средь иерархов церкви — да! — встречались яркие самобытные личности с философским складом ума. Но они-то как раз и не

нужны были ей. К чему ясная людская речь, если дикие вопли всегда звучат откровеннее?

Мы начинаем приближаться к распутинщине...

. . . . . .

Осенью 1896 года открылась «Русская неделя» во Франции, Париж ждал царя и царицу. Тайная имперская полиция предупредила все каверзные случайности: загранохранку возглавлял тогда матерый «следопыт» Петр Иванович Рачковский, сделавший все, чтобы чете Романовых ничто не угрожало в Париже.

Французы обновили форму и ливреи, специально для встречи царя в Булонском лесу был выстроен новый вокзал. Феликс Фор, пылкий президент Франции, даже изобрел для себя особый костюм: жилет из белого кашемира с золотым галуном, кафтан голубого атласа, расшитый дубовыми листьями, желудями, нарциссами и анютиными глазками; шляпу он украсил петушиным хвостом! В самый последний момент его уговорили облачиться в строгий фрак, как и подобает суровому республиканцу. Казалось, что в русско-французской дружбе наступил апофеоз. Около миллиона провинциалов нагрянули в Париж, на пути следования царского кортежа места возле окон продавались за 20 франков. Николай II с супругою ехали по авеню Елисейских полей в открытом ландо, императрица держала на коленях маленькую Ольгу, их сопровождал почетный эскорт — из одних спагов в ярко-малиновых бурнусах. Французы перестарались. Они не учли того, что русский народ подобных восторгов царям никогда не выражал, и теперь император с женою были совершенно уничтожены вулканической стихией галльского темперамента. «Когда во дворе русского посольства за ними закрылись ворота, они испытали чувство облегчения, какое знакомо моряку, укрывшемуся в порту после шторма в открытом море». На гала-представлении в парижской опере царь возмутился овацией публики.

— Это просто хамство! — говорил он.— Отчего они хлопают так, будто мы, Аликс, вульгарные заезжие гастролеры?

Царица испуганно забилась в дальний угол ложи.

— В таком гвалте,— отвечала она,— в нас могут бросить бомбу, и никто даже взрыва не услышит... Надо спасаться!

Царице стало мерещиться, будто революционеры хотят укокошить ее именно здесь — в шумном Париже. Однажды средь ночи с улицы послышался взрыв праздничной петарды.

— Полицию сюда! Нас убивают... где же полиция? Что за паршивый город Париж — на улицах ни одного шупо!

Явился сам парижский комиссар полиции Рейно, заставший императрицу в пеньюаре, она с ногами забилась в кресло.

— Спасите меня,— скулила она, сжавшись в комок...

Рейно понял, что перед ним (увы, это надо признать!) плохо воспитанная женщина с расшатанной нервной системой. Скоро это поняли и французы: на смену активным восторгам пришло оскорбительное равнодушие. В следующем году царская чета должна была присутствовать на маневрах французской армии в Шампани, но Александра Федоровна твердо заявила супругу: «Надеюсь, Ники, ты не дашь убить меня в Париже!» Был страшный шторм, когда они высадились в Дюнкерке, и здесь Романовы проявили самое натуральное свинство. Прибыв в страну с дружеским визитом, они *отказались от посещения столицы.* Впрочем, на этот раз парижане их и не ждали: никаких флагов и лампионов, никаких петард и оваций! Во время случайной остановки в Компьене императрица вдруг... скрылась. Ее нашли в каком-то грязном чулане, средь старых бочек, за которыми она пряталась, вся трясясь от страха.

— Не подходите ко мне! — взвизгнула царица.— Я знаю, что все хотят моей смерти... Увезите меня во Фридрихсбург!

К этому времени она была уже матерью двух дочерей — Ольги и Татьяны. Наследник не появлялся, отсутствие сына ввергло Романовых в подлинную меланхолию. А случайная остановка в Компьене сыграла роль — именно здесь к царице явился первый *предтеча* мессии, которого она не уставала ждать!

. . . . . .

Рождение третьей дочери Марии совпало по времени с кончиною в Абастумане Георгия, а младшему брату царя Михаилу как раз исполнился 21 год — Мишка вошел в тот возраст, когда Николай II обязан был передать ему свои регалии власти. Правда, император делал вид, что никаких обещаний в Ливадии не давал. Но брат официально (!) был объявлен в стране НАСЛЕДНИКОМ ПРЕСТОЛА — и он будет им до тех пор, пока у царя не появится сын...

— Нам нужен Алексей,— со значением говорил Николай II.

А когда в Компьене императрица заболела манией преследования, к ней под видом врачевателя проник уроженец Лиона по имени Низьер Вашоль. Амплуа мага и чародея мало соответствовало внешности типичного буржуа: уже немолод, лысоват, большие карие глаза, проникающие в душу, а на толстом мизинце — громаднющий перстень, фальшиво всех ослепляющий.

— Впрочем,— сказал он ради приятного знакомства,— меня в Европе знают за «Филиппа»... Почему псевдоним? Но я же не просто врач, а творческий человек... почти артист!

Пошлость иногда способна заменять мудрость, а нахальство исключает всякую церемонность. Вашоль-Филипп (отдадим ему должное) был человеком смелым. Он дал понять, что воздействию его пассов поддаются именно женские немощи, при этом загадочно намекнул, что умеет управлять развитием плода во чреве матери. «Расслабьте свои чувства,— диктовал он.— Я должен без напряжения проникнуть в потаенный мир царственной красавицы. О-о, как горяча ваша рука... Чувствую зарождение мужского импульса в вашем божественном теле. Будет сын!» Алиса, как это и бывает с истеричками, легко поддалась внушению чужой воли, затем она сразу успокоилась

и на маневрах в Шампани была даже радостно оживлена. Когда лава французской кавалерии сорвалась в атаку, посреди плаца заметалась жалкая фигурка человека, которого вот-вот сомнут и растопчут в неукротимом набеге конницы. Императрица, стоя на трибуне для почетных гостей, подняла к глазам бинокль и воскликнула — уверенно:

— Но это же... Филипп! Человек, сошедший на землю святым духом, не муравей, чтобы жалко погибнуть под копытами...

Вашоль-Филипп перебрался в Петербург — поближе к злату. В кругу царской семьи его называли по-английски dear Friend (дорогой друг). Человек беспардонной проворности, он сумел в русской столице сыскать массу поклонников. Вместе с дядей царя Николаем Николаевичем «вертел столы», а сеансы спиритизма в доме барона Пистолькорса создали ему славу чуткого медиума... Страх перед грядущим бросал властелинов в грубейший фанатизм, настоянный на острой закваске сладострастия. Это был наркоз, и Александра Федоровна с удовольствием отдавалась воздействию таинственных пассов. Филипп внушал ей, что она несет в себе наследника! Императрица сбросила корсет; на интимном языке она всегда выражалась грубо-иносказательно: «Прошел уже месяц,— призналась мужу,— а инженер-механик Беккер не навестил меня. Мой дорогой, я отправляюсь в девятимесячное плавание. Заранее поздравь меня с Алексеем...»

Но родила четвертую дочь, названную Анастасией.

— Где же наследник? — рыдала императрица...

Вашоль-Филипп оправдывался, что он не виноват:

— Мои пассы слабо влияют на вашу сущность, ибо в момент зачатия я нахожусь вдали от вас и не могу сосредоточиться...

Шарлатана ввели в императорскую опочивальню, где в ослеплении иконных ликов, мигавших во мраке лампадными огнями, стояли две гигантские кровати под пунцовыми балдахинами. Рядом с царской постелью водрузили ложе для «дорогого друга». Мораль была растоптана! То, что люди обычно тщательно прячут от других, «помазанники божии» производили при свидетеле.

— Наш dear Friend,— призналась императрица мужу,— оказался прав: его пассы уже во мне... Поздравь: это — *Алексей*!

Фрейлины первыми заметили, как она потолстела (они явно ей льстили). Напрасно лейб-акушер Дмитрий Оскарович Отт * хотел вмешаться в течение беременности — императрица врача до себя не допускала. Время шло, и настал девятый месяц. Николай II официально заверил двор, что вскоре следует ожидать наследника. В поисках тишины Алиса перебралась в Петергоф, за ней тронулись и лейб-медики. Все ждали, когда залпы пушек с петропавловских кронверков возвестят России о прибавлении к дому Романовых...

Настал десятый месяц. Вот и одиннадцатый!

— Что-то стряслось в природе,— посмеивались врачи.

Профессору Отту подобная галиматья надоела. Он стал настаивать перед царем, чтобы его допустили до клинического осмотра.

— Но императрица — не баба, чтобы ее осматривали!

— Ваше величество,— дерзко отвечал Отт,— но я ведь гинеколог, а для нас все царицы, такие же, простите, бабы...

Осмотр закончился скандалом.

— Вы и не были беременны,— буркнул Отт императрице.— Это вам внушили разные придворные негодяи...

В народе ходили слухи, что царица все же родила, но родила чертенка с рожками и копытцами и царь сразу же придавил его подушкой. Как раз в это время книгоиздательский комбинат И. Д. Сытина выпустил колоссальным тиражом календарь для народа с красочной картинкой: нарядная пейзанка тащит лукошко на базар, а в лукошке — четыре розовых поросенка... Цензура всполошилась:

— В четырех поросятах, несомых на продажу, народ русский способен зловредно усмотреть четырех дочерей нашей императрицы...

Вывод один — конфисковать весь тираж! Под нож его, на костры. А календари уже пошли в продажу. Полиция сбилась с ног:

— Эй, мужик, кажи календарь... с поросятами нельзя. Потому как народ нынче вредный пошел, а поросята не твоего ума дело!

Никто так и не понял тогда, отчего бедных поросят постигла столь жестокая кара. В чем они, хрюкающие, провинились?

. . . . . .

Тем временем Рачковский, находясь в Париже, раздобыл о Филиппе такие сведения, что сыщик даже не рискнул доверить их дипкурьерской почте посольства. Рачковский сам прибыл в Петербург и направился с рапортом не в Зимний дворец, а прямо к министру внутренних дел Сипягину, который встретил его сидящим возле камина. Нехотя он буркнул, что готов слушать.

— Низьер Вашоль, именующий себя Филиппом, прожженный мерзавец, который судом Лиона уже не раз привлекался к уголовной ответственности за мошенничества и подлоги. Он выдает себя за врача, на самом же деле (не угодно ли взглянуть?) вот справка из Франции, коя говорит, что он всего-навсего ученик... мясника! Его профессия,— делать колбасы и шпиговать сосиски.

— Ну и что? — нахохлился Сипягин, глядя на пламя.

— Вашоль-Филипп,— продолжал Рачковский,— выдает себя за француза... Это неправда! Он является активным членом тайного «Гранд-Альянс-Израэлит» — центра международной организации сионистов, финансовые щупальца которых уже охватили

---

* Отт Д. О. (1855—1929) — позже плодотворно работал при Советской власти; на базе Повивального института, основанного Оттом, был создан при его участии Акушерско-гинекологический институт Академии медицинских наук СССР.

весь мир. С его помощью сионизм проник туда, куда не вхожи даже вы...

— К чему вы клоните? — спросил министр.

— К тому, что такое ненормальное положение чревато опасностью для Русского государства. Не исключено, что иностранные разведки станут и впредь использовать для проникновения ко двору мистическую настроенность нашей государыни императрицы...

Сипягин показал глазами на пламя в камине:

— Вот мой добрый совет — бросьте свое досье сюда, я как следует размешаю кочергой, и пусть его никогда не было...

Рачковский поступил иначе — пошел ко вдовой императрице Марии Федоровне и вручил ей досье на Вашоля-Филиппа.

— Спасибо, Петр Иваныч,— ответила царица-мать.— Я уже слыхала, что «не все благополучно в королевстве Датском», как говаривал мой соотечественник принц Гамлет... Мне бывает тошно от сарданапаловых таинств в спальне моего сына. Ладно! Еще раз — благодарю. Я передам это сыну. Лично в руки ему...

Финал истории был таков: Рачковского выперли со службы — без пенсии! Презрев своего агента, Николай II, напротив, решил возвысить Филиппа, который обрел такую силу, что уже начинал вмешиваться в дела управления государством. «Ваша супруга права,— внушал он царю,— русская нация способна понимать только кнут. Секите же этих скотов!..» Дворцовый комендант Гессе, вступаясь на защиту Рачковского, хотел было «открыть царю глаза» на шарлатанство Вашоля, но император велел ему молчать.

— Петр Павлович,— сказал он генералу,— я ведь не лезу в ваши домашние дела, так будьте любезны не вмешиваться в мои!

Царь обратился в Военно-медицинскую академию, дабы ученый совет присвоил Филиппу степень доктора медицинских наук.

— А где диплом этого господина? — спросили ученые люди.

Диплома не было. Зато была справка, утверждающая, что Филипп является подмастерьем лионского колбасника. В обход комитета ученых научную степень Филиппу присудили от имени Военного министерства,— этот факт целиком лежит на совести генерала Куропаткина! Николай II заодно уж присвоил проходимцу и чин действительного статского советника, что дало право Вашолю-Филиппу появляться в свете облаченным в мундир генерал-майора медицинской службы... После чего, получив подъемные от царя, он собрал все нахапанное в России — и поминай как звали!

Но тут раздался...

10. ЗВЕРИНЫЙ РЫК

Вот и великий пост в Александро-Невской лавре. Господи, спаси ты нас, грешных, и помилуй... Архимандрит Феофан, магистр богословия и ректор Духовной академии, боялся оскоромиться, а потому стол его был аскетически скромен. Сначала он пропускал рюмочку смородиновой, на закуску же — грибки, сиг копченый, балык и розовые ломти семги. Затем (уже под коньяк) лилась янтарная уха из волжской стерляди, а к ней подавалась кулебяка с енисейской вязигой. В конце сладкое — муссы и бланманже.

— Ну-с,— сказал владыка, безгрешно насытившись,— так дело дальше не пойдет. До чего мы дожили? Русская земля исстари царям святых чудотворцев поставляла. А ныне... что творится?

Вашоль-Филипп уже не вернулся, но прислал в Петербург своего ученика, хитрого еврея Панюса (настоящая фамилия — Анкосс), который вовлек царя в беседу с духами умерших самодержцев. Царицу угнетал гипнозом сомнительный профессор Шенк из Вены, а тибетский знахарь Джамсаран Бадмаев подкармливал Николая II возбуждающими травками... От этого в Лавре было большое смятение.

— Нешто обедняла земля русская, от Византии свет получившая? — вопрошал Феофан у клира.— Кудесники на Руси всегда под ногами словно камни валялись: бери любого — не надо!..

Сообща было решено поставлять в Зимний дворец своих агентов. Первым проник к царице митрополит Антоний (Храповицкий), в прошлом блестящий офицер гвардии, свободно владевший многими языками. Это был вполне светский человек, остроумный собеседник с ядом раблезианства на устах. Церковный штаб просчитался! Александра Федоровна совсем не нуждалась в утонченных риториках. Духовенство моментально отреагировало на свой тактический промах и, отыскивая нужный товар, быстро-быстро, как мусорщик помойную яму, перекопало весь внутренний рынок гигантской империи. Скоро по Питеру пошел слух, что в глубинных недрах матери-России объявился отрок святой жизни, который уже *прорицает*. Флигель-адъютант князь Николенька Оболенский доложил царице:

— Как козельский помещик, могу засвидетельствовать, что истинно дух божий сошел на отрока. Посудите сами: княгиня Абамелик-Лазарева, моя соседка по имениям, никак не могла, пардон, понести. Отрок заверил ее, что сын будет, и сын... явился!

— Хочу видеть отрока,— сразу напряглась императрица.

. . . . . .

Митька Благов, он же Козельский, он же Блаженный, он же и Коляба... Называют его по-разному — кому как нравится!

Отрок сей паспорта отродясь не имел, родителей не ведал, в детстве ползал, а когда подрос, то ловко бегал на четвереньках. Позвоночник имел искривленный, а вместо рук — обрубки. «Его мозг, атрофированный, как и члены его, вмещал лишь небольшое число рудиментарных идей, которые он выражал гортанными звуками, заиканием, мычанием, визжанием и беспорядочной жестикуляцией своих обрубков». На деревенском празднике, развеселясь, мужики ушибли убогого чем-то тяжелым — с тех пор и началась громкая Митькина слава: стал он подвержен паду-

чей. Во время припадков блажил он что-то, людей пугая. Лечили его знахари канифолью, служащей для натирания смычков скрипичных. Так бы, наверное, и захирела Митькина слава в скромных масштабах Козельского уезда, если бы не один человек, осиявший его венцом знаменитости...

Вот он: Елпидифор Кананыкин — псаломщик церкви села Гоево; мужу сему выпала честь обнаружить великий смысл в речениях Митькиных как раз в те критические моменты, когда его корчит падучая. Но даже Христофор Колумб не имел стольких выгод от открытия Америки, сколько имел их наш грозный Елпидифор, открывший в Митьке глубокий кладезь премудрости... Мужик здоровущий, вечно несытый, Кананыкин был умудрен громадным житейским опытом и потому стал блажения отрока расшифровывать — очень точно:

— Тихо! Ша... о церкви лает... быть пожару!

И верно: ночью занялась церквушка и пошла прахом, одни головешки остались. Хочешь не хочешь, а надо верить, что на Митьку и впрямь «накатывает» дар божий. Теперь, коли Митьку сгибало в дугу посередь деревенской улицы, суеверные мужики и бабы обступали его стенкой, выкликая вопросы и просьбы:

— Продать мне пеструшку или на отел оставить?

— Ванюшку-то, скажи, долго ль в солдатах держать будут?

Елпидифор стихийного беспорядка не потерпел.

— Это по какому праву? — бушевал он.— Митька-то *мой*, я же ведь блажь его толковать уразумел... Р-р-разойдись! Или закону не знаете? Вот я аблаката на вас спущу... Сначала вопрос подай мне, а уж я сам нужное у Митьки выведаю и перетолмачу обратно. Брать за блажь буду холстинами, деньгами и яйцами.

Посадив Митьку на тачку, Кананыкин повез его по деревням на платные гастроли. Вот когда житуха настала! Зажил псаломщик — кум королю: бабы его оделяли чем могли, и в новой роли антрепренера отъелся наш Елпидифор, купил сапоги себе и рубаху новую. Только вот беда: случается, день-два-три, а Митька здоров, проклятый... не кидает его в приступ, не «накатывает»! От Митькиного здоровья большие убытки терпел Кананыкин.

— Ты што ж это, а? — шипел он на Митьку в благородной ярости.— Я тебя, знашь-понимашь, по всей губернии, быдто хенерала какого, на тачке катаю. Я тебе, огузнику, вчера конфетку в бумажке купил. А ты, скважина худая, от самой пятницы даже не покорчился. Сплошной убыток, а где доходы? Разорюсь я с тобой...

Однако вскоре Елпидифор заметил, что если Митьке надавать тумаков побольше, то припадки с ним случаются чаще. Теперь, подвозя блаженного к богатому селу, Кананыкин еще за околицей устраивал своему протеже хорошую взбучку. А когда подкатывали к сельскому храму, Митька уже начинал биться в жестокой эпилепсии... Юродивый имел теперь немало губернских заказов, и Кананыкин едва успевал расшифровывать его мычания и визжания:

— Бабу свою не жалей — помрет вскорости, тащи льна... На станцию с огурцами не ездий — обворуют там тебя, гони двугривенный.

Так и катилась роскошная жизнь — знай толкай перед собой тачку с припадочным идиотом, но тут вмешалась полиция:

— Стой! Кажи вид... Ага, псаломщик Кананыкин из села Гоево? Так-так... Впрочем, ты нам не нужен. Велено убогого Митьку из козе́льских мещан взять от тебя и доставить к ея императорскому величеству. А тачку забери! Про тачку ничего не велено...

Тут Елпидифор понял, что без Митьки он пропадет.

— Родные мои! — закричал он, на колени падая.— Да без меня-то царица ни хрена не поймет от убогого.

Заявление Кананыкина подвергли критике:

— Ну, так уж и не поймет? Что она, дура какая?

— Христом-богом клянусь, вот те крест на себе целую... Митька ведь протоколы свои только для меня пишет!

Словно подтверждая эту святую истину, Митька выпал из тачки и, дергаясь, начал «писать протоколы» для Кананыкина.

— Чего это с ним? — удивились чины полиции.

— Прорицает! Речет от бога, чтобы нас не разлучали...

Елпидифора с Митькой посадили в вагон первого класса.

Вот и Царское Село; первым делом приезжих отвели в гарнизонную баню, вывели им вшей. Митьку приодели в зипун, а Елпидифора, соответственно его сану, в подрясник. Взявшись за тачку, Кананыкин с грохотом покатил ее в покои царицы, а Митька махал культяпками и пускал пузыри, словно младенец.

— Ишь, как тебя разбирает-то! — говорил Кананыкин.— Понимаешь ли, башка твоя дурья, до чего мы с тобой докатились?

. . . . . .

А теперь, пока Елпидифор везет свою тачку, мы возьмем громовой заключительный аккорд. Я нарочно не говорил читателю раньше, что императрица была вполне образованной дамой. Еще в юности она прослушала курс лекций по философии и даже имела научную степень *доктора философии* Гейдельбергского университета.

Внимание, читатель! Двери распахнулись, и, визжа несмазанным колесом, в покои «доктора философских наук» отважный козельский антрепренер вкатил тачку с новоявленным чудотворцем...

— Вот мы и добрались,— сказал Елпидифор, чувствуя, что в этот момент он достиг горных высот блаженства.

Митька для начала издал легкое игривое рычание — вроде многообещающей увертюры, когда занавес еще не поднят.

— Это что с ним? — спросила царица.— О чем он?

— Деток повидать желает. Он у меня бедовый. Лимонад любит. Я ему, бывалоча, покупал... тратился! Как сыну. Куплю, а он все слакает и мне даже капельки не оставит.

Дали Митьке бутылку «Аполлинариса», привели царевен — Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию (последнюю принесла на руках нянька Ленка Вишнякова). При виде множества девочек Митька, не допив шипучих вод, дико возопил.

— А сейчас он что сказал? — спросила Алиса.

— Это он чаю с повидлой хочет,— перевел Елпидифор.— Говорит, чтобы нам кажинный божий день по баранке к чаю давали...

Описывая психопатку с солидным дипломом доктора философии, я невольно теряюсь, ибо не могу понять ее логики. Мне остается взять на веру лишь показания очевидцев. Со слов их я знаю, что беременная императрица целых *четыре месяца подряд* присутствовала при ужасных припадках эпилептика. Сейчас ее волновал вопрос — кто родится, неужели опять не сын?

— Мммм... рррррры-ы-ы-к... у-у-ы-ы... — завывал Митька.

Понятно, что псаломщик Кананыкин (психически вполне здравый стяжатель) вылезать из дворцовых покоев не желал. А потому, дабы продлить полезное пребывание на царских харчах, хапуга толковал Митькины вопли туманно, явно затягивая время:

— Погоди еще месячишко, он тебе потом все откроет! Да не забудь указать, чтобы мне драповое пальто справили...

Митька причащал царскую чету своеобразно: пожует «святые дары», а жвачку выплевывает в раскрытый рот Николаю II и его супруге.

Бледная, взвинченная от внутреннего напряжения, с расширенными глазами, вся в мелком холодном поту, Александра Федоровна с неестественным вниманием наблюдала, как возле ее ног катался эпилептик. На губах Митьки, словно взбитый яичный желток, вскипала пузырчатая пена...

Эту пену пронизало розовым цветом — кровь!

Кананыкин перетолмачивал звериное рычанье:

— Тока не пужайся! Родишь кавалера, верь. Да передай хенералам своим, чтобы мне на пошив сапог они хрому от казны выдали...

В один из таких «сеансов» с Алисой тоже начался припадок — истерический. Теперь на полу катались уже двое — эпилептик, весь в мыле, и закатившая глаза императрица в голубеньком капотике. На почве сильного потрясения случились преждевременные роды. Держать «пророка» при дворе далее не решились. Гастролеров на казенный счет выслали обратно в козельские палестины.

. . . . . .

«Духовная партия» еще не раз поставляла Дворцу своих агентов. Были тут Вася-странник, Матренушка-босоножка, была и Дарья Осипова, которая пророчила больше матюгами, специализируясь на лечении баб («чтобы у них детки в пузе держались»). Эту вечно пьяную старуху поставил ко двору блистательный наркоман — генерал Саня Орлов, на которого царица посматривала с вожделением.

Много тут было всяких! Но все не то. Не то, что нужно. Они ведь только предтечи мессии. А где же сам мессия?

11. ЯВЛЕНИЕ МЕССИИ

«В конце 1902 года, в ноябре или декабре месяце, когда я, обучаясь в С.-Петербургской Духовной академии, деятельно готовился к принятию ангельского образа — монашества, среди студентов пошли слухи о том, что где-то в Сибири, в Томской или Тобольской губернии, объявился великий пророк, прозорливый муж, чудотворец и подвижник по имени Григорий...» — так вспоминал о Распутине громоподобный иеромонах Илиодор, умерший в Нью-Йорке на 10-й авеню Ист-Сайда, где селилась беднота русских и украинских эмигрантов. Мечтавший создать на Руси православный Ватикан, чтобы играть в нем роль русского папы, Илиодор закончил жизнь швейцаром при открывании дверей богатого отеля. Владелец отеля ценил его за могучую грудь и роскошную бороду, а вступающих в отель избалованных туристок поражал жалящий, почти змеиный взор швейцара, проницающего женщин насквозь... Смелой рукою ввожу в роман героя, который станет одним из главных!

. . . . . .

Кончились те примитивные времена, когда гоголевский семинарист Хома Брут, не изнуряя себя гомилетикой, пил горилку, а по ночам лазал в окошко хаты, где жила прекрасная Дульцинея-просвирня. Хома Брут кажется нам существом наивнейшим. А теперь — о, ужас! — «в духовных академиях проектируется учредить специальную кафедру по предмету обличения социал-демократической доктрины». Первый удар был нанесен по русским писателям. «Все знают,— вещали с кафедры Академии,— что писатели наши не столько писали, сколько блудили и пьянствовали».

Нет, читатель, семинарии не были тогда скопищем оголтелой реакции! Из числа семинаристов вышло немало революционеров, ученых и певцов, а начальство давно привыкло, что стенки в уборных разрисованы карикатурами «на Николашку и Сашку», семинаристы ножами вырезали на скамьях вещие слова: «Долой самодержавие!» Предчуя скорую революцию, высшее духовенство соблазняло будущих пастырей на путь активной борьбы с пролетариатом. Иерархи церкви выискивали средь молодежи талантливых и беспринципных демагогов...

Сущей находкой для Синода стал Серега Труфанов!

Фигура историческая. Донской казак. Собою красавец. Парень с гривою волнистых волос, каким бы позавидовала любая женщина. Усы и бородка редкие, будто у калмыка. А глаза — как у водяного лешего, эдакие ярко-зеленые глубокие омуты.

Антоний (владыка синодский) сказал Труфанову:

— Вот станешь попом, дадут приход, так даже страшно помыслить, что будет. Налипнут на тебя бабы, как мухи на патоку!

Но Труфанов был склонен к аскетизму — редкое явление по тем временам, и Феофан, ректор Академии, стал заранее выдвигать студента — как нового апостола церкви, который должен заменить Иоанна

Кронштадтского. По рукам семинаристов ходила тогда крамольная картинка. Был изображен стол, полный яств, а вокруг стола пируют тучные митрополиты, архиереи и монахи, венчанные надписью *«Мы молимся за вас!»*. А ниже, под столом, рабочий ковал железо, пахарь возделывал землю, и было начертано: *«А мы работаем на вас!»*

— Это неправда,— возражал Серега Труфанов.— Духовное есть духовно, и вы меня такими картинками не искушайте...

Труфанов был сила, но непутевая сила. Талант, но бесшабашный талант, искривленный и дикий. Он был еще студентом, когда слава о нем как о духовном витии уже гремела. Генералы присылали за ним автомобили, и, встав на дрожащий радиатор, Серега держал перед солдатами погромные речи. По его словам выходило так, что во всех бедствиях Руси повинны евреи и интеллигенция:

— Бей их так, чтобы от них одни галоши остались...

Петербург жил своей жизнью. За стрелки островов выбегали белоснежные речные трамваи, звонко цокали подковами по торцам лихие рысаки, шумели на Озерках рестораны с гуляющей публикой, дразняще ликовал в зелени женский смех, всегда волнующий чувства, оркестры пожарных команд раздували над парками щемящую тоску старомодных вальсов-прощаний, в магазине у Елисеева даже в лютейшие морозы торговали свежей клубникой, а по вечерам неистовствовали загородные кафешантаны.

Ну, скажите мне положа руку на сердце, какому дураку в бурной и праздничной жизни хочется стать монахом? Труфанов и стал им, приняв новое имя — *Илиодор*... Он блуждал по Невскому, безумный инок, пугавший проституток речами о «страшном суде» на том свете. Босой праведник, опоясанный размочаленным вервием, Илиодор сшибал очки с носа прохожих, говоря при этом: «У-у, интеллигент поганый, морда твоя жидовская!» Духовная дорога уводила инока в дебри политики. В голове монаха самым диким образом совмещались идеи крестьянского народничества с махровейшими идеями черносотенства. Идя от бога, Илиодор хотел выйти к народу с его нуждами, но дороги к народу не знал и пошел вкривь и вкось, словно пьяный. Человек гибкого ума, мракобес широкого масштаба, великолепный оратор, способный увести за собой тысячи, десятки и сотни тысяч людей,— фигура архисложная!

Феофан голубил Илиодора, зазывал в свои лаврские покои, пили они чай с клубничным вареньем, и молодой взвинченный монах раскрывал ректору свою душу, испепеленную ненавистью к «очкарикам», к романам Льва Толстого и к революции грядущего.

— Есть у меня мечта,— говорил он,— издавать журнал «Жизнь и Спасение», на обложке коего изображен квач малярный, и этим квачем мажут рожу дураку в очках. И хочу, владыка, пустить в народ газету по названию «Гром и Молния», а чтобы девиз у нее был такой: «Пролетарии всех стран... разбегайтесь!»

— Мажь квачем, Илиодорушко... все разбегутся.

Он был страшен, как погромщик, но царская власть еще не раскусила, что, взращивая Илиодора для своих нужд, она невольно готовит буйного протестанта, способного выступить и против царя. Тихое житие в келье Илиодора не прельщало. Протопоп Аввакум, Никита Пустосвят, Арсений Враль-Мациевич, Ириней Нестерович — именно эти бунтари церкви стали для Илиодора апостолами, образцами для подражания... Однажды за чашкой чая ректор Академии завел речь о подвижниках, но Илиодор отмахнулся:

— Да где они! В нашем веке чудеса библейские не привьются. Эвон вчера над Обводным каналом аэроплан запущали с винтиком. Тоже чудо! Токмо рукотворное, а не божие.

— От этих самых аэропланов святости не жду,— отвечал ему Феофан.— А подвижники шевелятся... в лесах, где гады ползают. Недавно из Казани от миллионерши Башмаковой весточку получил. Пишет вдовица кроткая, что в Сибири завелся истинный подвижник по имени Григорий. Он ладно беса из нее выгнал...

— Любопытно бы на него глянуть! — сказал Илиодор.

— Григорий уже в пути. Наплел лаптей поболее и пешком к нам заявится, аки странник вечно гонимый...

Феофан уже взял нового «святого» на учет своей канцелярии — авось и сгодится! Если б эта новость отрыгнулась обратно в село Покровское, мужики скорее поверили бы в беса паскудного, но только не тому, что их Распутин способен к святости.

. . . . . .

Соблазны всюду, как поглядишь, одни соблазны... Искушений столько, что страшно! Чуть свечереет над Лаврою, через забор сигают мрачные патлатые тени, во мраке смачно брякаются трехлитровые бутыли. Оглядятся вокруг — никого нет, и слыхать:

— Эй, Нюрка, лезь... Да тихо ты, дуреха лиговская!

В один из дней, невыспавшийся, Илиодор шел по темному академическому коридору, имея взоры опущены ниже долу, как и положено смиренному послушнику. На плечо ему легла ароматная рука.

— Братец Илиодорушко,— сказал Феофан,— а вот и Гриша навестил нас... тот самый, что в Сибири славно подвижничает!

Илиодор поднял глаза. Стоял перед ним мужик, который неустанно и очень быстро перебирал ногами, будто собираясь пуститься в пляс.

— Поцелуйтесь... вы ведь одного поля ягода,— сказал Феофан.— Что один, что другой — оба к богу тщитеся...

Распутин, еще больше дергаясь, полез целоваться.

«Григорий,— описывал его Илиодор,— был одет в простой, дешевый, серого цвета пиджак, засаленные и оттянувшиеся полы которого висели спереди, как две старые кожаные рукавицы. Карманы были вздуты, как у нищего, кидающего туда всякое съедобное подаяние. Брюки такого же достоинства, как и пиджак, поражали своей широкой отвислостью над грубыми халявами мужицких сапог, усердно смазанных дегтем. Особенно безобразно, как старый истрепанный гамак, мотался зад брюк! Волосы на голове старца были причесаны в скобку. Борода мало походила на бороду, а

казалась клочком свалявшейся овчины, приклеенным к его лицу, чтобы дополнить все его безобразие. Руки старца были корявы и нечисты. Под длинными и загнутыми внутрь ногтями полно грязи. От всей фигуры несло неопределенным, но очень нехорошим духом...»

Так выглядел мессия, когда он впервые появился в столице. После поцелуев Распутин повернулся к Феофану и с улыбкой (Илиодор запомнил ее как «заискивающую, лукавую и противную») сказал:

— А ведь сразу видать, что братец круто молится...

Неясно, чего конкретно хотел Феофан от знакомства с Распутиным и чем бы вообще закончился его приезд в столицу. Но тут из поездки вернулся синодальный владыка Антоний и прогудел:

— Какой еще Распутин? Гришка-то?.. Так я его знаю. Кто его, беса, не знает. Гоните в три шеи! Не верьте ему — жулик!

Распутин мгновенно скрылся, и о нем забыли: был — и нету его. А тут как раз подоспела знаменитая саровская эпопея...

. . . . . .

В этом году Илья Репин закончил картину «Какой простор!». Помните, накатывающий с моря прибой, а в пенной волне, открытые простору и радости жизни, стоят влюбленные студент с барышней, которым давно уже «море по колено»... С тех пор как Игорь Грабарь разругал картину, стало признаком хорошего тона отзываться о ней критически. Но было и другое мнение, мнение современников, для нас давно угасшее: упоенные бурей и любовью, гордые и красивые, он и она — это как раз те люди, которым предстоит свершать революцию... Какой простор! Какая свобода!

12. ЧУДО БЕЗ ЧУДЕС

Повар царской семьи (на положении ресторатора) получал с персоны Романовых за обычный завтрак 78 копеек, за обед брал по рублю. Вскоре он сделал заявление, что завтрак будет стоить 93 копейки, а обед рубль и 25 копеек — продукты вздорожали! Молодая царица призвала повара к себе и в присутствии придворных кричала, что он вор и мошенник, что он может обманывать кого угодно, но ее обмануть ему не удастся... Алиса сразу дала понять, что за копейку горло перегрызет любому, теперь она ходила на кухню, проверяя, сколько кладется в суп корешков (к прозвищу «гессенская муха» прибавилось новое — «кухарка»). Царская чета кормилась по-английски: завтракали в полдень, обедали в 8 часов вечера. Гостей не любили. За царский стол свободно садились только министр двора Фредерикс и лишь в исключительных случаях дежурный генерал-адъютант...

Победоносцев неожиданно был приглашен к завтраку.

— Константин Петрович,— сказал Николай II,— мы вот тут подумали и сообща решили, что преподобного Серафима Саровского надо бы причислить к лику святых земли русской.

— Простите, государь, а... с кем вы подумали?

Император заискивающе глянул на свою ненаглядную.

— У меня немало друзей,— отвечал загадочно.

Синеватые пальцы обер-прокурора святейшего Синода сплюснулись на ручке чашки; Победоносцев даже помертвел.

— Для этого необходимо,— заговорил жестко,— чтобы Серафима чли верующие. Чтобы в народе сохранились предания о его подвигах во имя Христа. Чтобы его мощи оказались нетленными. Я не могу сделать его святым по указу царя! — заключил твердо.

— Зато царь *все* может,— вмешалась императрица...

Скоро в Саровскую пустынь выехала особая комиссия, которая — увы! — никаких мощей старца не обнаружила. В гробу валялись, перемешанные с клочьями савана, несколько затхлых костей, нашли истлевшие волосы и черные зубы. В протоколе осмотра так и записали, что нетленных мощей не сыскано. Строптивую комиссию, не сумевшую понять желаний царя, разогнали — создали другую, более сговорчивую. Серафим Саровский был признан в святости, а «всечестные останки его — святыми мощами»! Николай II на этом докладе отметил: «Прочел с чувством истинной радости и умиления».

Летом 1903 года высшее духовенство империи (кстати, были они блестящие режиссеры!) организовало сцены «народного ликования» в Саровской обители. Втайне ловко сфабриковали чудесные исцеления возле источника Серафима; жандармские сейфы, взломанные революцией, раскрыли секрет чудес. Вот фотографии филера Незаможного: здесь он слепой, а здесь уже зрячий. Вот видный чиновник Воеводин: здесь он паломничает, несчастный, с котомкою и на костылях, а вот костыли заброшены в крапиву — Воеводин уже пляшет... Машина святости, подмазанная госбанком, работала хорошо! Ждали приезда царя с царицей. На всем долгом пути их следования — от Петергофа до Арзамаса — были выстроены солдаты при оружии (по солдату на каждые 100 метров). При встрече было немало дешевого пейзанства: плачущие бабы, вышитые полотенца, хлеб-соль. Николай II спрашивал волостных старшин, каково им живется, наказал слушаться земских начальников. Николай II лично тащил гроб с останками Серафима Саровского, а так как он был маленького роста, то гроб все время заваливался вперед, а шедшие за царем генералы сознательно приседали. Взмыленный от усердия Саблер, синодский заправила, старался больше всех, ибо он был евреем, а хотел стать гаулейтером православия! Потом царь с царицей навестили юродивую Пашу, которая «показывала им части тела, которые обычно скрывают... встретила грубейшей руганью и в их присутствии исполняла свои нужды...». Александра Федоровна прибыла в Сарово целеустремленной, жаждущей чуда. «Мне нужен Алексей!» — говорила она. Возле самой могилы Серафима спешно откопали пруд. Сначала в этом пруду Алиса с сестрой Эллой выкупали фрейлину Саломею Орбелиани — женщину удивительной красоты, парализованную от сифилиса, которым ее заразил свитский генерал Рыдзевский. Ждали ночи. Под покровом темноты, в сонме молчаливых статс-

дам, из павильона вышла императрица и направилась к пруду, на ходу сбрасывая с себя одежду. Агенты наружного наблюдения, страховавшие Романовых даже в интимной обстановке, видели из кустов, как царица долго полоскала в воде свое узкое длинное тело. Потом, нервно вздрагивая от ночной свежести, почти голубая при лунном свете, Алиса стояла на мостках купальни, а фрейлины растирали ее полотенцами. Никто тогда не знал, что из темени кустов за царицей наблюдает тот самый человек, который станет ее мессией. Пронизывая мрак ночи, глаза сибирского конокрада издали ощупывали недоступное для него царственное тело... А средь прислужниц, вытиравших императрицу, находилась в Сарове никому еще не ведомая Аннушка Танеева (в скором будущем — Вырубова). Пора уже случиться чуду!

. . . . . .

На Инженерной улице в Петербурге, в доме № 4 проживал статс-секретарь Танеев — столичная знать, элита общества, сливки света. Казалось бы, и дочь видного бюрократа должна распуститься в некое прелестное создание, благо кремов и музыки вложили в нее немало. Но этого не случилось! Аня Танеева росла толстой, молчаливой и угрюмой, совсем не похожей на аристократку. Родители ее были культурными людьми, но Анютка с грехом пополам выдержала экзамен на маловыразительное звание «домашней учительницы». В 16 лет, когда красота только распускается, это была уже громоздкая бабища — с массивной грудью, с жирными плечами. В 1902 году она перенесла брюшной тиф, давший осложнение на кровеносные сосуды ног, и девица опиралась при ходьбе на два костыля...

Такой впервые и увидела ее в Царском Селе императрица.

— А я вас знаю,— сказала она Анютке.— Не помню — где, может, во сне, а может, и в загробной жизни, но я вас встречала.

Отбросив костыли, девица грузно бухнулась на колени.

— Я и сама чувствую,— запищала она, ползая по траве,— что я сама не от себя, а лишь загадочное орудие чужой судьбы, которая должна очень тесно переплестись с судьбою моей.

— Встань,— велела ей Александра Федоровна.— Какой у тебя удивительно высокий голос, а у меня как раз низкий... Если ты еще и поешь, так мы с тобою составим неплохой дуэт...

Невзирая на возникшую близость к императрице, на плечо Танеевой не торопились прицеплять бант фрейлинского «шифра» (очевидно, при дворе не хотели иметь фрейлину с такой топорной внешностью). Перед поездкой же в Сарово Анютка призналась царице, что влюблена безумно, но он такой мужчина... просто страшно!

— А каков он? — ради вежливости спросила Алиса.

— Настолько обольстителен, что я боюсь на него глядеть. Я и не глядела! Но он недавно овдовел и теперь свободен.

— Назови мне его,— велела императрица.

— Это генерал Саня Орлов, ваше величество...

Императрица откинула голову на валик кресла.

— Ну... и что? — спросила, овладев собою.— Вы с ним уже виделись?

Анютка испугалась. Наверное, только сейчас девица сообразила, почему Алиса, став шефом Уланского полка, сделала Орлова командиром своего же полка... От страха шитье выпало из рук толстухи.

— Я виновата,— заплакала она.— Но не ведаю, перед кем виновата. Вы же сами знаете, что перед Орловым устоять невозможно. Раскаюсь до конца: он сказал, что придет ко мне.

— Придет... куда и когда?

— Сегодня вечером. Я уже дала ему ключ от дачи...

За окнами свежо и вечно шумел царскосельский парк.

Императрица обрела ледяное спокойствие.

— Пусть он приходит, и ты впусти его,— сказала она, с неожиданной лаской погладив Анютку по голове.— Тебя сам всевышний послал для меня. Ты и верно что не сама от себя, а лишь орудие моей судьбы, которая переплетется с твоей судьбой...

Когда над царской резиденцией стемнело, генерал Орлов, накачавшись коньяком «до пробки», открыл дачные двери. Голос Анютки Танеевой окликнул его из глубин мрачного дома:

— Идите сюда... сюда... вас уже ждут!

Из потемок возникли горячие руки и обвили шею прекрасного наркомана. Но с первых же минут свидания Орлов почуял, что его встретило не совсем то, что он ожидал.

Ярко вспыхнул свет, и Орлов обомлел...

Перед ним лежала шеф лейб-гвардии Уланского полка!

— Вот как вредно ходить по девицам,— сказала она со смехом,— можно попасть в постель замужней женщины... Ты удивлен? Но я же поклялась тебе однажды, что никогда тебя не забуду!

30 июля 1904 года у императрицы наконец-то родился наследник-цесаревич, нареченный Алексеем. Над Невою долго палили пушки. Николай II был искренне убежден, что наследника престолу подарил его духовный патрон Серафим Саровский... Позже, когда Алексей подрос, придворные находили в нем большое сходство с генералом Орловым. По углам шушукались: «Стоило в это дело вмешаться Орлову, как, глядь, и наследник сразу же появился...» Впрочем, иностранная печать, отлично осведомленная, никогда и не считала Николая II отцом цесаревича Алексея.

. . . . . .

Теперь, когда цесаревич явился, император отобрал у своего брата титул наследника российского престола. Но Мишке тут же было присвоено положение «условного регента» (на всякие непредвиденные случаи жизни). Надо признать, что, повзрослев, Мишка и не напрашивался на корону. «А зачем мне эта морока? — говорил он, когда ему делали намеки на то, что он имеет право претендовать на престол.— Разве мне и без короны плохо живется?» Михаил Александрович рано начал кутить, отчаянно прожигая жизнь

по шантанам, к двадцати годам это был уже совершенно облысевший человек, а ресторанная кухня наградила Мишку отличной язвой желудка. Вокруг него, щедрого на кутежи и подачки, постоянно крутились ищущие злата женщины. По натуре он был добряк, не умевший ни в чем отказывать, и когда одна из метресс, госпожа Косиковская, наступила ему на горло, чтобы он срочно на ней женился, Мишка не стал отстреливаться до последнего патрона, а сразу же поднял руки, сдаваясь на милость победительницы... Пришлось вмешаться матери, которая спровадила энергичную даму на Ривьеру, а сыночку устроила головомойку: «Пойми, что при скандальном браке ты теряешь все. Ты теряешь главное — право на занятие престола...» Это было крепко и звонко сказано! За спиною Мишки еще много лет трещали, ломаясь в поединках, копья царедворцев и родственников. Мария Федоровна, явно недовольная Николаем и своей невесткой, кажется, была не прочь произвести на троне шахматную рокировку, заменив старшего сына младшим...

А лето 1904 года выдалось знойное, с частыми грозами. Короткие бурные ливни не освежали земли. Алиса, как всегда, болела: полежав на постели, перебиралась на кушетку, с кушетки — в шезлонг. Николай II, подобно дачнику-обывателю, шлялся по окрестным лесам, собирая в лукошко грибы и ягоды. Родители не могли нарадоваться на своего ребенка. «Удивительный бэби — никогда не плачет!» 8 сентября младенец доставил им первое беспокойство. Вдруг ни с того ни с сего началось обильное кровотечение из пуповины. Врачам сделалось страшно. Лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров первым нарушил тягостное молчание.

— У наследника престола,— доложил он царю,— болезнь, называемая «болезнью королей». В науке же зовут ее гемофилией. Пустяковый ушиб или укол иглою, даже приступ кашля могут вызвать кровотечение, которое медицина не способна остановить. Ваше величество, знайте правду: гемофилитики обычно умирают в детстве и очень редко они вступают в зрелую жизнь.

Федоров пощадил царя, умолчав о главном: гемофилия является ярким признаком *вырождения*. Странно, что женщины этой болезнью никогда не страдают, и великобританская королева Виктория всю жизнь чувствовала себя отлично. Но именно она-то и несла в себе гены этой ужасной болезни, которая расползалась как лишай по дворам старинных династий Европы, поражая отпрысков коронованных родителей. Три испанских инфанта, потомки Виктории, уже умерли от гемофилии; родной брат кайзера, гросс-адмирал Генрих Прусский, женатый на Ирене Гессенской, уже получил от нее сплошь отравленных сыновей. Принято думать, что Вильгельм II был особо заинтересован в браке Николая с Алисой, чтобы безжалостная гемофилия ускорила вырождение Романовых... Ну, а сама Алиса? Знала ли она об этом? Да, она тоже знала. Всем своим не женским, а чисто монархическим существом Алиса стремилась к зарождению в себе не столько сына, сколько *наследника*, ибо вопросы династии для нее были дороже чувств материнства, и вот она наследника произвела... Встреча с гемофилией состоялась, ничего исправить нельзя!

13. БЕССТЫЖИЙ АПОСТОЛ

Конокрады, они с коновалами всегда в дружбе. Им это надо — когда жеребца охолостить, когда кобылу доправить, чтобы в цене шла подороже. Гришка Распутин, пока с лошадиного воровства жил, немало повидал коновалов. От них и познал врачевальные тайны, что тянулись в XX век от ветхозаветной Руси, от народного разума, от знахарских книг, писанных в лихие времена славянскою вязью, закапанных воском древности...

Многое запомнил. Сберег. Пригодится!

Покровские мужики, хотя и презирали Гришку, но иногда были вынуждены признать его превосходство над ними. Однажды мальчонку резанули косой по ноге, кровью исходил малый на сенокосе, а Гришка пошептал что-то, приложил травки — и кровь замерла... Чудеса творил Гришка и перед конскими ярмарками. В канун торжища приволок откуда-то полудохлую клячу, запер ее в амбаре. Неделю отпаивал ветхую кобылицу снятым молоком с отрубями. А когда наступала ночь, Гришка во мраке, тихо подкравшись, вдруг ожигал клячу кнутом, отчего она стала пугливой. Зубы у лошади давно стерлись, верхушки их стали плоскими (признак старости). Каленым железом Гришка по-цыгански выжег ей в зубах ямки, какие бывают только у молодых коней. Когда же повел клячу на ярмарку, все только ахали: выступал за ним резвый, подвижной коняга, дрожа гладкой шкурой, а по зубам дашь ему два года — не больше...

Покровский староста Белов рассуждал:

— Мазурик он! Может, исправнику нажалиться мне?

Гришка часто уходил из села, пропадая в долгих отлучках, а потом являлся, изможденный и мрачный, мутные глаза его скользко плавали в ободах синевы; был он тих после богомолий, посылал свою Парашку до лавки с запискою собственного сочинения: *«Милостив Гасудар гаспатин Лавашник буть любезна Силетку мине по жирне и по толоче уважаюсчи тебе грегорий»*.

Была Парашка, под стать мужу, бабой скверной. Под самый XX век пошли у Распутиных дети — сын Митенька да две дщерицы, Варька с Матрешкой,— сопливые, нечесаные, зимой они по нужде босые по сугробам гоняли. «Распутинские,— говорили на селе,— живучие. Их и оглоблей не проймешь... Ишь, заливаются — голосистые!»

. . . . . .

Без паспорта, без денег, даже без лаптей отваживался Гришка шляться далеко.

Пока же он там болтался по разным святым местам, Парашка его вконец истрепалась. Путалась исключительно с «аристократами» — с писарями, сотскими, лавочниками. Когда Гришке указывали на непотребство жены, он только отмахивался — небрежно:

— Жалеть ли добра такого? От бабы не убудет... Это вы, дикари, закосматели тута, даже кофию ни ра-

зу не пробовали...

— А ты рази кофий пил?

— А как же! Я вот тока господского коньяка не пил. Но погоди, я и до энтого коньяка, даст бог, ишо доберусь...

Вскоре было примечено, что после долгих отлучек по богомольям у Гришки начинали денежки шевелиться. Он даже лошадь с шарабаном купил, стал носить высокий черный цилиндр, какие носили тогда провинциальные священники. «С чего бы такая роскошь?»

— Не убил ли кого? — толковали мужики.— С Гришки ведь всякое станется. А со странствий добра не спроворишь...

Вдруг прикатила в Покровское на тройке с бубенцами вдовая миллионерша Башмакова, надарила Парашке разных платьев, щедро оделила детвору Гришки гостинцами. Распутин выстроил на отшибе села новую баню с каменкой, водил туда миллионершу по вечерам, и там они знойно парились. «Греха не пужайся,— говорил Гришка богачихе.— Потому как всякий грех я на себя забираю, и перед богом тебе виноватой стоять не придется. С богом я и сам разберусь!..» Башмакова растрезвонила по свету, что вот, мол, апостол какой объявился — не только согрешит, но еще и от греха очистит. Понаехали из города и другие паскудницы — тоже усердно парились, а из бани Гришку, вымытого до изнеможения, вели под локотки — словно гуся важного! «Осторожнее, старец: здесь крапива,— щебетали барыни.— Ах, устал наш старец...» (А старцу-то и сорока лет еще не исполнилось!) В голове Распутина, под буйными зарослями волос, вечно спутанных в жесткий колтун, была адская мешанина отбросов чужих мыслей. Все, что вынес он в юности из радикальной земской больницы, чего набрался в трактирах и конокрадских притонах, что впитал в себя на хлыстовских радениях,— все это вместе взятое образовало в башке его ужасный шурум-бурум... Одну лишь истину разумел он крепко и жадно:

— Чего это я стану ждать царствия небесного? На што мне облака да тучи? Я на земле желаю жить по-царски. Чтобы бабы плясали! Чтоб вино лилось! Чтобы самовары кипели! Чтобы сапоги у меня скрипели! Чтобы рубахи вышиты! Чтоб... всем вам треснуть!

Безжалостный к чужой жизни, харкая в самое святое людей, Распутин скоро совсем распоясался. Казалось, ему доставляло удовольствие надругаться над извечным целомудрием крестьянского мира, и напрасно бабы пытались увещевать его жену:

— Глаза-то твои бесстыжие видят ли, что деется? Ведь, чай, не чужая... жена ему! Нешто самой-то тебе не противно?

Парашку теперь было не узнать: развалив по подоконнику тяжелину грудей, барыней сидела в окошке избы, сама в шелку, ела пастилу голубую и розовую, в усладу себе щелкала орешками.

— А чо мне? — отвечала с игривостью.— Кажинный мужчиночка должон на хлеб супружнице заработать. А уж как сработал — меня не касаемо.

А вскоре прибыл новый священник — отец Николай Ильин, сосланный Синодом в Сибирь, ибо, будучи человеком честным, он активно выступал против попа Гапона и его влияния на рабочих. Искренно желая отвратить Гришку от разврата хлыстовского, Ильин стал по вечерам заманивать его к себе на чашку чая. Вел с Распутиным «душеспасительные» беседы, уговаривая вернуться на путь истины. Знакомство пошло Гришке на пользу — поднабрался от попа словечек церковных, ловко молол о мощах и разных чудесах. Ранее манкируя церковью, он вдруг сделался самым усердным прихожанином, подолгу — напоказ! — постился. Не вера, а страх двигал Распутина в официальные храмы: боялся он, как бы за хлыстовщину не упекли его в края, куда и ворон костей не заносит... Не ко времени опять нагрянула в Покровское на тройке миллионерша Башмакова (уже рехнувшаяся). Зонтиком переколотила все стекла в окошках избы Распутина, призывала истошно:

— Гришуня, не покинь! Выйди, голубочек ясный...

Распутин, зевая, вышел. Взял дуру старую за глотку, повалил наземь. Прижал коленом, чтоб не больно-то рыпалась, долго и молча совал кулаком в сдобную морду. Рыдая, мадам Башмакова отъехала... Когда же мужики засомневались, можно ли эдаким манером обращаться с миллионершей, Гришка оправил за поясок выдернутую из порток рубаху и отвечал рассеянно:

— Хто? Она? Миллионщица? Так все едино — *баба*...

Истомленный развратом и церковными бдениями, он заметно похудел, синяки под глазами расширились. Случилось нечто странное: с лопатой ушел Распутин за околицу, выкопал на опушке леса глубокую яму, будто колодец, прыгнул на дно ямы и заявил оттуда:

— Бес меня вконец истомил... Сами видите — отселе и кроту не выбраться. Теперича здеся поститься стану. А вы мне за это силетку пожирней да потолсче кидайте.

Высидел он в яме несколько дней, заедая свое одиночество жирной и толстой селедкой (когда с икрой, а когда попадалась и с молокою). Но однажды пришли односельчане на опушку, дабы навестить своего «подвижника», а там, в этой яме, Гришка уже не один — рядом с ним сидят на дне и три городские дамочки.

— А греха не избежать,— провозгласил из ямы Распутин.— Почти уже спасся, да энти дуры скакнули сверху, быдто лягухи поганые. Всю святость, какая была, поломали, стервы. Вынимайте меня!

. . . . . .

Не сразу до сибирской глухомани долетели отзвуки революции, а потом пошли разные кривотолки, будто скоро будет на Руси собрана народная Дума, чтобы думу о народе только и думать.

— Расплясались! — говорил Распутин.— А на кой хрен вся эта Дума нашему брату? Быдто в кошки-мышки с нами играются...

Ох, не спеши, Григорий Ефимович!

Именно предвыборная кампания по выдвижению «кандидатов из народа» и выпихнула Гришку на поверхность путаной русской жизни, хотя об этом казусе истории у нас мало кто знает.

14. ПАРЛАМЕНТ НА КРОВИ

Легче всего ругать царей за то, что они... цари! Но марксистская история не осуждает царей за их происхождение. Мы судим не монархов, а только их поступки...

. . . . . .

Николай II имел в быту репутацию un charmeur (то есть очарователя). Спокойными глазами глянем на него как бы со стороны... Милый и деликатный полковник, умеющий, когда это надо, скромно постоять в сторонке. Предложит вам сесть, справится о здоровье, раскроет портсигар и скажет: «Пра-ашу вас...» Он умел производить впечатление мягкого и доброго человека, а скучноватое лицо императора оживляли глубокие материнские глаза («глаза газели»). Военным людям царь импонировал умением держаться на парадах. В его щуплом теле таился геликон удивительной мощи, и трубой своего голоса он свободно покрывал громадные площади, заставленные сплошь войсками...

Внешне, таким образом, все обстояло благополучно.

Но именно царствование Николая II было самым жестоким и злодейским, недаром же он получил кличку Кровавый. Кровавое царствование — и самое бесцветное. Картину своего правления Николай II обильно забрызгал кровью, но безжизненная кисть царя не отразила на полотне ни одного блика его самодержавной личности. Здесь не было ни упрямого азарта Петра I, ни бравурной веселости Елизаветы, ни тонкого кокетничанья Екатерины II, ни либеральных потуг Александра I, ни жестокой прямолинейности Николая I, не было и кулацких замашек его отца. Даже те, кто воспевал монархию, днем с огнем искали монарха в России и не могли найти его, ибо Николай II, словно масло на солнцепеке, расплывался на фоне общих событий. Реакционеры желали видеть в нем грозного самодержца, а к ним выходил из-за ширмы «какой-то веселый, разбитной малый в малиновой рубашке и широких шароварах, подпоясанный шнурочком» (это форма стрелков Императорского батальона). О своих политических планах царь долго помалкивал. Правда, после коронации он дружески повидался с Вильгельмом II: «Константинополь меня сейчас мало тревожит,— сказал он кайзеру.— Мои взоры обращены исключительно на Дальний Восток». Летом 1903 года царь признался, что возвращает страну к завоевательной политике, которую столь прочно затормозил его миролюбивый отец. Николай II задумывал покорить Персию, захватить Маньчжурию, мечтал «разжечь тибетцев против англичан»; надеялся «с помощью жестов и мимики» аннексировать Корею... Восточный узелок был завязан прочно! Русские корабли обживали гавани Порт-Артура и Дальнего, через безлюдные степи легли рельсы КВЖД, Харбин стал почти русским городом, а германский кайзер толкал Николая II все дальше и дальше от Европы: «Твое будущее на Востоке, на тебе, Ники, лежит священная миссия — спасти христианский мир от желтой опасности...» Когда императорские яхты «Штандарт» и «Гогенцоллерн» расходились в море после свидания, Вильгельм II поднимал на своих мачтах провокационный сигнал: *АДМИРАЛ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА ПРИВЕТСТВУЕТ АДМИРАЛА ТИХОГО ОКЕАНА.* Сухорукий кайзер настолько увлекся восточной агитацией своего кузена, что сам намалевал громадную картину, изображавшую столкновение белой и желтой рас, и переслал картину в дар Николаю II с приказом повесить ее в своем кабинете. И всюду, куда бы теперь ни плыли русские крейсера, даже в пустынности океана они встречали серые, будто обсыпанные золой, японские броненосцы, молчаливо следящие за русскими через лучшую оптику мира — через линзы цейсовской фирмы. Конфликт обострялся... Японский посол настойчиво просил царя об аудиенции с глазу на глаз, однако Николай II каждый раз отвечал «я занят». Когда же они повидались, император брякнул в лицо послу: «Ze japon finira par me facher!» (Япония кончит тем, что меня рассердит!). В этой фразе он обнаружил мещанское понимание политики: так может сердиться сосед на соседа, но никак не государственный деятель. Зимний сезон 1904 года открылся в Петербурге шумными весельями. «Сарафановый» бал 19 января стал балом историческим... К императору подошла графиня Бенкендорф, жена русского посла в Лондоне, и спросила: будет ли война с Японией? «Я волнуюсь не как жена дипломата, а как мать флотского офицера, который служит на кораблях Порт-Артурской эскадры».— «Я войны не хочу,— отвечал царь,— и ее не будет». В самый разгар бала в залах Эрмитажа появился офицер Генштаба и вручил царю телеграмму наместника Дальнего Востока: японские миноносцы — без объявления войны! — атаковали нашу эскадру на рейде Порт-Артура... Танцы не прерывались. «Ведь это же не люди, а макаки!» — говорили дамы. «Иконами закидаем!» — угрожали японцам генералы.

. . . . . .

Настал страшный день на Руси — день 9 января... Это был великий день на Руси — день, с которого началась первая русская революция. «Тяжелый день,— записывал царь.— Произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Мама приехала к нам прямо к обедне. Завтракали со всеми. Гулял с Мишей...» Даже в такой день он все же не забыл, что прогулки полезны для здоровья. А когда во дворец проникли отзвуки возмущения народа, царица сказала:

— Мы же еще и виноваты остались! Теперь нас винят, что мы убили хулиганов, шумевших под нашими окнами, требуя себе хлеба, как будто они никогда хлеба не ели. Мы уже из своего кармана выложили пятьдесят тысяч — на похороны... Им все еще мало?

Сестра ее Элла (Елизавета Федоровна) проживала в Москве с мужем Сергеем Александровичем, дядей царя. На лице этого сатрапа лежала печать со-

домских пороков; он окружал себя красавцами адъютантами, а когда жена вознамерилась прочесть «Анну Каренину», то роман полетел в печку. «Это безнравственная книга»,— заявил он. 4 февраля бомба эсера Каляева в клочья разнесла великого князя. Мозгами «дяди Сережи» была щедро забрызгана мостовая, и москвичи говорили, что это, кажется, первый случай, когда великий князь «раскинул мозгами». После похорон гимназисты сдали в полицию ногу убитого, найденную ими на крыше. На месте убийства долго стоял городовой. Говорят, одна старушка спрашивала его: «Скажи, родимый, кого здесь убили?» — «Проходи, не задерживайся,— пасмурно отвечал городовой.— Кого надо, того и убили...» В эти дни Элла приехала к коронованной сестре.

— Каляеву я останусь благодарна всю жизнь,— призналась старшая сестра младшей.— Мне известно, что, рискуя собой, он трижды выбегал перед каретой, но бомбу не бросал, видя, что в карете ехала я с детьми... Такой благородный поступок обязывает меня просить у вас помилования для этого молодого человека.

— Боже, о чем ты просишь, Элла! — отвечала царица...

Каляева повесили. В эти же дни у наследника прорезался первый зуб. А далее следовала Цусима. За поражение наших эскадр потом судили стариков адмиралов Рожественского и Небогатова. Судили офицеров, которые закрыли люки раньше времени. Судили механиков, открывших люки позже времени. Это были опять легендарные «стрелочники», но главные виновники остались целы... Был у царя еще один любимый «дядя Алеша» — великий князь Алексей, главный пират дома Романовых по прозванию «Семь пудов августейшего мяса»,— именно ему-то мы и обязаны Цусимой! К пальцам этого хапуги прилипли миллионы рублей, взятые у народа на создание флота. Дело дошло до того, что броня кораблей расползалась, ибо, разворовав заклепки, броневые листы крепили деревянными втулками. Остается непреложным фактом, что один новейший миноносец едва не затонул на полпути между Кронштадтом и Петербургом, так как в дырки для заклепок кто-то всерхпремудро воткнул сальные свечки. При таком флотоводце, как «дядя Алеша», снаряды кораблей уже не взрывались, зато частенько взрывались сами пушки... По причине «беспробудного залития глаз» дядя Алеша не успел даже жениться. Но много лет содержал на флотских харчах французскую балерину Элизу Балетта — толстую, как мешок с картошкой, и я до сих пор удивляюсь, как она умудрялась «порхать» на сцене. Даже ничтожный декорум приличия генерал-адмирал не соблюдал, публично раздеваясь догола, чтобы все видели татуировку, покрывавшую его высочество с головы до пяток, словно дикаря из племени ням-ням. По таблицам Ломброзо — уголовник!

А чужое и зловещее слово «Цусима» больно стегнуло по русскому народу. Такие трагедии выпадают на долю великих наций не часто. Дежурный генерал Рыдзевский, которому выпала обязанность докладывать императору о Цусиме, весь истерзался, предчувствуя тяжесть объяснения с государем. Царя он встретил на выходе из храма (он возвращался от обедни в форме капитана 2-го ранга). Весело поздоровавшись, царь с улыбкой выслушал известие о поражении своего флота и, показывая за окно, ответил:

— А погода-то какая! Не хотите завтра поохотиться?

Через полчаса Рыдзевский встретил царя в парке: с увлечением, почти детским, он стрелял из ружья по воронам... Вечером этого дня «Семь пудов августейшего мяса», как всегда, развалился в ложе Михайловского театра, аплодируя своей «порхающей» любовнице. Публика устроила Элизе Балетта скандал.

— Вон из России! — кричали даже из бархатной ложи.— На тебе не бриллианты — это наши погибшие крейсера и броненосцы...

В это время юмористический журнал «Зритель» под рубрикой «Полезные советы» поучал российских читателей: «Когда зуб, хотя и крепко сидящий, прогнил до основания, его следует удалить. Если при выдергивании свалится и *корона*, то этого еще недостаточно. Необходимо рвать с корнем, как бы больно ни было!»

. . . . . .

Летом 1905 года революция брала разбег. По всей русской земле полыхали поместья, замирали станки, пустели фабрики, на путях безжизненно остывали раскаленные в беге паровозные туши...

Императрица настырно внушала мужу:

— Ники, сейчас ты должен быть как Иоанн Грозный... До сих пор народ видел от тебя только любовь и ласку — так покажи ему свой крепкий кулак.

Но пролетариат сам напугал царскую власть, и она, крайне растерянная, уговаривала растерянного царя:

— Существует три способа управления серым народом. Первый — дать ему, что он просит. Второй — ничего ему не давать. И, наконец, третий способ, самый мудрейший: дать и тут же отнять то, что дали... Ваше величество, решайтесь — время не ждет!

Речь уже не шла о том, как подавить революцию.

Речь шла о том, как спасти династию...

— Неужели ты, Ники, поступишься прерогативами власти? — спрашивала царица.— Здесь тебе не Англия, да и ты — на кого ты будешь похож, если от принципа самодержавия останется только титул? Ты силен, пока самодержавен. Одной короной на голове сыт не будешь. Нужна еще власть над страной...

Николай II покалывал по утрам дровишки. По аллеям парка возил в кресле-коляске жену, катался на байдарке. В его покоях два музыкальных моряка играли сонату Моцарта: лейтенант Остен-Сакен терзал виолончель, а мичман Волков нежно трогал клавиши рояля. Россия, осыпанная теплыми дождями, вздрагивая от ночных гроз, жила за стенами дворца какой-то особой и чужой для них жизнью. Забастовки прервали связь между городами. Нико-

лай II, проживая в Петергофе, подальше от волнений столицы, чувствовал себя в осаде. Дело дошло до того, что министры уже не могли добраться до царя с докладами — поезда не ходили! Сановники империи доплывали до Петергофа морем, и казалось, что именно в 1905 году исполнилась заветная мечта первого русского императора, дабы «Господа Высокий Сенат» плыли до места службы водою, яко легендарные аргонавты... Наконец решение было извергнуто — в муках и страданиях: словно подачку нищему, в народное восстание швырнули манифест о Государственной думе.

Первый русский парламент — чудеса в решете!

Мы, читатель, подошли к финалу первой части...

ФИНАЛ ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Революция не только всколыхнула в народе благородные силы, дремавшие до этого втуне, но и подняла на поверхность жизни немало мути, лежавшей на дне нашей трудной и глубокой истории. Тогда же и родился «Союз русского народа», иначе черная сотня. Впрочем, его создатели обижались, когда их называли черносотенцами, им больше нравилось слово «союзники».

Немало было тут и дешевой демагогии.

— Позвольте,— волновался камергер Майков (сын поэта),— в чем вы нас, союзников, обвиняете? Мы же не доисторические зубры, и тоже идем в ногу со временем... Пожалуйста! В нашей программе записано: борьба с бюрократией, уравнение прав всех сословий и государственное страхование жизни рабочих...

Не будем наивно думать, что черносотенцы — сплошь гужбанье с узенькими лбами, в поддевках и передниках, которые с железным ломом в руках дежурят в подворотнях, выжидая появления студента, чтобы с хряском проломить ему череп. Хотя такие союзники на Руси тоже водились, но они были лишь исполнителями чужой воли. Во главе же «Союза русского народа» стояли врачи, литераторы, генералы, адвокаты, педагоги, промышленники — люди вполне грамотные, при манишках и фраках, знающие, под каким соусом следует истреблять осетрину. Среди них обретался и протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов, духовный вития и журналист, издатель газет и автор брошюрок, в которых он силился доказать, что социализм зародился из христианства. Это был (как тогда говорилось) «активуй» черной сотни — человек дела, смело берущийся за любое поручение ЦК своей партии. Манифест царя, суливший России блага парламентарной системы, припекал союзников, словно горчичник. «Ради пропаганды,— рассуждали они,— не станем бояться залезать в самые медвежьи углы. Наши агенты должны проникнуть в любую тьмутаракань, если надо, и до Харбина... Мы посеем на Руси свои семена, а наши великолепные всходы произрастут из кресел Государственной думы головами передовых мыслящих личностей...» Словесная лирика тут же была переведена на московские рельсы практической жизни:

— Господа, кто и куда поедет для пропаганды?

Охотников покидать уютные квартиры, чтобы потом таскаться по грязи провинций, не находилось. Тогда решили бросить жребий. Иоанну Восторгову выпала Тобольская губерния.

. . . . . .

Тобольская губерния вытянулась с юга на север. Южные края погибали в суховеях Барабинской степи, гранича с Акмолинской областью, а на севере уже пылили метели Ямала, там жил одинокий самоед, там бродили одичалые русские трапперы. Конечно, Восторгову было не осилить гигантских просторов этого края, глухого и жуткого, в котором лишь изредка сверкали искорки городов — Тюмени, Ишима, Кургана, Туринска и прочих. Едешь и едешь — день за днем течет безлюдное марево тайги, а уж коли встретилось село, так оно забито плотно, мужик к бабе, старик к внуку, ибо в этих просторах человек жался поближе к человеку, как горошины в одном стручке... Восторгов объезжал молодые села, возникшие сравнительно недавно (от бедноты, что переселилась сюда при Александре III); поездка складывалась удачно, и текли в карман денежки — подъемные, суточные, дорожные, квартирные, столовые. В сопровождении исправника Казимирова протоиерей напоследок остановился в Покровском; на следующий день покровский староста Белов обходил село, стучал в слеповатые окошки:

— Эй, хозяева! Есть кто дома? Давай на сходку.

— А чего там будет? — спрашивали.

— Да про Думу эту самую загибать станут...

Белов заглянул и в избу Гришки Распутина:

— А ты пойдешь? Или лучше не будить тебя?

Из-под потолка раздался сочный хруст челюсти — это сладостно прозевался на печи Распутин; потом затрещали кости — он потянулся.

— Пойду! — сказал Гришка, легко спрыгивая с печи.— Нешто ж я не человек? Все людское для меня забавно...

Собрались мужики в доме церковноприходской школы. При виде исправника на всякий случай поскидали шапчонки. Приосанились старики, всегда готовые слушать, что в мире творится и чего им следует от начальства бояться. Восторгов сразу стал врать: будто послан в Покровское лично государем, дабы «привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию» в делах будущей Думы. В прошлом видный миссионер, Восторгов умел брать людей за живое и сейчас говорил хорошо, крепко строя фразы, украшенные церковным пафосом. Бабы мало что понимали и, пригорюнясь, дергали узелки платочков на шеях, подпирали кулаками щеки. Зато по живым глазам мужиков было видно, что все они себе на уме — хитрые, размышляют сейчас, как бы их в этом деле не обжулили...

— Да хватит тебе! Дума царская — ну, и бог с ней со всею. Знаем, что там про буджет да фунансы размусоливать станут. А ты нам, батька, лучше о земле скажи: уличшеньице-то когда-сь будет? Или плюнуть и не ждать? Улучшеньица-то?

Восторгов завертел головой, отыскивая дерзкого. Среди крестьян стоял унылый и понурый мужик лет сорока, а руки он имел столь непомерной длины, что, даже не сгибаясь, ладонями свободно касался коленей. Исправник Казимиров шепнул протоиерею:

— Не обращайте внимания! Это Распутин, самый непутевый мужик: не жнет, не пашет. Зачем ему земля? Только ради скандала. Я уже порол его однажды, но он, увы, неисправим-с!

А толпа мужиков заволновалась: вопрос о землице расшевелил их, и Восторгов подхватил с горячностью:

— Хорошо! О земле так о земле... Сами знаете, что Господь бог Россию землей не обидел, и наш великий государь готов хоть завтра наделить вас ею. Но вот как посмотрит на это Дума, которая вскоре должна собраться? Известно, что нашлись нечестивцы, желающие пропереть в депутаты всяких там жидов и социалистов, злейших врагов крещеного люда. Они станут в Думе разводить всякие резолюции, чтобы помешать вам получить от царя землицу. Вот вы, мужики, и старайтесь послать от общества таких депутатов, кои воистину православные...

Восторгов напористо заговорил далее: крестьянство не получит земли до тех пор, пока их выборные в Думу не пройдут по партийным спискам «Союза русского народа», а всем прочим вообще не попасть в царствие небесное... Сколько раз произносил Восторгов эту скользкую фразу на сходках, и все сходило благополучно, но здесь, в селе Покровском, нашла коса на камень.

— Погодь тараторить... погодь,— заговорил Распутин, продираясь через толпу ближе к оратору.— По-вашему, царство небесное одни твои партейные получат? А мы-то, дурни, иначе Евангелие толковали... Жизнь небесную мы и сами как-нибудь отмолим для себя. А ты вот, городской, лучше нам скажи — будет ли когда здесь, на земле, царство мужицкое?

Старики в первых рядах затрясли бородами:

— Ой, Гришка, хоша и сволота, а правду режет!

Восторгов осекся. Перед ним, бывалым оратором, стоял наглый оппонент, с ехидцей подначивал агитатора:

— Что, поп? На мой спрос — ни бэ, ни мэ, ни кукареку?

Митинг оказался скомкан, что немало сконфузило местные власти. Казимиров услужливо предложил взять Гришку за цугундер и подержать с недельку в «холодной», чтобы одумался.

— Не надо! — отвечал Восторгов, стойко вынося свое поражение.— Я, батюшка вы мой, на Кавказе лезгин в православие обращал. Вот там было страшно — они на меня с кинжалами бросались... А такие люди, как ваш Распутин, тоже *нужны царю!*

. . . . . .

Закончив пропагандистское турне, Восторгов возвратился в Москву, где отбоярился перед союзниками в командировочных деньгах, истраченных в дороге; потом в ЦК монархических организаций состоялся его отчетный доклад о результатах поездки...

— Что мы все с вами, господа? — завершая речь, вопросил Восторгов.— Как бы ни переодевались мы в мужицкие зипуны, все равно из-под сермяги будет выглядывать наша ряса или фрачная пара. Иное дело, когда сам мужик говорит с мужиком. Такая пропаганда всегда успешнее... И я предлагаю (прошу занести в протокол!) вытащить из глубин захолустья крестьян, обладающих даром речи, умеющих не бояться критики толпы. Пусть они прослушают особый курс лекций и станут агитаторами могучего национального движения. От земли, от сохи, от гущи народной — пусть они и вернутся в народ, чтобы сеять полезное, вечное, доброе...

Бурные аплодисменты! Восторгов, насладясь ими, растряхнул в руке цветастый платок, изобразил улыбку.

— Кстати, позвольте поведать собранию, что один такой златоуст на примете уже имеется. Это Григорий Распутин из села Покровского.— Рассказав о встрече с ним, протоиерей честно сознался, что в открытом бою потерпел от него поражение.— Вот и предлагаю начать с этого тюменского Цицерона... с богом!

И вот он —
из кельи
выходит Распутин
и валит империю
на постель.

Николай Асеев

Часть вторая
ВОЗЖИГАТЕЛЬ ЦАРСКИХ ЛАМПАД (1905—1907)

ПРЕЛЮДИЯ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ

Хотя время и было жертвенное, но жертвовать на Гришку Распутина черная сотня не хотела. Дело о субсидировании этой глупой затеи с его приездом в первопрестольную пошло в высшие инстанции империи. Министр финансов Коковцев, умный и тонкий говорун, трижды отбрасывал перо, произнося с возмущением:

— Бред! Война с японцами истощила кладовые имперского банка, золотой запас на исходе. У меня уже трещит голова от мыслей о новом займе в Европе, а вы... Господа, что за ахинея!

Ему стали втолковывать о приезде Распутина.

— Можно подумать, к нам собрался Ротшильд и вы обеспокоены, какими гладиолусами украсить его спальню. А едет всего-навсего мужик, которому на билетишко не наскрести! Подписывать галиматьи не буду. Если я стану оплачивать путешествия всех чалдонов, то, посудите сами, долго ли я усижу на своем министерстве?

— Владимир Николаич,— убеждали его чиновники, уже зараженные «союзными» взглядами,— поймите, что от таких Распутиных крепнет власть нации. Пройдет еще год-другой, и...

Возникла рискованная пауза.

— И что тогда будет? — спросил министр.

— Вы просто не узнаете России! — заверили его.

— Вот это-то и плохо,— огорчился Коковцев,— что через два года я, русский человек, перестану узнавать Россию...

Но перед Коковцевым тут же была нарисована идиллическая картина. В чайной, где ни одного пьяного, сидит под иконою благостный старец Распутин в чистейших онучах, самым скромным образом дует с блюдца липовый чай и, прикусывая постный сахарок, произносит умиленные речи, свободно оперируя такими выражениями, как «конгломерат общества» или «деформация русской личности». Владимир Николаевич был человеком умным. В меру реакционер. В меру либерал. Выпестованный в канцеляриях Витте, он старался не подражать своему учителю, любившему в тиши кабинетов общаться с любою мразью. Сейчас война с Японией близилась к завершению, говорили, что заключать мир поедет министр юстиции Муравьев, но Витте уже дал Муравьеву взятку в полмиллиона, и стало ясно, что на конференцию в Портсмуте поедет Витте.

— Почему Витте? Ну, как же не понять, господа. Сергею Юльевичу хочется стать графом, хочется быть премьером. Если он облапошит японцев, значит, дорога в бессмертие ему открыта!

. . . . . .

Революция диктовала свою волю властям. Когда все гайки в механизме царизма ослабли, в это время — исправно и точно! — продолжал работать налаженный аппарат министерства внутренних дел, который было принято называть сокращенно (эм-вэ-дэ)... Министр сидит в желтом доме у Чернышева моста, а департаменты МВД, будто головы Змия-Горыныча, пышут огнем по всей столице. Самый ответственный департамент — департамент полиции, главный нерв потрясенной революцией империи...

Что мы о нем знаем? Да ничего мы о нем не знаем!

Кто хочет побывать там, пошли со мною.

Вот и адрес: набережная Фонтанки, дом 16.

Главный подъезд с реки. Перед нами — роскошная лестница, убранная тропическими растениями, из зелени поют жандармские канарейки. Мебель в стиле ампир (белое с золотом). Висят мраморные доски с именами «невинно убиенных» жандармов. Большая картинная галерея. Портреты императоров. Столовая в стиле XVII века, отделанная под тяжеловесные боярские хоромы. Опять пальмы, а под ними рояль, ноты раскрыты на прелюдии Массне (видать, недавно кто-то играл). Как видишь, читатель, ничего страшного пока не произошло. Ощущение такое, будто попали на частную квартиру. Но отсюда две потаенные двери выводят в мрачное чистилище великой Российской империи... Первый этаж — ничего интересного: бухгалтерия и казначейство. Сразу поднимемся на второй. Вот тут то все и начинается! В огромном зале размещена «книга живота» (картотека на верноподданных). Достаточно тебе разок потерять паспорт — и ты уже стал человеком, не внушающим доверия. «Книга живота» учтет тебя, если ты хоть единожды выступил публично, если любишь в ресторанах произносить пьяные тосты, если ты подписал какое-либо воззвание (пусть даже к дворникам, чтобы следили за кошками), если напечатал плюгавую статейку (пусть даже о ловле пескарей на хлебные крошки). Всего пять минут требуется, чтобы на основе агентурных данных выдали о тебе справку на бланке серого цвета. И здесь всегда будут помнить даже то, что ты сам давно позабыл!.. Третий этаж — самый зловредный, ибо здесь расположен *сыск,* а заходить сюда могут лишь избранные. Именно тут собраны материалы личного состава департамента, в пухлых досье покоятся жизнеописания агентов и провокаторов. Прекрасная библиотека легальных и нелегальных изданий (русских и заграничных). На третьем этаже сидят похожие на приват-доцентов господа и почитывают книжечки. Это не жандармы — это скорее ученые с аналитическим складом ума. Они изучают мемуары революционеров, газеты Парижа и Мадрида, Брюсселя и Берлина, Токио и Нью-Йорка; красным карандашом, сочно и жестко, подчеркивают все, что может пригодиться: имена, псевдонимы, даты, клички. Третий этаж — самый хитрый и изощренный (недаром здесь служит немало профессуры). Каждая мелочь анализируется, все пустяки сопоставляются. Из столкновения фактов, порой и незначительных, рождается проблеск первого подозрения и заводится новое дело. (*Шьется дело!* — говорят жандармы, скрепляя досье ниткой с иголкой.) Бесшумный лифт возносит нас на четвертый этаж. Вот где самый смак политического сыска — расшифровка и перлюстрация. Даже дипломатическая почта иностранных посольств не минует этих комнат. Печати сорвут и подделают так, что никто не догадается. Здесь лучшая фототехника мира. Нужное скопируют, раскладывая по полочкам и ящичкам. Тут же библиотека конфискованных книг и колоссальная коллекция... порнографии. Нет слов, чтобы описать это уникальное собрание. Здесь все — от шедевров мировой живописи до дешевых открыток для гамбургских матросов. Зачем это нужно жандармам,— кажется, они и сами толком не знали. Но так заведено еще со времен Бенкендорфа, и коллекция неустанно пополнялась. Однако на этом департамент не заканчивается — у него масса потаенных филиалов, начиная с нищенских притонов в подвалах окраин столицы и кончая богатыми квартирами с вышколенной прислугой, двумя ванными и уборными...

Директору департамента полиции подсунули бумагу.

— Что это? — спросил он, не дотрагиваясь до нее.

Ему объяснили, что Коковцев, что союзники, что Распутин... Директор, даже не дослушав, уже подписал эту бумагу.

— Выдайте из рептильного фонда,— сказал он.

Рептилия — это ползучий гад. А рептильный фонд — тайная касса. Здесь миллионы свистят между пальцев. Министры внутренних дел самые богатые, ибо им не надо отчитываться в расходах рептильного фонда. Куда и на что истратил — его дело!

. . . . . .

Протоиерей... К чину иерея Восторгов получил этот довесок «прото», как личное отличие за заслуги перед православием. Пришлось немало поелозить на брюхе перед синодскими владыками. Иной раз, чего греха таить, и тошно становится, как вспомнишь. Однако протоиереев на Руси — хоть мостовые ими мости, а отцу Иоанну хотелось выдвинуться. Чтобы о нем говорили на улицах: «Вон идет отец Иоанн — красавец наш писаный!» И чтобы прохожие шеи себе свернули, Восторгова в толпе отыскивая: «Где? Покажите батюшку Иоанна — хочу глянуть на наше красно солнышко...» Уже давно угнетало протоиерея мрачное, как меланхолия, уязвленное честолюбие. А залетел он в мыслях высочайше — видел себя духовником императорской четы и сейчас имел на Распутина особые виды. Сначала, конечно, пусть на него посмотрят союзники — члены ЦК, потом показать чалдона салонным дурам: может, какая из них и вцепится? Если бог поможет, тогда надо выдвигать Гришку и дальше. Мужик, видать, крепкий! С башкой! За хлястик его держись — он тебя так и попрет в гору...

Каждодневно Восторгов звонил в ЦК черной сотни:

— Было ли что относительно субсидии?

Наконец деньги на приезд Распутина были переведены. Восторгов, радуясь, тут же отбил телеграмму в Петербург на имя архимандрита Феофана: *ВЕЗУ ИЗ СИБИРИ ЗЛАТОУСТА КРЕСТЬЯНСКОГО ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА ЗПТ ПРОШУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ ТЧК*. Благословение без задержки было получено... Цепная реакция сработала!

Итак, духовенство, черная сотня, секретная полиция. Именно они расшевелили и вызвали к жизни того Распутина, которого позже европейская печать оценит как Der russische Über-mensch (то есть «российский сверхчеловек»!).

Эдакий природный супермен, лыка не вязавший, но хорошо знающий, что теплее всего валяться в грязи. Вот он выходит из дымной баньки и, приставив ладонь к бровям, пристально вглядывается в сиреневые дали Сибири, за лесами которой шумят великие столичные города и где его уже начинают *ждать*...

1. ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ

Правда, все случилось не так, как было задумано свыше. События развивались в прискорбном порядке, будто еще раз подтверждая, что исполнительная власть на Руси ни к черту не годится. До Тюменского уезда не сразу дошло грозное предписание: *НЕМЕДЛЕННО ВЫСЛАТЬ В МОСКВУ ГРИГОРИЯ РАСПУТИНА*. Бумага имела казенный вид, а бланк «Союза Русского Народа» (с гербами и короной) настораживал начальство... Исправник Казимиров испытал при виде ее даже некоторое внутреннее напряжение:

— А карась-то оказался большой. Как он тут ни крутился, а на сковородку все же попал... Писано тута ясно: *выслать!*

Покровский староста Белов получил от него приказ, чтобы немедля арестовать Распутина и направить его в уездную становую квартиру под охраной верных людей. Белов оперативно созвал на села мужиков подюжее, растолковал боевую задачу:

— Гришку брать учнем сразу. Ты, Пантелей, хватай его за ноги и держи. А ты, Тимоха, дави Гришку за глотку, чтобы дыхание ему перешиблось. Лично я, как староста, вязать его стану...

В избе Распутиных тускло помигивало единое окошко.

— Яфимыч, откройся... это я... дело есть!

Распутин сунулся в дверь, и тут же Белов сыпанул ему в глаза горсть едучей махорки. Далее операция проходила строго по намеченному плану. Опутанного веревками Гришку швырнули в телегу, сверху на него легли Пантелей с Тимохой.

— Гони скорей, а то он, бес такой, рыпается...

На площади села долго не расходился народец.

— Теперича повесят,— толковали суровые старики.

— Да за што ж это Григория вешать станут?

— Всех вешают за шеи. Вот и его едак удавят...

Больше всех был напуган священник Николай Ильин: он этого Гришуню к себе зазывал, чайком баловал, сообща Евангелие обсуждали и даже пришли к выводу, что слово Христово не всегда верно. Будучи ссыльным, отец Николай и не чаял, как ему из этой паршивой берлоги выбраться в родимое Подмосковье, где на горушке под тихим Клином осталась чистенькая церквушка, а тут и Гришку сцапали... Желая опередить предстоящие изветы, Ильин одним махом накатал на Распутина великолепный донос, обвинив его в закоренелом хлыстовстве, в свальном грехе с бабами, а вскользь дал понять, что у Гришки водится «вольный образ мыслей». Донос тот пошел догонять ту самую телегу, что увозила сейчас Распутина в зловещую неизвестность... Через день вернулись из уезда Пантелей с Тимохой, сказали мужикам:

— Дела худы. Как бы за Гришку всех нас не затрепали.

— Да не томи! Куды Гришку-то подевали?

— Приняли его от нас жандармы. Для порядку по зубам дали, чтобы очухался, всего обшарили — и на чугунку!

— А кудыть поезд-то побежал? В Рассею аль вспять?

— Мы неграмотные, и нам это невдомек. Но вроде бы супротив солнца повезли Гришку на поезде...

Расходились, боязливые. Долго стояли в калитках.

— Ай и дела! Молчать надоть. Распутин чужак. Мы не знаем, какого он роду-племени. К нам как с неба свалился...

Но всех огорошил староста Белов, дознавшийся из бумаг, что Григорий Распутин — сын бывшего старосты Ефима Вилкина. Дедушка Силантий смотрел на всех желтым, как янтарь, бельмом.

— Яфима Вилкина я помню, он потом Новых прозывался. Я ему саморучно два ребра изломал, ажно хруст по избе пошел, не приведи хосподи... Как же! Яфима я помню. И сыночка его малого не забыл.

. . . . . .

Гришка был мужик тертый, и хотя страх тонкой змейкой обвивал ему сердце, внешне он сохранял приличное спокойствие. Вот уже двое суток минуло, как везли его... За окнами вагона стреляла елочками тайга, бежали, стелясь под ветром, примолкшие пожни, чернели гари прошлых пожаров. Война с Японией еще аукалась на полустанках Сибири, проносило эшелоны с пушечным мясом.

«Что-то будет?» — заглядывал Гришка в неясное будущее, а паровоз кричал впереди нехорошо, будто угрожая ему. Воображение уже рисовало тюремные решетки. Вся беда в том, что жандарм принимал Распутина за «ниспровергателя существующих устоев», и, ведя его в уборную, он разводил тоскливую лирику:

— Сицилистов тех самых, которы против бунтуют, завсегда сопровождать приходится. Но все больше в Сибирь! А ты, видать, немало нашкодничал, ежели тебя из Сибири вывозим...

Первую тысячу верст, которую пробежал паровоз от Тюмени до Ижевска, Гришка затаивал тревогу, потом все-таки не выдержал:

— Имею надобность...

— Опять? — взъярился жандарм.— Не поведу, хоть лопни!

— Я не про то. Узнать бы — куды едем-то?

— Того тебе, безбожнику, знавать не надобно...

«Ой, плохо,— заробел Григорий.— Как бы не замучали втихую, никто и не сведает...» Вспомнил грехи свои — за какой из них отвечать? Пестрая, крикливая Казань, машущая татарскими халатами, проплыла вдали и сгинула,— стал он понимать, куда везут. На станции Костыхино, что встретилась перед Муромом, жандарм, почуяв конец пути, сгоношил себе водки, но Гришке даже пробки нюхнуть не дал. Вылакал всю водочку сам, закусывая каждый стакан нещадным курением махорки.

— Сицилист! По глазам вижу, что жулик.

— Как вам угодно,— ежился Распутин, покорствуя...

А за окном уже вспыхивали красные крыши подмосковных дачек, изменилась в вагоне и публика, в тамбурах стояли бабы с лукошками, едущие на базар,— близилась Москва. «Ну, видать, здеся и прикончат»,— тоскливо мыслил Распутин. Паровоз вкатил вагоны сибирского поезда под закопченные своды вокзала. Пробежали гимназисты с букетами магнолий, величаво проплыли монументы двух генералов, озирающих череду сибирских вагонов, и вдруг...

Распутин, подпрыгнув, плотно прилип к окну.

— Он! Никак это он самый?..

Его встречал сам Иоанн Восторгов; из-под рыжего пальто протоиерея змеино стелилась по доскам перрона шелковая ряса. Но вырвать Гришку из лап жандарма оказалось не так-то просто.

— Разойдись! — гаркнул на попа унтер.— Это не по духовной части, а по той самой... сицилист! По глазам вижу...

Распутин в их спор не мешался: коли нужен, так и без него разберутся. Жандарм получил расписку на бланке черной сотни, и Гришка попал в ведение протоиерея. Восторгов дружески подтолкнул его к пролетке, в кою был впряжен золотистый рысак.

— На Большую Дмитровку... гони, душа из тебя вон! — Потом, явно довольный, пихнул Распутина в бок.— Эки дурни,— сказал проникновенно.— Мы хотели явить тебя на Москву аки гостя почетного, а они... волки тюменские! Хорошо хоть в кандалы не заковали. Ничего. Сейчас обживешься. Приоденем тебя. И заживем мы, Гришуня, так, что нам еще люди завидовать станут...

Распутин слушал в смятении: на что везли из такой дали, за что будут одевать и кормить? На всякий случай, делая постное лицо, он часто крестил себя на многочисленные купола храмов.

— Ай, благодати-то сколько,— шептал умиленно.

А сам думал, что с этим шустрым попом ухо надо держать востро. «Ежели хоть сотню рублев с него выжулю,— размышлял дерзостно,— оно и ладно...» Тпррру! — приехали. Дом со швейцаром. Прошли в квартиру. Но дальше передней Гришка заупрямился.

— Эко чисто у вас. Боюся, полы загавержу.

— Шут с ними, Гришуня, ступай в комнаты.

— Куды-ы уж нам! Мы с уголка постоим. Коли корочку в сольцу обмакнете да мне пожевать дадите — вот и спасибочко...

Восторгов силком пропихнул Гришку в двери гостиной. Сажал за стол, где в ананасном кувшине фиолетово светилась настойка на черной смородине, пузатой горушкой пыжилась в хрустале рубиновая икра, а в янтарной желтизне, радуя глаз, сочно обтаивали перламутровые ломти свежей астраханской осетрины.

— Ну вот, Гришуня! — хлопотал отец Иоанн.— Садись, дорогой. Сам видишь, что живу я скромно. Что бог дал, то и на столе...

Распутин сообразил, что его принимают за кого-то такого, каким он никогда не был. А потому и себя решил показывать не тем, кем был. Примостился с угла, обжадавело зыркая на яства.

— Не-не-не-не! — заговорил торопливо, отодвигая рюмку.— Упаси нас бог согрешить. Я ведь и не курю. Божие дыхание к чему копотью пакостить? Вот разве что селедочки постненькой... с молокой она у вас? Угощусь с вашего соизволения. Можно?

— Да бери что видишь,— надоело Восторгову миндальничать.— Что-то ты, брат, в Покровском иначе себя показывал...

После завтрака отец Иоанн, держа в пальцах длинную папиросу «Эклер», сказал весьма значительно:

— Поживи-ка ты у меня. Потолкуем. О том о сем. Кое-кого и навестим. Можешь погулять. Вот тебе двадцать рубликов. Аванс! Трать, Не бойся. Истратишь — еще дам. *Ты мне нужен...*

. . . . . .

Восторгов сначала представил Распутина в ЦК своей партии — уже в долгополой сибирке из сукна, в скрипучих сапогах, а подол новой его рубахи был рас-

шит петушками и коромыслами. В окружении господ, которые глядели строго, закрикивая вопросами на разные темы, далекие от мужицкого понимания, Распутин прибег к маскировке. Демонстративно, с показной неприязнью отмахивал от себя дым папирос, отвечал с кряканьем, словно дрова колол:

— Все от бога... и говорить неча! Спаси нас и помилуй... это уж так! Оно конешно... без бога-то и чирей не вскочит!

Когда смотрины будущего агитатора закончились. Распутина без церемоний выставили за дверь. Присяжный поверенный Булацель строгим тоном юриста назидательно выговорил Восторгову:

— Не понимаю, Иоанн Иоанныч, на кой черт вам нужно было тащить его из Сибири, если подобных жуков можно набрать сколько угодно в той же Москве?

— Но он же оригинален,— защищался Восторгов.— А вы, господа, уж простите, оторвались от народа. Вам не понять всей непосредственности Распутина.

— Послушайте! — возмутился Булацель, вскакивая.— Распутин самый обычный подонок, каких немало в той среде народного вакуума, что всегда возникает между пролетариатом и крестьянством. Я наблюдал за ним! Отвратный, гадкий и мерзкий тип... И этого прохиндея вы хотите сделать агитатором для наших народных чайных?..

Черная сотня единодушно отвергла Распутина. Но зато в Гришку хватко вцепился, будто клещ в паршивую собаку, протоиерей Восторгов.

— Вот что, Григорий! Скрывать не стану — не показался ты нашим. А виноват сам... Что ты заладил словно дьячок над покойником: никто как бог, на все воля божия... Обложил бы их всех по матери — вот и постигли бы они твою черноземную силушку...

Гришка понял, что с богом он перегнул палку. Бог, конечно, сила решающая, но ведь и черта забывать не следует. Слушая ругань протоиерея, оглядывал свои новехонькие сапоги; его волновал вопрос: «Неужто сдерет их с меня? Или забудет?»

— Ладно! — помягчел голос Восторгова.— Не в лоб, так по лбу, а мы своего добьемся... Вникай! Есть в Питере одна барыня. Из очень знатной фамилии. И к царю, и в Синод вхожая. Она тебя знает. С моих же слов. Я ей писал. Но сначала я тебя по Москве покатаю. Если и здесь не покажешься, тогда... Сам не маленький, должен понять, что возиться с тобою напрасно не стану!

2. САЛОННАЯ ЖИЗНЬ

Восторгов немало поломал голову — под каким соусом подавать Распутина в свете? Быть юродствующим во Христе, славильщиком бога — нельзя, ибо таких придурней уже полным-полна коробушка. Быть прилизанным и робким «сыном народа», взыскующим у господ истины,— тоже нежелательно, ибо в этом случае не Распутина будут слушать, а он сам обязан внимать с разинутым ртом. Восторгов же, ради предбудущих выгод своей карьеры, ставил на Гришку многое и текущих расходов не жалел. Из кошелька выдернул две «катеринки», велел их в Покровское отправить. Пичкал Распутина лекциями, совал ему для прочтения свои брошюрки. Тот мусолил страницы, читал по складам, докладывая:

— От энтелева до сентелева... всю чекалдыкнул.

— А что-нибудь ты понял?

— Не!

Наконец главное решение было принято.

— Вот что, Гришуня,— объявил Восторгов однажды.— Тебе надо быть таким козырем, какой есть, и больше не мудрить. Сила твоя в хамстве твоем. Не притворяйся. А самобытность всегда блюди!

У подъезда дома их уже поджидал рысак под попоной.

— Едем к княгине Кантакузиной, графине Сперанской.

Распутин уселся в пролетку, скромно подобрал ноги.

— А к какой сначала? К графине или к княгине?

— Серость! Одна тетка, но фамилия у нее двойная...

Распутин уразумел: сила его в городе — сила первого на деревне. Пускай господа во фраках не сморкаются в скатерть, а ему можно. Правда, поначалу никак не удавалось обрести верную тональность речи в общении с господами. Гришка чаще отмалчивался, чутко слушая других, а если ронял слова, то они были увесисты, осторожны. Восторгов, отличный дрессировщик, тщательно оберегал его природную неотесанность, критиковал после визитов:

— Ох, не понравился ты мне сей день! Колода гнилая в лесу и та живее тебя...

Кажется, не сговариваясь, они уже составили единый альянс, и оба мерзавца работали друг на друга, как шестеренки в одной машине. Скоро в московских салонах заговорили о Распутине, а стареющая львица Нарышкина первой и оценила его.

— Этот ле-мюжик весьма забавен. Говорите, что он от святости? Вряд ли, голубушка. В двадцатом веке какие же праведники? Но зато какая сочная грязь у него под ногтями... Каюсь, что от глаз его не оторваться мне.

Тем временем Восторгов подарил Гришке тетрадку, карандашик и перочинный ножичек в нарядном футляре. Зная, что малограмотные люди лучше постигают смысл, если записывают сказанное, протоиерей внушал ему: «Пиши, Гришуня, пусть и коряво, но ты пиши...» При этом он усиленно прививал ему свои кромешные взгляды. А перочинный ножичек до того полюбился Распутину, что он с ним более не расставался, нося его в кармане штанов, и скоро этому ножичку предстоит сыграть свою роль...

Московская тренировка закончилась!

— Поехали дальше,— объявил Восторгов.

. . . . . .

На вокзале он взгромоздил на Распутина, как на ишака, два громадных фибровых чемодана со своим барахлом; вспотевший Гришка усердно тащил их через толпу, боясь потерять попа, ловко шнырявшего средь публики. Громыхая кладью, Распутин вперся в

вагон и даже ошалел: всюду зеркала, диваны под плюшем, а в отдельной кабине — раковина с унитазом, все фаянсовое, сверкает стеклом и никелем.

— Привыкай к первому классу,— подмигнул Восторгов.— Закинь чемоданчики на верхнюю полочку... так! Теперь пальтишко мое повесь... так! Не хочу я рук пачкать — сними галошики с меня... молодец. Поставь их в уголочек... так. Садись. Поехали!

Брякнул третий звонок, и состав потянуло в столицу империи, тяжело и медленно, словно тонущий корабль в мрачную бездну. А в соседнем купе, как выяснилось, разместился со служкою саратовский епископ Гермоген — птица столь важная, что Распутин даже оторопел от такого соседства. Выглянув из купе, он видел, как служка епископа, молодая и румяная монашка с длинными волосами цвета бронзы, застилает для Гермогена постель.

— Никак девка при нем в рясе? — спросил Распутин.

Восторгов, хихикнув, отвечал тишком:

— Да не девка, а парень такой... Гермоген-то у нас, бедненький, содомским грехом страдает. Имел от этого уже кучу разных неприятностей. Но уж больно сильны покровители у владыки саратовского. Гермоген, как и я, тоже союзник. Я ему о тебе сказывал. Сейчас заявится. Он мужик простой. Не стесняйся...

Брюшком вперед, осеняя купе бликами алмазного распятия, вошел Гермоген — плотный, сытый, игривый, пахло от него дамскими духами. Ни с того ни с сего, даже не сказав «Здрасьте!», он, мальчишничая, треснул Распутина щелчком по носу:

— Ну и нос! На троих рос, а тебе достался...

Гришка на всякий случай примолк, боясь, как бы не обидели. Жался на плюше, словно бедный родственник на богатых именинах. Завидушными глазами смотрел он, как духовные побратимы-черносотенцы тащат на столик снедь разную. Гермоген до локтей закатал рукава рясы, обнажились сильные белые руки. Он крутил штопором, выдергивая из бутылок пробку за пробкой, только — шпок да шпок! Между прочим, епископ вел дружелюбный разговор:

— Ты — Григорий Ефимыч, а я в мирской жизни звался Григорием Ефремычем... тезки! Ну, как? Не боишься, что отец Иоанн, разбойник, завезет за темные леса, где и слопает за милую душу?

Распутин, решив не пить, отвечал обстоятельно:

— Да уж не каторжники вы какие. Даст бог, и не пырнете ножиком по дороге... Чего трястись-то мне?

А выпить ему ужасно хотелось. Но крепился.

— Не искушайте мя,— говорил обдуманно.— Нонеча я должон гореть чисто и свято, быдто свеча воску ярого...

— Так я и поверил тебе! — Гермоген тыкал в губы ему стакан с пахучей жидкостью.— Эва, понюхай, варнак, каково пахнет.

Распутин до конца стойко выдержал искус:

— Нет! Не согрешу. О боге поразмыслить желаю...

Зазвенели стаканы, разом сдвинутые. «Эк хорошо!» — сказали оба и потянулись к пикулям в баночке. Это им хорошо, а Гришке даже челюсти свело судорогой — так хмельного он жадничал. Отворотясь, неистово крестил себя на окно вагона. А там, в бархатном квадрате ночи, неслась жуткая дремотная Русь, словно заколдованная на веки вечные. Пролетали ветхозаветные буреломы, стыли на косогорах древние храмы, редко-редко, словно волчий глаз, проницало мрак Руси желтым огнем забытой и нищей деревни...

. . . . . .

Была война, была Россия
и был салон графини И.,
где новоявленный мессия
тянул холодное аи.
Его пластические позы —
вне этикета, вне оков;
смешался запах туберозы
с ядреным запахом портков!

«Графиня И.», о которой здесь сказано, это генеральша Софья Сергеевна Игнатьева, урожденная княжна Мещерская; пожалуй, даже муж ее не ощущал себя так свободно в Государственном совете, как она — в Синоде, где митрополиты стелили перед ней ковры, ставили за ее здравие пудовые, сутками не угасавшие свечи. Сейчас уже неважно, сколько тысяч десятин графиня имела. Вкратце напомню, что лишь в Петербурге она владела восемью домами. А проживала на Французской набережной — в ряду посольских особняков, где Нева щедро обливала окна прохладною синевой, где из Летнего сада доносило благотворный шум отцветающей зелени...

Гости собирались. Приехал статс-секретарь империи Александр Сергеевич Танеев, светский композитор, большой знаток придворных конъюнктур. Старшая дочь его Аннушка сегодня отсутствовала, опять вызванная в Царское Село на урок по вокалу; с Танеевым была младшая — Сана, а при ней и жених ее — кавалергард Пистолькорс, поклонник оккультных наук. Явилась скромно одетая, еще красивая Любовь Головина, родная тетка этого Пистолькорса; с нею вошла дочь ее — востроносая девица с челкой на лбу, которую в свете именовали на собачий лад — Мунькой; что-то глубоко порочное отлегло на высоком челе этой субтильной девицы в белой блузочке, едва приподнятой слабо развитой грудью... Хозяйка дома объявила гостям, что старец Григорий уже приехал, сейчас почивает, но скоро проснется и отец Иоанн. Восторгов по телефону обещал вот-вот его подвезти. Но тут вбежала странная дама, вся в шорохе каких-то наколок и ленточек, говорившая то шепотом, то срываясь на крик,— это была генеральша Лохтина, когда-то блиставшая красотой и остроумием, а теперь понемножку сходившая с ума в общении с монахами...

— Не опоздала ли я, графинюшка? — спрашивала она.

Внизу дома графский лакей с осанкой британского лорда уже принимал от Распутина его новенький картуз.

— Ну, Гришуня,— шепнул Восторгов,— теперь держи хвост торчком, иначе все у нас треснет...

Шоколадный мрамор лестницы излучал приятное тепло, почти телесное. Дворецкий провел их в «ожидальную», сплошь завешанную картинами. Фамильные портреты кисти Левицкого умещались рядом с дешевым пейзажиком Клевера, а плоский жанр соседство-

вал с подлинными шедеврами старых голландцев. Распутин из разнобоя сюжетов выхватил лишь одну живописную сцену. На полотне была представлена женщина, готовая нырнуть под одеяло, она подмигивала кому-то — с непристойным вызовом.

— Это кто ж такая будет? — удивился Распутин.

Восторгов, будучи неплохо начитан, тихонечко пояснил, что картина называется «Нана», изображена здесь известная куртизанка Парижа, героиня романа французского писателя Эмиля Золя *. Гришке-то писатель этот ни к чему, а слово «Нана» он расшифровал как дважды произнесенное «на!».

Двери зала отворились, и на пороге вдруг предстала какая-то... бабуся, скудно одетая, с крестьянским платком на голове. «Графиня»,— шепнул Восторгов, и тут словно лукавый подпихнул Гришку в бок — он сразу же наорал на Игнатьеву:

— Ты что, ведьма старая? Гляди, какой срам по стенкам развесила... от беса это у тебя, от беса! Небось за едину таку картинку мужик корову бы себе справил, а ты... Смотри,— сказал ей Распутин,— я наваждение-то разом прикрою!

И яростно перекрестил Нану возле розового пупка.

Старая графиня нижайше ему поклонилась:

— Прости, батюшка Григорий. Ужо вот я скажу своим людям, чтобы блудодейку на чердак вынесли. Уж ты не гневайся на меня.

Распутин одернул поясок, тронул рукава рубахи.

— Ладно,— сказал.— Веди уж... чего там!

В растворе позлащенных дверей виднелись головы гостей, на столе попыхивал паром медный самовар, неопрятной грудой, словно в худом трактире, лежали простонародные баранки... Распутин, поскрипывая сапогами, шагал к столу, легко и пружинисто, и в этот момент сам чувствовал, что он — молодец!

3. «НАНА» УЖЕ ТРЕСНУЛА

Гости графини еще не успели к нему присмотреться, когда Распутин ловким взором конокрада, оценивающим чужую лошадь, которую непременно надо украсть, уже оценил их всех сразу и теперь приближался к ним, часто приседая, потом резко выпрямлялся, и ладони его сочно пришлепывали по коленям. Сейчас он был похож на орангутанга, спрыгнувшего с дерева и решившего прогуляться по земле. Внезапно ощутив свою силу (и свою власть над этими людишками, ждавшими его!), он уже выпал из-под опеки Восторгова, заговорив так, как ему хотелось — почти бездумно:

— Чаёк пьете... ну-ну, лакайте. Чай — травка божия. Ты замужня? А почто без мужа приволоклась? Вот бы я поглядел на вас, на обоих-то... Нехорошо, мать, нехорошо,— сказал он, остановясь подле Головиной.— Нешто так жить можно? (Головина страшно испугалась.) Смотри-кась, какая ты баба вредная... Но обидой ничего не исправишь. Не обижай! Любовью надоть... любовью, дура ты! Да что с тобой толковать? Все едино не поймешь...

И пошел дальше, поскрипывая. Еще на Москве убедился Гришка, что грубейшее «ты» звучит убедительнее обращения на «вы». В этот момент речь его обрела соль и перец.

— Ну ты! Кобыла шалая,— облаял он нервную Лохтину.— Курдюком-то не крути, а сиди смиренно, коли я с тобой говорю. Возжа, што ли, под хвост тебе попала?

— Благослови, батюшка,— взрыднула Лохтина.

— Это потом...— небрежно отмахнулся Распутин.

Пистолькорс, повидавший немало медиумов, магов и спиритов, смотрел на Гришку в изумлении: такого хама он еще не видывал.

— А кулаки-то у тебя... ого, какие!

Пистолькорс словно и ждал, что его похвалят:

— Этими руками задушил я пятнадцать латышей.

— За что?

— Бунтовали! Задушу, бывало, и в журнал себе вписываю: имя, фамилию, возраст, женат, холост...

— Зачем?

— Для памяти! Попалась мне знаменитая рижская красавица Ревекка Рабонен, дочь пастора, еще девчонкой путалась с социалистами. Я отвел ее в казарму. Что хотите, говорю, то с ней и делайте. Но солдаты — дрянь. Взяли и отпустили ее. Я выскочил... вижу, бежит моя красотка через картофельное поле. Я — за ней! Догнал. Шашку выхватил. Как полосну по затылку... в картошку и зарылась. Только, помню, косы у нее разлетелись...

Распутин сунул землистые ладони за поясок.

— Ну и сволочь же ты! — произнес он четко.

Отошел прочь. Пистолькорс растерялся:

— Что он сказал? Что сказал мне старец?

Софья Сергеевна поправила на буклях бабий плат и, выглядывая из-за самовара, на прекрасном парижском диалекте растолковала дураку кавалергарду, что он вызвал недовольство у старца. Воспользовавшись минутной паузой, Восторгов шепнул Гришке:

— Ножичек у тебя с собой?

— Здеся. В штанах. А что?

— Ты эту голую Нанашку где покрестил?

— Аж у самого пупочка.

— Давай сюда ножик... сейчас все обтяпаем.

Ловкий поп незаметно улизнул от стола.

. . . . . .

— Григорий Ефимыч,— сказала старая графиня, налив для «старца» чашку жиденького чайку (была она скупа),— осенил бы ты нас благодатью какой... Изнылись уж! Духом износились!

А если это так, чего тут с ними цацкаться? Смелее приступим к делу. Распутин раздробил на зубах твердую баранку.

— А ведь ты, мать,— сказал он, с хрустом жуя,— ишо не ведаешь, что благодать уже вершится в дому твоем...

Гости многозначительно переглянулись. Гришка

---

* Я не мог выяснить происхождение этой картины в доме гр. С. С. Игнатьевой; мне известна лишь одна картина под названием «Нана» работы Эдуарда Манэ (1877), но она хранилась в «Кунстхалле» в Гамбурге. Может, у Игнатьевых была копия?

мельком глянул на Танеева: «Ух, барбосина какой... паршивый!»

— Хитрый ты,— сказал он ему,— но скоро поглупеешь. А помрешь легко. Ляжешь и не встанешь. Я так вижу...— Взгляд его перевелся на Сану Танееву.— Это младшая твоя? — произнес он, не то спрашивая, не то утверждая. Танеев кивнул, и Распутин поставил вопрос как надо: — А почто старшую свою не привез?

За столом пронесся тихий шумок:

— Все знает... до дна видит... просто чудо!

— Старшая моя Аня,— поежился под взглядом мужика статс-секретарь,— к императрице звана... у них урок пения.

Гришка расставил ноги и долго глядел в пол под собою, напрягаясь. Заговорил снова — убедительно:

— Скажи Ане, чтобы почаще дома сидела. Я так вижу, а ты ей передай, будто старец Григорий сказывал — ее муж ждет!

— Но она еще незамужняя,— удивился Танеев.

— Это я знаю,— не растерялся Распутин.— Но муж-то ейный уже к порогу подходит. Вскорости все решится...

Мунька Головина сидела как раз напротив старца, и Гришка, хорошо знавший женщин, сразу распознал ее суть:

— А ты горишь... Вижу, как по жилкам голубеньким бродит что-то красненькое... Это огонь от беса, и ты беса не пужайся... Опосля бесовского будет тебе дано и ангельское!

В разговор важно вступила мать Муньки, Любовь Валериановна Головина, жена камергера, дама острая и подвижная:

— Вы бы воздействовали, старец, на Мунечку... Вбила себе в голову, что светский мужчина — вырожденец, уже ни к чему не способен, и всех женихов, какие были, она от себя отвадила.

— И верно сделала! — отвечал Распутин.— Для ча ей с ыми, с тонконогими, пачкаться? Она невеста божия... *я так вижу.*

Восторгов тихонечко подсел к столу, завел богоугодные разговоры, столь елейные, будто всех маслом намазывал. В этот момент поп уже был серьезно озабочен быстрым ростом авторитета Гришки, хотел он от пальмы его первенства отодрать листик пошире и для себя, чтобы не вся слава досталась одному Распутину... Вдруг вбежал Пистолькорс, стал нашептывать что-то графине на ухо.

— Старец Григорий прав: сама святость в доме моем,— поднялась старуха.— В ожидальной не выдержала Нана... треснула!

Именно то место, которое перекрестил разгневанный Распутин, оказалось крестообразно разорванным — у самого пупка розовой «Нана». Никто из гостей не сомневался, что легкомысленная тема картины не выдержала осенения свыше и бесовский холст затрещал под дуновением крестного знамения. Восторгов, весь в ажиотаже, дергался на стуле, словно на кол посаженный. Гришка шепнул ему:

— Вишь, как ножичек-то пригодился...

Но полотно салонной жизни еще не было дописано до конца. Последний решающий мазок нанесла генеральша Лохтина, до этого издали разглядывавшая Распутина с таким видом, с каким опытная сова глядит на жирную и вкусную мышь: «Сейчас съесть или на потом оставить?» Наконец не выдержав, она рывком подошла к нему. Заговорила напористо и смачно:

— Старец, что делать женщине, если у нее тело свято? Мой муж вполне порядочный человек, но... не святой. Я увидела тебя и вся открылась навстречу тебе. Научи, как мне быть?

Распутин сразу понял, что перед ним очередная психопатка, каких уже немало встречал в своих странствиях по монастырям и обителям. В ответ старец зашептал ей жарко:

— Ты вот што... Звать-то тебя как?

— Ольга Константиновна, а по мужу...

— Не надо мне твово мужа! — Распутин воровато огляделся по сторонам.— Ты, Ольга, не скорби. В субботу с утра раннего ступай в баню и распарься так, чтобы косточки от мяса отлипали. А прямо из бани езжай ко мне на Караванную... Беса не томи,— погрозил Гришка даме пальцем,— беса, как и бога, тоже уважить надобно. Вот мы и потолкуем, как жить, ежели ты такая святая!

Генеральша даже прослезилась.

— Дашь ли мне святости? — спросила надрывно.

— Дам. Ужо получишь. Тока приди. Не омманешь?

— Христос с тобой! — заверила его Лохтина.

— Христос во мне,— поправил ее Распутин...

Утром графиня Игнатьева позвонила по телефону на квартиру придворного генерала Воейкова, который, будучи приятелем царя, носил неудобопроизносимый титул — «главнонаблюдающий за физическим развитием народонаселения Российской империи».

— Владимир Николаевич, я вас прошу доложить его величеству, что у меня ночью было ярчайшее видение...— Моральный авторитет старухи, всю жизнь проведшей на высших этажах православия, в дворцовых сферах был непогрешим, и потому Воейков со вниманием выслушал подробную ахинею: — Дух был с венцом вокруг головы, я до сих пор слышу его голос. В доме твоем, сказал мне дух, объявился великий пророк, назначение которого открывать царю волю провидения. Это был дух Серафима Саровского, покровителя государя, а пророк в доме моем — старец Григорий, прозванием Распутин. Вы запишите, Владимир Николаевич, а то еще забудете.

— Нет, нет, как можно! — отвечал Воейков.— Я в точности доведу ваши слова до сведения моего обожаемого монарха...

. . . . . .

В эту ночь, пока графиню навещали всякие видения, в тихом доме на глухой линии Васильевского острова сидели трое: сам Распутин (герой дня), Восторгов с Гермогеном, сидели они и пили... Гришка уже не кочевряжился, святого не разыгрывал. Понял, что с такими пройдохами он и любой сойдет! Хлестал все подряд: водку, херес, коньяк, мадеру, вишневую и рябиновку.

— Чего затихли? Отец Иоанн, наливай вдругорядь... эвон из той бутылки, чтобы пена пшикала... Эх, девок бы еще сюды!

Между ними лежал на столе перочинный ножичек, и каждый раз, когда вспоминали о нем; все дико хохотали, а Гермоген даже снимал с головы клобук и больно хлестал им Гришку по морде.

— Сознайся, это ведь ты отца Иоанна подначил?

— Я сам! — гордился Восторгов.— Где ему догадаться...

Расходились уже вконец пьяные. Целовались и плакали. Очень уж они были хорошие!

Утром Распутин пробудился, чувствуя, что кто-то пристально на него смотрит. Ровно посреди комнаты, словно обвиняемая в зале суда, сидела на стуле прямая и плоскогрудая Мунька Головина... Ни слова не сказав, она с электрическим треском потянула через голову беленькую блузочку, длинными бледными ногами переступила через упавшие на пол юбки.

— Ни стыда у тебя, ни совести,— подивился Распутин...

Вечером Мунька была у своей подруги — баронессы Верочки Кусовой (дочери жандарма от брака с известной певицей Долиной).

— Что с тобою? — заметила та.— Ты какая-то не в себе.

Закурив, Мунька рассказала ей о Распутине:

— Что он творил со мною — непередаваемо! Тела у меня уже нет. Остался один дух, и я сама ощущаю себя святою после общения со старцем... Он — бесподобная свинья!

Подруга страдальчески заострилась носом.

— Как я завидую тебе, Мунечка,— сказала она.— Боже, если бы и мне хоть разочек в жизни так горячо помолиться!

Мунька твердо и решительно загасила папиросу.

— В чем дело, машер? В конце концов, это же не любовь, а лишь особая форма богослужения. И никому не запрещено войти в храм и молиться в нем во имя господа, спасителя нашего... Иди и молись! Распутин щедрый архипастырь и никого не отвергнет...

Мунька Головина, дочь камергера, стала самой близкой Распутину, самой верной адепткой его «учения». Она же, порочная до безобразия, сделалась и поставщицей поклонниц. В один из дней Мунька сообщила Гришке, что его желает видеть некая дама:

— Я не могу открыть ее имени. Она очень знатная. И просила предупредить, что явится под густейшей вуалью из конского волоса, и ты не должен делать попыток к снятию вуали. Ты пойми,— говорила Мунька,— что эта женщина очень *высоко наверху*.

— Что это за фокусы таки! — возмущался Распутин.— Идет ко мне за делом, а фамилию с мордой прячет... Рази это по-божески?

— Хорошо. Я скажу тебе, кто она. *Это*...

Это была Милица Николаевна, дочь короля Черногории и жена великого князя Петра Николаевича. Распутин быстро усвоил суть семейных связок дома Романовых и понял, что от чернавки Милицы тянутся тропочки к престолу. Он сказал, что Милицу примет.

— Чего ей? По душам говорить хочет? Ну, ладно-сь. Скажи, что я похристосуюсь с нею... Она уж вовек не забудет!

. . . . . .

Восторгов и сам не заметил, когда его ученик перепрыгнул широкую реку и теперь свободно гулял на другом берегу.

4. САМАЯ КОРОТКАЯ ГЛАВА

Самая короткая и самая пикантная... Множество анекдотов о Распутине (как правило, рассчитанных на людей недоразвитых) рисуют его женским героем раблезианского размаха и такой неукротимости в тайных делах, какая несвойственна даже весенним котам.

Надеюсь, читатель поверит мне, что эту сторону распутинщины я тоже изучил в подробностях и ответственно заявляю, что Распутин не был исключением в ряду обычных здоровых мужчин. Наоборот, документы иногда являют прискорбные для анекдотистов факты, когда Гришка как мужчина оказывался явно «не на высоте» той славы, которую ему приписывали...

В чем же дело? В чем его сила?

На этот вопрос ответ дал великий русский психиатр Бехтерев, который специально занимался Распутиным и разоблачил секрет его влияния на женщин.

«Все, что известно о Распутине в этом отношении,— писал Бехтерев,— говорит за то, что его сила заключалась... во властном характере его натуры и умении поставить себя сразу до фамильярности близко ко всякой обращающейся к нему особе женского пола... Каждую входящую даму «набожный» старец встречает в передней, прежде всего обводя своими «нежными» ручищами по всем линиям ее тела, как бы исследуя ее формы. Этим приемом старец Распутин сразу достигает близости к входящей даме, которая становится с этих пор кандидаткой на его обладание... Кроме обыкновенного гипнотизма,— подчеркивал Бехтерев,— есть еще и *половой гипнотизм*, каким, очевидно, обладал в высшей степени старец Распутин... А великосветское дамское общество, его окружавшее, представляло ту извращенную дегенерацией среду, в которой распутинский половой гипнотизм пожал обильную жатву».

В распутинщине нельзя винить одного Распутина! Распутин никогда бы не создал распутинщины, если бы ему не помогала среда, в которой уже были заложены микробы разложения. Конечно, виноваты и женщины, но... какие женщины?

Вот что писал по этому поводу В. В. Шульгин, при всей своей реакционной сущности он был неглупым человеком.

«Вырождающиеся женщины часто страдают оттого, что они ничего не чувствуют. Нередко они объясняют это тем, что муж обыкновенный, серый человек. Чувственность просыпается в них, когда к ним прикоснется герой. А героя найти нелегко! Те женщины, что пониже, могут ожидать своего принца. Но те женщины, что живут среди принцев, должны искать героя в слоях общества ниже себя, ибо люди своего круга ими уже испытаны. Такие особы начинают презирать условности, классовую рознь, наследственные предрассудки и даже требования чистоплотности. Так они до-

ходят и до Распутина! Разумеется,— выделял Шульгин,— к этому времени они уже глубоко развращены, пройдя очень длинный путь великосветской проституции...»

5. ТЕМНЫЕ ЛЮДИ

1905 год погасил огни Зимнего дворца; темный и неживой, он являл вид заброшенности. Балов больше не было. Куда делись пышные карнавалы! Придворные жаловались на скуку, вспоминая, как чудесно жилось им раньше. Сорокалетние говорили: «Ах, как хорошо бывало при Александре Третьем!» Полувековые залезали памятью глубже в историю: «Кто не жил при Александре Втором, тот вообще не жил!» А те, которым пошло на седьмой десяток, сладко жмурились: «Вы бы посмотрели, как было при Николае Первом...»

Вдовствующей императрице Марии Федоровне все не нравилось в царствовании сына, и средь придворных она обрела кличку Гневная. Вдова все больше удалялась от «большого» двора.

— На худой конец,— говорила она,— у меня есть спасение: я могу сесть на поезд и утром буду в Копенгагене, где уже не стану видеть нынешних безобразий. С тех пор как царствует мой сын, я все время жду убийств, взрывов, катастроф и безумия!..

Революция наказала сына «гатчинского затворника» кличкою Царскосельский Суслик. Пешие походы на дальние дистанции Николаю II пришлось отложить, чтобы эсеры не подстрелили из-за кустиков, словно бекаса. Все свои дремучие, первобытные силы император вкладывал в заготовку дров для своего дворца — пилил и колол с утра до ночи, словно хороший дворник. По ночам же, в кожаной куртке шофера, никем не узнанный, он садился в байдарку, ожесточенно выгребая веслом, чтобы побыть одному — подальше от семейных дрязг, подальше от своих страхов.

Гневная свою невестку Алису безжалостно шпыняла:

— Надо уметь себя вести! Мне тоже не всегда хочется улыбаться людям, которых я не знаю. Плохо себя чувствую. Или просто нет настроения. Однако надо... Мы цари, а это значит, что мы всегда на виду, ослепленные ярким светом. И простым людям приятно, если царица подошла к ним в скромном ситцевом платье, какое и они носят, и вдруг спросила — почем сегодня на базаре говядина? А ты, голубушка, ведешь себя с людьми так, будто наступаешь на противную и скользкую лягушку.

— Мне неприятны ваши сентенции,— огрызалась Алиса.

— Это неточно сказано,— возражала Гневная.— Не мои сентенции противны тебе, а тебе противны все кто тебя окружает, и только ты сама для себя еще не стала противна...

Федоровская церковь в Царском Селе — как старинная игрушка. Убранство ее богато. Она считалась «государственным собором», здесь молились Романовы с придворными. Кто как умел, так и молился. Александра Федоровна, верная себе, решила молиться так, чтобы ее никто не видел. Царицу угнетала мания преследования. В алтарных приделах храма она велела выдолбить для себя глубокую нишу, в которой и скрывалась. Время от времени из тайника, словно из гадючьей норы, высовывалась ее голова. Быстро оглядит молящихся — нет ли опасности, и снова спрячется, задернув ширму.

. . . . . .

Война обескровила русский рубль — он пал, сраженный японской шимозой. Умные люди вспоминали, что пророчил Салтыков-Щедрин: «Это еще хорошо, если за рубль станут давать полтинник. Хуже, если за рубль будут давать нам в морду!» Миллиарды русских займов, набранных у Франции и Ротшильдов, были бездарно размусорены на полях Маньчжурии, и немецкий генштаб приятно волновался, узнавая о русских жертвах. «Теперь им долго не выбраться из этой лужи!» — говаривал Вилли, понимая что в Европе осталась одна гегемония — железный кулак его могучего рейхсвера. «Адмирал Атлантического океана» за кулисами дружбы с кузеном Ники втихомолку хихикал над незадачливым «адмиралом Тихого океана»... Война в августе закончилась. Японцы сразу же открыли в Токио неряшливый музей, посвященный победе над Россией. Стены музея, словно баня кафелем, были сплошь облицованы трофейными иконами. Из гущи бород, люто и зловеще, взирали на праздничную сутолоку токийцев постные лики православных угодников. Выходит, что правы оказались русские генералы, год назад хваставшие, что они Японию иконами закидают (все-таки, черт побери, закидали!). А посреди музея красовалась... кровать, вся в кружевах и розанчиках, и музейный гид комментировал это трофейное чудо безо всякого юмора:

— Захвачена в бою доблестными самураями микадо при отступлении русской армии. На этой удивительной кровати спал сам командующий русской армией генерал Куропаткин, основным девизом которого были слова: «Терпение, терпение и терпение...»

Портсмутский мир завершил войну, и надо признать, что успехом в дипломатии Россия обязана Сергею Юльевичу Витте, который вел переговоры с японцами (в этом ему помогало то важное обстоятельство, что США боялись усиления Японии на Тихом океане). От тех времен осталась едкая карикатура из «Simplicissimus»: сидит громадный безносый Витте, а перед ним японский маркиз Комура, похожий на мартышку; Витте нахально ему говорит: «Я разрешаю японцам оставить для себя Токио». Россия лишилась только южной части Сахалина, а Витте стал премьером и обрел титул графа, отчего шутники прозвали его Витте-Полусахалинский. Война закончилась, но революция продолжала расширять свои берега...

Мария Федоровна в страхе бежала в Данию. «Разбирайтесь сами,— сказала она сыну с невесткой.— Я вернусь, когда все притихнет и можно не бояться, что на улице мне плюнут в лицо». Возле Петергофа стоял под парами миноносец, на котором царская семья, случись что, рассчитывала удрать в Англию. Даже люди, посвященные в интимные секреты

двора, не знали одной глубокой тайны. Николай II велел соорудить в Александрии блиндированный подвал, надеясь отсидеться в нем при нападении народа. Сложные переходы дворца прочеркивали прицелами замаскированные пулеметы, готовые в любой момент смести все живое, что ворвется сюда с улицы... Словно очумелые мотались между столицей и Петергофом казенные пароходы, развозя министров с докладами. Требовалось крутое решение, чтобы утихомирить народные страсти. Витте подготовил от имени царя манифест о даровании народу «свобод». Николай II обозлился на своего президента:

— Но я не желаю терять принцип самодержавности...

А стачка рабочих сделалась уже всенародной, и раздумывать было некогда. Колебания между диктатурой и дарованием конституции становились опасны. Дядя Николаша навестил Фредерикса:

— Если мой племянник не подпишет манифеста, я застрелюсь в его кабинете. Если я не сделаю этого, обещай застрелить меня.

На бурном министерском заседании, когда кабинет Витте, качаясь, плыл, словно корабль в бурю, дядя Николаша выхватил из кобуры револьвер. Дуло его, блестя смазкой, уперлось в седеющий висок. «Мы здесь не в бирюльки играем! — заявил он царю.— Речь идет о спасении престола. Быть Романовым или не быть! Если не уступим сейчас, все полетит к чертям собачьим...»

Царь уступил! Очевидец пишет, что «после подписания манифеста во дворце произошла бурная сцена — великие князья нападали на Николая II чуть не с кулаками, женская половина дворца истерически рыдала». А на улицах обнимались одураченные люди: «С конституцией тебя, Петя! Приходи вечерком на севрюжину с хреном... Выпьем, брат, за эру свободы. Споем что-либо мажорное». Манифест от 17 октября сбил с толку многих (даже умных). Толпы студентов, сняв фуражки, носили по улицам портреты Николая II, среди юных лиц курсисток развевалась ветром апостольская бородища Стасова; ликовал и великий маэстро Репин, широкими мазками кисти спеша запечатлеть эту сцену вихря, сцену могучей людской лавины, остановившей конки, сметавшей со своего пути городовых и жандармов, дворников и лотошников...

— Скандальное время,— жаловался царь.

— Ах, почему я не рождена мужчиной! — воскликала в ответ супруга.— Я была бы сейчас страшнее Ивана Грозного, я залила бы всю страну кровью, но зато сама спала бы спокойно...

Внутренний рынок империи подпольно снабжал россиян почтовыми открытками, на которых царь изображался при всех регалиях, державшим себя за тайное удилище, а снизу подписано: «САМОдержец». Алиса тоже рисовала карикатуры на мужа. Рисунки ее были злы. Царица изображала царя младенцем с бутылкой водки во рту (вместо соски), его укачивает Гневная, лупцуя сыночка по заду, а изо рта матери вырывается фраза в росчерке облака: «Ники, ты будешь меня слушаться?..» Алиса говорила:

— В самом деле, Ники, пора тебе решить этот вопрос — кого впредь ты намерен слушаться, меня или свою мать?

Император решил слушаться... Папюса (!), которого в октябре 1905 года он вызвал из-за границы. Прямо с вокзала чародей в закрытой карете был доставлен в Царское Село, где ночью устроил церемонию колдовства. На плече его сидела крохотная обезьянка, шкура которой была заранее натерта фосфором, а в пищу обезьяне уже много дней примешивался атропин.

— Ваше величество, сегодня флюидический динамизм вполне располагает меня к вызову духа вашего отца... Укрепитесь! — Во мраке комнат возникло легкое светлое облако, в котором резко определились две красные точки (фосфор и атропин сработали).— Это он! — возвестил Папюс.— Можете говорить с ним...

Николай II уже не отрывался от глаз обезьяны.

— Папа,— спросил он у нее,— ты понимаешь, как мне плохо? Скажи, чего мне еще ждать и на что можно надеяться?

Загробным гласом «дух» Александра III, исходивший от искусного чревовещателя, отвечал сыну, конечно по-французски:

— Революция возникнет еще более сильная, нежели эта. И чем суровее будешь ты сейчас в подавлении революции, тем сильнее она будет в недалеком будущем. Но выхода у тебя, сын мой, уже нет... не бойся... крови... прощай... поцелуй внука...

Голос исчез «за кадром», а две красные точки в углу комнаты медленно погасали, как угли на остывающей жаровне.

— Он удалился,— сообщил Папюс; получив гонорар (которого хватило бы на закладку нового крейсера), шарлатан намекнул: — В моих силах еще предотвратить катастрофу будущей революции. Но действие моего флюидизма способно усмирять катаклизмы, пока я сам не исчезну с физического плана нашей планеты...

Этим сукин сын дал понять, что рассчитывает на пожизненную пенсию и, пока он жив, Романовым бояться нечего.

— А вот когда я умру! — И Папюс развел руками...

На другой день император принял архимандрита Феофана.

— Отец мой,— встал царь на колени,— утешь меня.

— Утешение близится,— отвечал тот.— Вчера я со старцем Распутиным снова скорбел за вас. Мы плакали, а потом вдруг стало светло, и Григорий сказал: «Ужо вот скоро царю полегчает!»

. . . . . .

Через 12 лет, в разгар новой революции, из камеры Петропавловской крепости тащили на допрос генерал-лейтенанта Герасимова, бывшего в 1905 году начальником столичной охранки. Этот человек знал очень многое и держался нервно. С губ жандарма часто срывалось гневное слово *рвань*... Его спросили:

— О какой рвани говорите, Александр Васильевич?

— Простите, я имею в виду сволочь придворную.

— Хорошо. Продолжайте, пожалуйста.

Герасимов весь подался вперед — в напряжении:

— Я хочу сказать про Распутина... Кто нашел его? Это я! — заявил жандарм, почти гордясь этим.— В то время, когда боялись каждого, когда все казались подозрительными лицами, дворцовый комендант однажды вызвал меня...

— Кто вызвал?

— Дедюлин! Он сказал, что в столице появился мужик. По всей вероятности, переодетый революционер... Мужика взяли под наблюдение. Это и был Гришка Распутин.

О том, что такой Распутин существует, департамент полиции узнал от того же Дедюлина, который доложил по телефону:

— Я заметил шашни придворных дам с некиим Распутиным. А некоторые из дам часто бывают на царской половине. Это опасно! Хотя бы потому, что не исключено занесение сифилиса в царскую семью. Не мешало бы проверить — кто этот хахаль?

Машина сыска закрутилась, а тут из Сибири подоспел еще и донос покровского священника отца Нила Ильина; справка из волости Тюменского уезда заверяла жандармов, что Распутин «первоклассный негодяй». Состоялся доклад директору департамента:

— Этот подозрительный мужик, надо полагать, переодетый революционер. Связан с духовенством и черной сотней, но это, видимо, лишь маскировка. Замечен в радикальных разговорах.

— А партийная программа его прощупывается?

— Темнота... Иногда треплется о «мужицком царстве», из чего можно заключить, что по своим настроениям близок к эсерам. Прикажете взять его под «освещение»? Гласное или негласное?

— Как угодно. А для филеров пусть он проходит под кличкою, ну, хотя бы...— Директор подумал.— Пусть он будет *Темным!*

Под этой филерской кличкой Распутин и останется до самой гибели. Позже, когда он достигнет могущества, само наблюдение за ним механически превратится в его охрану, и Гришке будет уже не по себе, если не услышит шагов за собою... А сейчас он слежки даже не заметил, поглощенный своими делами.

6. ИЗ ГРЯЗИ ДА В КНЯЗИ

Саратовский епископ Гермоген сказал:

— Ты мне должен за Феофана большое спасибо вставить. Про ножичек-то я... ни звука! Феофан в боге крепок и ваших фокусов с «Нана» не понял бы. Узнай он, как вы с Восторговым, будто хулиганы, картину-то ножом полоснули крест-накрест...

— Ой-ой, беда бы тогда! — затужил Распутин.

Карьера царского духовника Феофана покоилась на прочном официальном фундаменте. Распутин был умен, и перед ученым богословом представало некое «дитя природы», продукт глубинной Руси; варнак ловко играл в Лавре роль мужицкого искателя правды на земле, томимого сатанинскими страстями. Поступая весьма дальновидно, Гришка своих грехов от Феофана никогда не таил, отчего и приобрел полную доверенность архимандрита.

— Эка, беса-то в тебе... Покайся,— внушал Феофан.

— За прошлое откаялся. А новых грехов не обрел.

Феофан нагнулся к Распутину, стоящему на коленях.

— Тогда уж и согреши, чтобы крепче потом покаяться...

Нечаянно для себя Феофан преподнес Распутину уже готовую формулу его дальнейшего поведения: покаяние приходит с грехом, оттого и грех богоугоден... Теперь Гришка убежденно гудел:

— Грех — это хорошо! Он тоже от бога...

Восторгов еще не осознал, что уже перестал быть нужен Распутину, но зато понимал, что Распутин ему нужен. Как паук на хвосте орла, отец Иоанн мечтал взлететь повыше к солнцу. А сейчас протоиерею непременно хотелось, чтобы разрекламированный им Гришка делом подтвердил свою славу «праведника».

— Взял бы ты котомочку, вооружился бы палочкой и сухариками да пошел бы ты в мир — нести слово божие.

— Нашел дурака! — смеялся Распутин.— Мало ли я по всяким богомольям таскался. Будя... Лучше на кушеточке полежу. Нет ли книжечки какой? Про сыщчиков бы мне. Про мазуриков разных. Это я люблю, когда один спасается, а другой его догоняет...

С заботливой лаской поп подсел к нему на кушетку...

— Гришуня, а что далее-то делать удумал?

Распутин зябко повел покатыми плечами.

— Кабы знать... Сам вижу, что залетел столь высоко, что ежели кувырнусь, то и костей от меня в гробу не собрать!

Это он сказал искренно. Будущее и впрямь писалось вилами по воде; возникало множество узоров и завихрений, но тут же все расплывалось в неясную муть, и порою думалось: «Ну, ладно. Приоделся. Сапоги справил. Винца господского похлебал. Не пора ли нагрянуть в Покровское да вздуть Парашку вожжами?»

Поездка в Кронштадт, где Распутину довелось видеть Иоанна Кронштадтского, смутила его. Завороженно наблюдал, как стелилась на Якорной площади многотысячная толпа, как летели по воздуху, порхая голубями, даренные на церковь денежки. Не забылось, как Иоанн вышел на паперть и каждому нищему вручил по сотенной, не жалеючи, будто сам деньги печатал. Распутин отплывал в Петербург, потрясенный. «Вот это жисть! — раздумывал, стоя под холодным дождем на палубе парохода.— Хоть лопатой деньгу греби, а он по ним ступает — и хоть што, даже не гляднет... живут же люди. Умеют устраиваться. Эх, ядрена маковка, мне бы так пожить...»

В один из дней начал собираться в дорогу.

— Никак домой уцелился? — спросил Восторгов.

— Не подохнут там, чай, и без меня. Дело есть... Чернавка тут одна, ее Милицкой кличут, она обо мне нашептала великому князю Николаю Николаичу, вот и зовет он меня до себя. Сейчас на вокзале был. Купил билетик себе на поезд до Тулы!

— А зачем ты, Гриша, великому князю понадобился?

— Сука заболела. Вандой кличут. Великий князь

ветеринара своего так затюкал, что тот бежал в лес и повесился.

— Он и тебя искалечит, ежели суки не излечишь.

— А я и лечить ее не стану,— отвечал Распутин.

— Как же так, Гриша?

Распутин уже напяливал шубу (была поздняя осень):

— А так... сама сдохнет! Или сама поправится.

Мужицкая смекалка и опыт жизни, осложненной воровством и частыми побоями, помогали Распутину отыскивать правильный фарватер в этой удивительно запутанной дельте столичного света. Он по-своему был прав, делая ставку на грязь... Гришка своим длинным носом учуял, что здесь не все чисто,-- здесь, напротив, чрезвычайно грязно, и кому, как не ему, подниматься все выше и выше... Из грязи да в князи!

. . . . . .

Великий князь Николай, прямой внук Николая I, приходился Николаю II двоюродным дядей. Отец его, тоже Николай Николаевич, был фельдмаршалом. Под старость, подобно библейскому Лоту, он начал приставать к дочерям, рожденным от балерины Кати Числовой. Во время пьяной вечеринки одна из них трахнула отца бутылкой по голове, отчего фельдмаршал спятил, вообразив себя лошадью. Соответственно пункту помешательства отмаршировал на конюшню, где и занял стойло. Поматывая «гривой» бороды, исправно жевал овес и лягал психиатров, демонстративно справляя нужду под «копыта». Очень просил конюхов, чтобы те его подковали...

От него остались два сына — Петр и Николай, которым он передал признаки ненормальности. Петр, женатый на Милице Николаевне, был незаметен, зато брат его Николаша — гроза гвардии, непревзойденный мастер по части выпивки и закуски. Знаток порфорсной охоты, с арапником в руках он гонялся за волками и лисицами, совершая баснословные потравы мужицких посевов. Свой дворец в Петербурге сдавал под «веселый дом», за что имел по 46 000 рублей годового дохода. Не женат, но влюблен в слезливую купчиху, торговку мукой и бубликами. Бракосочетаться с нею ему запретили. «Я состою в родстве со многими дворами,— сострил Николай II,— но с Гостиным двором родниться не хочу». Напившись, великий князь обычно раздевался догола, брал гитару и залезал на крышу дома своей хлебобулочной пассии. В лунные ночи жители Царского Села не раз видели дядю Николашу, который, сидя под трубой, распевал злодейские романсы, жестоко изранивая сердце сдобной купчихи: «Скинь мантилью, ангел милый, и явись, как майский день...» Снимали его оттуда с помощью пожарной команды. Это закончилось, когда купчиха спятила. Про своего племянника-царя он говорил так: «Вы не смотрите, что Ники как и все мы, грешные. Он не бог! Но он и не человек! Император — это нечто среднее между богом и человеком...»

Сейчас великий князь уже не принадлежал сам себе, будучи оккупирован сестрами-черногорками. Когда ветеринар, не выдержав издевательств, повесился, черногорки сорочили:

— Только старец Григорий может спасти Ванду...

Чего им было надо, этим прохвосткам? О-о, тут интрига сложная и далеко идущая... Милица и Стана еще детьми попали из Цетинье в Россию, где окончили курс Смольного института. Отец их, черногорский король Негош, очень хотел, чтобы ловкие дочки навсегда застряли в Зимнем дворце как его тайные агенты — ради целей «балканской политики». Милица вышла за никудышного Петра Николаевича, а Стану окрутили с герцогом Лейхтенбергским, который бежал от нее в Париж. Стана с Милицей скучали... Скучая, они вообразили о себе, что являются знатоками акушерства и религии. В основном же занимались поставкою ко двору всяких провидцев, кудесников и старцев. Холостой дядя Николаша давно смущал их. Сестрам было ясно, что, пропившийся и старый, иметь детей он уже не сможет. Зато высоченная фигура, громкий голос, властный характер, плети и арапники — все это, в глазах черногорок, делало его возможным кандидатом на русский престол. Черногорки заранее подкупали желтую прессу, создавая в обывательских кругах популярность великого князя как полководца... Далее интрига будет развиваться по черногорским планам. Стана разведется со своим гулякой герцогом и выйдет за дядю Николашу, который должен был заместить на престоле племянника. Глядишь, и Стана — уже русская царица (хотя и бездетная). Но зато дети есть у Милицы, а старший сын ее Роман пусть наследует русский престол... Как подумаешь, до чего же все просто!

Распутин 30 верст тащился от Тулы на лошадях по непролазной грязи проселочных дорог, пока не добрался до Першина — охотничьего имения великого князя. На крыльце он долго и смачно целовал обеих черногорок в губы и в смуглые щеки.

— Ну, где сука-то ваша? Ванда, што ль? Ведите...

. . . . . .

И везуч же был, окаянный! По щучьему велению или как иначе, но любимая сука дяди Николаши выздоровела с его приездом сама по себе. В узкой венгерке с бранденбурами великий князь уселся напротив старца, энергично сошлепал ладонью пепел сигары с кавалерийских рейтуз, прошитых кожаными леями.

— А фамилия-то у тебя поганая. Впрочем, и с такою жить можно... Живет же у меня генерал от артиллерии Бордель фон Борделиус — куда гаже? А камергер Бардаков постеснялся своей фамилии и с высочайшего соизволения стал, дурак, Бурдуковым...

Неожиданно сатрап осекся — прямо на него, не мигая и завораживая, в упор глядели блеклые зрачки мужика.

— Ну и глаза же у тебя! Смотреть тошно...

— А ты и не смотри,— дерзко отвечал Распутин.— Есть храбрецы, что со мною в гляделки хотят поиграть, да потом до утра заснуть не могут. Я человечек махонький, как вошка, оттого и грехи мои крохотны. А ты вот большой, и грехов твоих паровоз не потащит... Дело ли — мужицкие посевы топтать? Это от беса у тебя! Ежели б вы, великие-развеликие, эдак-то не резвились на шее народа, так, может, и революций не стало бы. А теперь хлебай ее, как кисель, полной ложкой!

Эти резкие слова, столь необычные, осадили Николая Николаевича назад, словно жеребца перед конкурным барьером.

— А ты фрукт! — сказал он, явно пораженный...

Скоро они притерлись друг к другу, и каждое общение с Гришкой производило на великого князя сильное действие, заменяя ему укол морфием. Распутин не давал помыкать собою. В разговоре оставлял за собой последнее слово. Гербованный и титулованный хам нарвался на хама простонародного, и закваска последнего оказалась крепче, ядреней! А вокруг них, сдружая обоих, трезвонили черногорские интриганки Стана и Милица:

— Мы тебя обязательно должны показать царице, Григорий, и, пока не увидишь царицы, ты не вздумай никуда уезжать...

Вернувшись из Першина в столицу, дядя Николаша повидал племянника, в разговоре с ним долго рассказывал о Распутине. Хвалил мужика за твердость. За трезвую ясность ума.

— Филиппы и папюсы — тонкие соломинки, а я предлагаю тебе большущее бревно, за которое можно уцепиться при любой аварии!

Николай II долго молчал, похаживая с папиросой. Носком сапога он поправил загнувшийся край ковра и ответил:

— Ты, дядя, прав: опоры нет! А придворные — сволочь. Камергер ставит передо мною тарелку, и по его лицу я вижу, что он счастлив играть лакея при моей особе. А потом этот же самый камергер едет в Яхт-клуб и там либеральничает. Ведет нескромные разговоры... обо мне, о моей Аликс. Кому же верить и когда верить? В тот момент, когда он ставит передо мной тарелку? Или когда сидит в клубе среди своих и ржет надо мною?..

— Зато Распутин не станет притворяться,— заверил его дядя.— Верь мне, что он далек от нашего понимания жизни. И ему не нужен золотой ключ камергерства. Сшей ему только портки из голубого бархата, чтобы вся деревня ахала, и он по гроб жизни будет тебе благодарен.

Николай II колебался, боясь допускать до своей особы простого мужика, и даже спрашивал у Феофана — правда ли все то дурное, что говорят о Распутине.

— Говорят, он и фамилию обрел от распутства?

— Истинно так! — не стал выкручиваться Феофан.— Григорий и не таил от меня грехов, кои бесчисленны и богомерзки. Но в нем царит такая могучая сила покаяния, что я почти ручаюсь за его вечное спасение. Христос давно глядит на него... Конечно,— заключил Феофан,— Григорий Ефимыч человек простой и, поев, тарелку от соуса облизывает, аки пес. Но вам, государь, и высоконареченной супруге вашей невредно его послушать...

— Странно,— хмыкнул император.— И вы, и дядя Николаша, и графиня Игнатьева, и черногорки... всюду слышу о Распутине.

— Да, государь! Большую пользу он принесет вам, ибо из уст его слышится глас потрясенной земли российской.

. . . . . .

1 ноября 1905 года Николай II отметил в дневнике, что познакомился «с человеком божиим Григорием из Тобольской губернии». Прошло всего четыре дня, и великий князь Константин (известный в свете поэт «К. Р.») записал в дневнике: «Говорят, что Николаша, Петюша, Милица и Стана получили при дворе *большое значение*».

Теперь читателю ясна подноготная черногорской интриги!

7. ДУМА ПЕРЕД ДУМОЙ

Члены царской фамилии разбегались от революции, как тараканы из горящего дома, по заграничным курортам. Мария Федоровна отдыхала от стачек в тишайшем Копенгагене, где ей было непривычно гулять без охраны, не боясь террористов. В письмах к сыну спрашивала: «Когда кончится эта *каша?*» Близилось Рождество, и праздник ей хотелось отметить дома. Но революция властно перекрыла семафоры. «Очень просим тебя отложить твой приезд,— писал матери Николай II.— Варшавская жел. дор. небезопасна...»

31 декабря (под самую встречу нового, 1906 года) в столицу вернулся Семеновский полк из Москвы, где гвардейцы жестоко подавили восстание рабочих. Император в дубленой бекеше вышел к семеновцам на мороз, целовал их генерала Мина, одаривая карателей водкой, и лобызался с унтерами. А потом депешировал матери в Данию: «Витте после московских событий резко изменился — теперь он *тоже* хочет всех вешать и расстреливать... Дети простудились и на праздниках валялись в постелях вокруг елки». О жене он почти не упоминал, а Гневная за долгие месяцы переписки с сыном не послала невестке даже плевого приветика. Здоровая мещанка с верными женскими инстинктами, она ненавидела чахлое гессенское отродье с ее психологическими вывертами.

Зима прошла в карательных набегах. Всюду работали шемякины судилища, не успевавшие вешать, стрелять и поджигать. Тюрьмы переполнялись. Заключенных стали убивать даже в камерах. В глазок двери всовывалась винтовка, человек вжимался в стенку — и пули приколачивали его к стене, как гвоздями. В эту зиму правительство оказалось лучше организовано, нежели революционные массы. Пролетариат разочаровался в своих вождях, вроде Троцкого, вроде Хрусталева-Носаря, подзуживавших рабочих на выступления и удиравших в кусты при первом же выстреле.

Николай II научился спекулировать на человеческих чувствах. Совался с ложкой в солдатские котлы, проверяя качество пищи, спрашивал рядовых — не обижают ли их начальники? На парадах выходил к войскам, неизменно неся на руках наследника-мальчика. Как бы случайно царь просил кого-либо из солдат подержать ребенка, пока он командует. На эту сцену, словно вороны на падаль, налетали придворные фотографы, снимая Ваньку Тимохина с цесаревичем на руках. Получалось трогательно! В эту кровавую

зиму царь повадился изобретать всякие медальки, крестики и жетончики для карателей, щедро раздавал их в награду за «подавление» чего-либо.

Было ясно, что революция терпит поражение. А весной 1906 года окна Зимнего дворца вдруг снова озарились ярким светом, будто в старые времена. Придворные совались в подъезды:

— Разве предстоит какое-либо веселье?

— Да нет,— отвечали лакеи,— просто генеральная уборка... Пылищи скопилось — страх один! Окна давно уже не мыли...

Уборке предшествовал долгий спор в правительстве. Одни говорили, что под Думу следует отвести Таврический дворец, где актовый зал бесцельно используется под зимние сады, другие настаивали на Зимнем дворце, благо царская семья из него выехала в Александрию. Сошлись на том, что оранжереи Таврического дворца все же лучше подходят для размещения парламента...

Пришла ранняя весна 1906 года — весна политических конъюнктур, весьма опасных для избирателей и для депутатов. Большевики I Государственную думу бойкотировали. Ленин вскоре признал, что бойкот был ошибкой, небольшой и легко исправимой.

. . . . . .

Кажется, что в пору грандиозных потрясений государства, когда бьются насмерть силы народа и силы реакции, когда льется кровь казнимых, когда премьеры не знают сегодня, что будет завтра,— что в такую пору значит какой-нибудь плюгавый коллежский регистратор, занимающий на лестнице российских чинов самую последнюю ступеньку? Между тем, смею вас заверить, коллежский регистратор иногда способен вытворять чудеса... Кстати уже познакомьтесь: князь Михаил Андронников, сын захудалого прапорщика и баронессы Унгерн-Штернберг; из Пажеского корпуса исключен за мелкое воровство; возраста — 30 лет; холост и никогда не будет женат, ибо женщин он люто ненавидит. А зовут князя в свете *Побирушка.*

За окном всю ночь стучала капель, с крыш текло. Князь был еще в кальсонах, когда звонок с лестницы возвестил о том, что его ждут великие дела по «устроению» неустройств в империи.

— Это ты, Прохор? — спросил он через дверь.— Погоди малость. Сейчас отопру. Только халатец накину...

В пасмурных окнах пустой и неопрятной квартиры на улице Гоголя сочился скользкий чухонский рассвет. Лязгнули на дверях запоры, в дверь просунулась рука пожилого курьера типографии МВД, тряся свежие гранки «Правительственного Вестника».

— С вас пятерка,— сказал он, не входя.

Смысл сцены таков: Побирушка на много лет вперед закупил курьеров МВД, дабы об изменениях в составе кабинетов узнавать раньше, нежели это станет известно сановникам империи. Просмотрев гранки, он вернул их курьеру со словами, чтобы за деньжатами зашел через месячишко, а сейчас денег нету.

— Ты же, братец, знаешь: за мною не пропадет!

— За вами-то как раз и пропадет,— отвечал курьер.

Пора было действовать, и времени для лирики не оставалось. Потомок кахетинских царей треснул дверью, чуть не прищемив нос курьеру. Прошел в чулан, где непотребной кучей были свалены иконы. Вытер от пыли первую попавшуюся, что лежала сверху. Сунул в портфель. Заметив, что портфель выглядит тощим, Побирушка насовал в него скомканных газет, отчего портфель обрел «деловой» вид. Насвистывая, князь резво выбежал на улицы пробуждающегося Петербурга, перехватил извозчика:

— На Варшавский вокзал... Овес-то нынче почем?

Андронников поспел к прибытию ночного экспресса из Ниццы; в конце состава размещался оцинкованный вагон-лохань, в коем привозили свежие фиалки. Расчет Побирушки прост: на вокзале цветы и свежее и дешевле, нежели их покупать на Невском в магазине. Сэкономив трешку, он велел извозчику:

— Теперь на Моховую... дом тридцать один!

Швейцар не хотел открывать двери подъезда.

— Куда в такую рань? Все господа еще спят...

Пришлось сунуть ему в зубы полтинник. Прислуга неохотно отворила перед Побирушкой двери колоссальной квартиры Горемыкиных, занимавшей целый этаж. Из глубины комнат появилась сухопарая грымза в жестком парике, надетом на лысеющую голову.

— Ах, это вы опять, Мишель! — взялась она за виски.— Боже, сколько шуму и звону от вас... Зачем пожаловали?

Побирушка безжалостно рвал фиалки, еще вчера встречавшие рассветы над Ниццей, и лепестками цветов буквально с ног до головы замусорил пересохшую от старости клячу.

— Александра Вановна! — восклицал он при этом.— Вы даже не знаете, как вы прекрасны сейчас... богиня! Афродита! Пусть ваш супруг встает! Его ждут бессмертные дела, и прошу помнить, что я для него сделал... Это неописуемо, феерично! Это...

В дверях уже стоял Иван Логинович Горемыкин, начавший службу еще при Николае Палкине и дослужившийся до царствования Николая Кровавого; раскидистые ветви усов бывалого ловеласа и плута еще с вечера были завернуты в длинные бумажные трубочки, внешне напоминая дешевые уличные вафли.

— Штарый шеловек,— прошамкал он,— и не могу в шобственном доме вышпатша как шледует. Вшякий шукин шын будит...

Андронников, не теряя времени, уже стоял на коленях и осенял старого бабника иконой, изъятой из своего портфеля.

— Россия воскресла! — рыдал он.— Иван Логиныч, велите открыть шампанское... Нет, не встану с колен. Я всегда и всем говорил, что вы достойны... Именно вы! Это фамильная икона... по наследству... самое дорогое, что я имею! Жертвую вам в этот великий день... поприще славы... процветание отечества...

— Шлюшай, Мишка, што ты шумиш шдеш? — обозлился он.

— Вы,— задохнулся Побирушка, изнемогая от творческого вдохновения,— вы стали... стали *премьером* русской империи!

— А куда же денется Сергей Юльевич Витте?

. . . . . .

Витте должен уйти... Человек-глыба с крохотной головкой ужа и с искусственным носом из гуттаперчи (ибо природный нос отгнил сам по себе), Витте был давно подозреваем в связях с «жидомасонскою» тайной ферулой Европы; приятельские отношения с кайзером Вильгельмом II, банкирами-сионистами Ротшильдами и Мендельсонами тоже никак не украшали Витте-Полусахалинского. Витте преступен, но это... заслуженный преступник! Витте проложил рельсы КВЖД. Витте накошелял в Европе долгов, опутав ими русскую экономику, словно цепями. Витте, чтобы долги те вернуть, оковал налогами и народы России. Витте изобрел винную монополию, и кристально-чистая пшеничная водка стала нерушимым фундаментом государственного бюджета. Витте затеял войну с Японией, чтобы война предотвратила революцию. Витте и погасил войну с Японией, чтобы война не мешала царю расправиться с революцией. Левые считали Витте правым, а правые почему-то причисляли к левым. Черносотенцам он казался нетерпим, как опасный либерал, а либералы ненавидели его, как черносотенца... Витте очень долго и упорно доказывал царю, что он, Витте, царизму необходим,— доказывал именно тем, что часто просил у царя отставки. И на этом-то как раз и попался — царь дал ему отставку, дабы показать графу его ненужность. Николай II почти с удовольствием прочел жене последнее виттевское прошение. «Я чувствую себя,— писал премьер,— от всеобщей травли разбитым и настолько нервным, что я не буду в состоянии сохранять то хладнокровие, которое потребно...»

Именно Витте был автором манифеста от 17 октября, последствия которого Романовым предстоит расхлебывать...

Его императорское величество разлил по рюмкам тепловатый смолистый арманьяк. Предложил Горемыкину:

— Иван Логинович, выпьем за ваши начинания, и пусть господь бог продлит ваши веки до Мафусаиловых...

Горемыкину было велено сформировать новый кабинет.

— Ваше величество,— отвечал дряблый, но еще едкий рамолик,— иногда мне начинает казаться, что я вытертая лисья шуба, которая пригодна лишь для дурной погоды. Вот уж никак не думал, что меня снова извлекут из нафталина... Государь! Мне ли, старому псу, дружить с молоденькой кошечкой?

Император отлично понял намек на кошку:

— Но нам предстоит поработать и с Думой...

. . . . . .

За день до открытия Думы императрица тишком пробралась в Тронную залу и набросила на престол государственную мантию мужа, украшенную хвостиками горностаев. Несколько часов подряд с ненормальным тщанием она подбирала распределение складок... Николай II застал супругу за рисованием — на листе бумаги она старательно зарисовывала складки на мантии.

— После тронной речи перед Думой,— наказала она,— ты, Ники, садись на трон осторожненько, чтобы не колыхнуть мантию. Видишь, как удачно расположила я складки на ней? Ты сядь на престол сбоку, не затронув моих складок. Я так задумала: если заденешь складки, значит, мы все погибнем!

...А обыватели на улицах столицы рассуждали:

— С праздничком вас! Как подумаешь, так с ума можно сойти. Кто бы поверил, у нас — и парламент! Почти как в Англии...

8. ПОЧТИ КАК В АНГЛИИ

«Когда дом горит, тогда стекол не жалеют». Этот афоризм принадлежит Дурново, который сидел на посту министра внутренних дел до конца апреля. А за день до открытия Думы его сместили, и в хорошо прогретое кресло уселся черноусый жилистый человек с хищным цыганским взором — Петр Аркадьевич Столыпин, еще вчера губернатор в Саратове, он и сам, кажется, был отчасти удивлен, что за окнами его кабинета течет узкая Фонтанка, а не широкая Волга... Секретарю он сказал — с иронией:

— Любой министр как бульварная газетенка: если два года выдержал, то издание уже прочное и начинает давать дивиденд...

Настало 27 апреля. Еще никогда Зимний дворец не видел столько крестьянских свиток, восточных халатов, малороссийских жупанов и польских кунтушей. Для апреля день был на диво жаркий, почти удушливый. Разбежались пажи-скороходы. Взмахивая сверкающими жезлами, тронулись церемониймейстеры. В сонме ключников-камергеров величественно выступал гофмаршал. Громко хрустели платья придворных дам, осыпанные драгоценностями. Вот пронесли корону с рубином в 400 каратов...

— Амнистии!— долетало с улиц.— Отворите тюрьмы!

Придворный и сановный мир был представлен мундирами разных окрасок. Государственный совет позлащенной плотиной стоял напротив серо-будничной толпы думцев. Величавую картину «единения» дорисовывала публика на хорах. Там разместилась наемная клака, получавшая от Фредерикса по 20 копеек с возгласа «Слава государю!» и по целому рублю на рыло за «стихийный экстаз» в исполнении гимна... Когда молебен, которым на Руси осенялось любое начинание в государстве (даже самое поганое), закончился и духовные отцы отволокли аналой в сторонку, царь по ступеням взошел на трон и лишь на секунду присел на самый краешек престола, стараясь не коснуться складок горностаевой мантии. Фредерикс открыто, никого не таясь, протянул шпаргалку, и Николай II зачитал обращение к депутатам:

— Всевышним промыслом врученное мне попечение о благе отечества побудило меня призвать к содействию в законодательной работе выборных от народа...

Это первая, а вот последняя фраза речи царя:

— Приступите с благоговением к работе, на которую я вас призвал, и оправдайте достойно доверие царя и народа!

Между началом и концовкой лежала гнетущая пустота. Правда была злостно игнорирована. Выражения казенны и беспомощны. Обычное вялое празднословие — ни уму, ни сердцу. Далее по плану должно бы грянуть молодецкое «ура», но случилось непоправимое: Дума молчала. Только на хорах, добывая себе на хлеб и детишкам на молочишко, бесновалась вульгарная клака.

— Империя... больна!— произнес кто-то.

Лишь одна Мария Федоровна, приехавшая из Дании ради открытия Думы, сумела сохранить на своих губах очаровательную улыбку, которой и одаривала всех — левых и правых. Николай II попросту растерялся. От губ его жены осталась лишь тонкая ниточка. С нею случилось то, что уже было однажды в Ливадии,— Алису обрызгало яркими пунцовыми пятнами, побагровели грудь и шея, и уже никакие алмазы не могли скрыть этой краски ярого, животного гнева. Акт церемонии закончился. Настроение царской семьи и свиты было подавленным. Эта злоба комком застряла в горле царя, и два часа подряд Николай, несмотря на все старания лейб-медиков, не мог произнести ни слова — у него образовалась спазма глотки (globus histericus).

Положение не исправил и санкт-петербургский градоначальник, любимец царя, его генерал-адъютант фон Лауниц.

— Ваше величество,— сказал он, испытывая желание припасть на колено,— верьте, что на Руси остались честные люди, которые сумеют умереть при атаке на... Таврический дворец!

Все дальнейшее можно обрисовать одним лишь словом — хаос. После ремонта Таврического дворца в коридорах еще валялись стружки, из углов еще не скоро выметут все опилки. Каждые пять минут, не выдерживая пулеметной скорости речей, за пультами менялись стенографисты. Профессор Муромцев, председатель Думы, с трибуны назвал Николая II (впервые за всю историю России) «конституционным монархом».

В кулуарах Думы бродили сановники, возмущаясь:

— Вы слышали, что там болтают? Почти как в Англии...

. . . . . .

Витте перед отъездом за границу имел прощальную аудиенцию у императора. Министр финансов Коковцев навестил экс-премьера империи, дабы попрощаться с ним.

— Ну, что там этот брандмайор, который спешит на любой пожар и все время закручивает свои немыслимые усищи?

Коковцев понял, что Витте спрашивает о Столыпине.

— Петр Аркадьевич еще не освоился. После саратовского затишья нелегко оказаться в сонме кадетских депутатов. Но одна лишь фраза Столыпина многое в его характере объяснила...

— Какая?— спросил Витте (вежливо-внимательный).

— Когда Дума разбушевалась, стали кричать, что он сатрап, Столыпин поднял над собой кулак и произнес с удивительным спокойствием: «Да ведь не запугаете...» И депутаты сразу притихли: они почувствовали присутствие сильной личности!

Витте долго молчал, голенасто вышагивая между треножниками, на которых были укреплены не поместившиеся на стенах холсты с портретами былых монархов и настоящих. Вдруг он замер возле овального портрета Николая II, писанного придворным живописцем Галкиным, и долго вглядывался в «глаза газели» (глаза царя).

— Это очень плохо кончится... для Столыпина!

От таких слов Коковцев даже дернулся в кресле:

— Почему вы так решили, Сергей Юльевич?

— Ах, милейший коллега,— со вздохом отвечал Витте (и подозвал фокстерьера, чтобы погладить его по мягкой шерстке).— Неужели вы еще не добрались до главной начинки нашего государя? Николай Александрыч не терпит никого, кроме тех, коих считает *ниже себя.* Стоит кому-либо проклюнуться на вершок выше императорского стандарта, как его величество берет ножницы и... подстригает дерзкого! Потому и думаю, что со временем будет острижена и голова Столыпина с его лихо закрученными усами!

— Ну уж...— неловко рассмеялся Коковцев.

Разговор был достаточно честен. Высокие сановники империи умственно стояли выше императора, и оба они, Витте и Коковцев, уже не раз испытывали холодное прикосновение царских ножниц к своим холеным барским шеям. Это неприятное ощущение.

— Император еще не сделал выбора,— сказал на прощание Витте.— Он колеблется и примеривается. Ясно, что большие надежды сопряжены со ставкою на реакцию. Грубую и ничем не зафлерированную. Не исключено, что выбор царя падет когда-либо и на вас, Владимир Николаевич! Но я не желаю вам быть в роли президента этого великого и могучего бардака, называемого Русской империей.

. . . . . .

По столице блуждали слухи, что за рейдом Кронштадта болтаются два миноносца неизвестной национальности. Горемыкин отлично понимал, ради чего он назначен премьером и чего именно ожидает от него царь... Из рассветной мглы к двум загадочным миноносцам подскочили еще два — они бросили якоря рядом, тихо шевеля орудиями и дальномерами. В обществе говорили, что это кайзер Вильгельм II, памятуя о страхе кузена перед революцией, прислал ему свои корабли — на случай бегства Романовых из России! Назревал разгон первого парламента, и царь опасался, как бы народ не ответил на это новым взрывом восстания...

Зато у Горемыкина оказались удивительно крепкие нервы. И чем больше бесновались кадеты, желавшие заполучить министерские портфели, тем отчетливее премьер демонстрировал перед ними свое «горемычное» спокойствие. Они дебатировали, они кричали, а Горемыкин лишь холодно издевался над ними: «Благодарю вас за высказанное мнение, но, пока на Руси существует великий монарх, ни я, ни мы решить ничего не можем». Утром 7 июля, еще не вставая с

постели, Иван Логинович принял врача, и тот вонзил в него шприц с морфием. Премьер оживился. Натянул английские штаны в серую полоску, велел подать мягкие сапожки, чтобы не страдали мозоли. Освежив перед зеркалом свои роскошные усы вежеталем, он попросил жену сунуть в портфель ту икону, которую преподнес ему Побирушка-Андронников.

— Все равно,— сказал,— она ничего не стоит...

С этой иконой он отъехал в Петергоф; стояла страшная духотища; в тучах копились грозы. Николай II принял презуса после купания в Баболовской ванне, волосы царя были еще мокрыми. Красная рубашка-стрелка делала его похожим на богатого сельского лавочника... Горемыкин, воздев над собой икону, плавно опустился на колени, а Николай II бросился его поднимать.

— Нет, не встану!— твердо заявил Горемыкин.— В моих руках самое дорогое, что имею. Это наша фамильная икона, и на ней я клянусь, что не встану с колен до тех пор, пока вы не решитесь ампутировать вредный член, мешающий в первую очередь вам... Государь, подпишите указ о разгоне Думы!

Николай II тихо заговорил. Он высказывал боязнь, что подобный акт насилия может снова оживить работу вулкана революции, который после недавнего извержения еще курился дымом, изредка выбрасывая кверху яркие вспышки огня и камни...

Горемыкин потрясал над собою иконою Побирушки.

— Ваши страхи напрасны!— взывал он.— Народ не поднимется, чтобы спасать Думу, это жалкое исчадье виттевского манифеста. Поверьте мне, старику: *даже кошка не шевельнется...*

— Встаньте с колен, милый Иван Логинович.

— Не встану, пока не подпишете.

— Мне неудобно перед вами. Прошу вас, встаньте.

— Подпишите указ — тогда поднимусь...

Горемыкин выхватил указ из-под пера государя и быстро убрался в Петербург, а дальше начались чудеса (почти как в Англии). Опасаясь, что царь по слабости характера может передумать и не разгонит Думу, премьер тут же, прямо с вокзала, отправил указ в Сенат — для распубликования его по стране, а сам покатил к себе на Моховую. Начальнику своей канцелярии Горемыкин посоветовал ехать к Кюба и напиться как следует:

— Чтобы ничего не помнить «для истории и мемуаров».

Дома он первым делом взял ножницы и обрезал провода телефона, после чего созвал в спальню домочадцев и прислугу.

— Предупреждаю!— объявил твердо.— Телефон уже не брякнет. Но могут прибегать курьеры от императора. Я принимаю большую дозу опия. Горе тому из вас, кто нарушит мой сон... Двое суток я буду спать! Всего хорошего... до свиданья...

Горемыкин проснулся, когда Думы уже не существовало. И никто не строил на улицах баррикад. Было тихо-тихо.

— Я же был прав: даже кошка не шевельнулась...

К нему вошла жена — вся в слезах:

— Ты все проспал и ничего не знаешь. Отблагодарили, называется! Так старался, все для царя сделал, а он тебя, благо ты дрыхнешь, уже выгнал... Радуйся: ты больше не премьер.

— Пардон, а кто ж теперь, если не я?

— *Столыпин!* Кому же еще?

9. ДУРАКАМ ВСЕ В РАДОСТЬ

Григорий Ефимович Распутин, крестьянин Тобольской губернии, после субботнего посещения баньки, чистый и опрятный, не сквернословя и не похабничая, скромнейше сидел у себя на Караванной и даже водки не пил, а хлебал с блюдца чаек с конфеткой, как вдруг, откуда ни возьмись, влетел незнакомый генералище с серебряными погонами — и сразу к нему:

— Это ты, в такую тебя мать, Распутиным будешь?

Григорий Ефимович деликатно водрузил блюдце на стол, вежливо поднялся со стула и почтительно ответствовал:

— Ну, я... Дык што с того?

Генерал — хрясть его по зубам, так что нижние клыки за верхние зацепились, и, мелькнув в дверях красной подкладкой шинели, тут же удалился. Распутин был крайне удивлен:

— Эва! И чайку не дадут попить спокойно...

Выяснилось, что визит вежливости нанес генерал-профессор Военно-медицинской академии Вельяминов, автор научной монографии «О вылущении прямой кишки с предварительной колотомией». Кишка-то здесь и ни при чем, а все равно обидно... еще как обидно-то! Распутин долго переживал последствия этого визита:

— За што он звонаря-то мне сунул? Прямо чудеса на постном масле. Я ж его и знать не знаю. Ежели он дохтур какой, так я же не больной. Рази так можно? Прискакал. Спросил фамилиё. И вдруг — бац! Мое почтеньице... уважил по всем статьям!

Ясность в этот вопрос внесла Мунька Головина:

— Господи, как ты не поймешь, Григорий? Вельяминов уже много лет в любовниках Милицы Николаевны, и, конечно, ему, генералу и дворянину, неприятно, что она с тобой христосуется...

Распутин заварил свежий чай — покрепче:

— Что у вас тут в Питере за дикий народ собрался! Добро бы я у Вельяминова жену отбил. Так нет же! Он сам законную жену от великого князя Петра отклеил...

Восторгову он потом жаловался — даже с обидой:

— Ты вот меня попрекаешь, быдто я живу неправедно. А скажи по совести — рази я виноват? Я никого из растократов хужей, чем они были, не сделал. Они ишо до меня порчены. Так почему, спрашивается, я должон Осипа Прекрасного из себя корчить? Хошь мою портянку нюхать — так нюхай! Коли дура какая желает меня в бане помыть — так мой себе на здоровье... Мне-то што?

Это было веско сказано, и Восторгов не нашелся что возразить. Гришка входил в славу — с его именем связывали свои честолюбивые планы не только Вос-

торгов, но и сам Феофан, сам Гермоген. Распутин же шел своим путем и себя-то не хотел ни с кем связывать: Гришка уже осознал свою силу. Медленно и неотвратимо он приближался к престолу. Не было только зацепки, чтобы, раскачавшись, совершить последний прыжок. Ему вскоре помогло психическое состояние императрицы.

. . . . . .

К этому времени Бехтерев, великий знаток глубин души человека, уже отступился от лечения Александры Федоровны, полагая, что дурная наследственность, помноженная на мистические психозы, делает ее неизлечимой. Она еще не сумасшедшая, но и нормальной назвать ее трудно. Наряду с разрушенной психикой в ней бились и четкие импульсы твердой воли. Императрица была *целеустремленной психопаткой*... Но были и такие периоды, когда Николай II даже изолировал детей от матери. Его положение как императора тоже было ненормальным: болезнь жены следовало скрывать от придворных, от министров... даже от лакеев! Очевидец пишет: «Было испробовано все, что могли дать богатство и власть. Держали в Вилла-Франке яхту для изоляции царицы на море, строили в Крыму дворец для изоляции ее на суше. Александру интернировали за решетками замка Фридберг близ Наугейма. Осматривали больную светила мировой медицины, молились о ней архипастыри всех церквей, общее сочувствие родного ей немецкого народа могло быть полезно как успокаивающее средство. Но ничто не помогало!» Помимо страсти к обаятельному наркоману Орлову императрица испытывала почти лесбиянскую привязанность к Анне Танеевой; иногда во время плавания на «Штандарте» она нервно требовала, чтобы подругу срочно доставили на корабль. Николай II посылал за фрейлиной миноносец, который на предельной скорости врывался в Неву, подхватывал с набережной Анютку и спешил обратно в финские шхеры. Царица успокаивалась.

В сферу постоянно ранящей возбудимости скоро попал и сын. Каждая мать любит свое дитя, и никто не осудит мать за эту любовь. Но даже в любви к сыну Алиса была предельно эгоистична. Это было какое-то патологическое обожание, неизменно связанное с мистическим ужасом. Во время революции, схватив маленького Алексея, царица в панике металась по углам дворца. За ней следили, боясь, что она спрячет наследника где-нибудь в таком месте, где его никто не сможет найти... Потом она перестала раздеваться на ночь. Заядлая лежебока, теперь она сидела на постели. Сидела не как-нибудь, а в дорожной ротонде и в шапке, держа возле себя саквояж с драгоценностями. «Аликс, что ты делаешь тут в потемках?»—«Разве ты не видишь, что я еду».—«Ты... едешь? Куда же ты едешь?»—«Пора бы уж знать, Ники,— отвечала она мужу,— что у меня есть единственная дорога — до родного Фридрихсбурга...» Она-то требовала от царя, чтобы он ради ее успокоения пролил моря народной крови, то вдруг отупело застывала с вытаращенными глазами, недвижимая, словно истукан. *Под глубоким секретом* из Москвы был вызван опытный невропатолог Григорий Иванович Россолимо — образованнейший человек, близкий друг Чехова, Станиславского и Левитана.

Он потом рассказывал, что там творилось:

— Я нашел императрицу в состоянии животного ужаса. Никогда до этого не видав меня, она вдруг кинулась целовать мне руки! Никого не узнавала, постоянно рыдая. Просила, чтобы я вернул ей сына... Чепуха какая-то! Ведь наследник находился в соседней «игральной» зале. Я потребовал удаления больной из привычной для нее обстановки. Настаивал на клиническом содержании. «Что это значит?— возмутился Николашка.— Уж не хотите ли вы, чтобы я посадил ее в бедлам?» Меня выгнали. Потом царицу *тайно* вывозили в Германию, которая действовала на ее психику благотворно. А вскоре появился и Гришка Распутин, после чего помощь медицины уже не понадобилась. Я врач-психиатр, все-таки, как-никак, профессор медицины... Я далек от мистики, но даже я вынужден признать, что этот темный мужик обладал немалой силой внушения. В нем была какая-то особенность, которая властно парализовала волю не только женщин, но иногда действовала даже на крепких мужчин. Я знаю, что Столыпин влиянию Гришки не поддался. Он стал врагом его и на этом сломал себе шею...

. . . . . .

Средь великих князей и княгинь всегда блуждаешь словно в дремучем лесу: тетя Минни и дяди Алек, Даку и Сандро, Эрни и Элла, Влади и Николаша, Тинхен и Минхен, Мавра и Стана... Но каждая ветвь Романовых жила обособленно, словно рыцарский клан, со своими притязаниями, со своими традициями. Между ними не было тех простосердечных отношений, какие бывают средь дядей и племянниц, средь бабушек и свояков. Алиса вообще — раз и навсегда!— отвадила родственников шляться во дворец, а теперь сама жаловалась: «Вот уже десять лет я живу одна, как в тюрьме...» Дольше всех удержались при ней сестры-черногорки, но за явную склонность к сводничеству их тоже попросили быть от Александрии подальше. Поправить свое положение при «большом» дворе они могли только через Анютку Танееву, и Милица активно взялась за очередную интригу, играя таким крупным козырем, каким был в ее руках Гришка Распутин... В один из дней она пригласила Танееву в свой дворец на Английской набережной.

— Аня,— сказала Милица,— только прошу тебя ничему не удивляться. Еще недавно я, глупая, целовалась с мужчинами. А теперь я лишь христосуюсь с ними, и, поверь, это ничуть не хуже!

В длинном белом хитоне античной весталки, перекинув через смуглое плечо черную шаль, Милица плавно подвела Анютку к книжному шкафу. Для возбуждения любопытства показала ей редкое собрание книг по мистике и оккультным наукам.

— Бывают люди (их очень мало на земле), которые одарены свыше. Вспомни Тихона Задонского, как и мы, ходил по земле, ел и спал, а по смерти освятился. Но есть личности, вроде Григория Распутина, святость которых раскрыта еще на земле. И все мы, грешные и жалкие, имеем радость видеть его среди

нас. Можем христосовать свои уста с его устами. Лицо с такой магнетической силой, как Григорий, является на земле один раз в тысячу лет. Мы не доживем до этого времени, Анечка, когда наши потомки будут славить Распутина, как сейчас мы славим Христа!

Милица распахнула дверь, ведущую в соседнюю залу. А за этой дверью, молитвенно сложив руки, давно стоял Распутин.

— Здравствуй, доченька,— сказал он весело.— Я тебя давно ждал и все спрашивал бога: когда ж ты явишь мне Анюточку?

Моментально он оглядел ее всю. Массивна, как тумба. Не красавица. Очень бледная. Лицо как тарелка. Ярко-малиновый ротик собран в гузку. Глаза — два голубеньких бантика. Выражение лица часто менялось — ускользающее, обманное. То вдруг на нем отражалось ненасытное беспокойство и внимание к окружающему, то появлялась почти монашеская суровость... Сейчас от сознания, что она видит святого здесь, на земле, и может потрогать его и почувствовать, Анютка умилилась, а Милица спросила ее:

— Видишь, как все хорошо и все просто?..

Взявшись за руки, они втроем, будто дети, стали гулять взад и вперед по залу, и Анютке было даже стыдно, что она не может попасть в ногу с Милицей и Григорием. Потом Распутин гладил ее по голове и спрашивал задушевно:

— Живешь-то как? Папа с мамой не забижают?

Она заговорила о родителях, но он засмеялся:

— Я тебя ведь о царе и царицке спрашиваю...

Анютка призналась, что она уже невеста.

— А жених-то хорош ли?— серьезно спросил Гришка.

Жениха ей подобрала сама царица. Это был лейтенант флотского экипажа Александр Васильевич Вырубов, служивший в походной канцелярии самого императора. Но она плохо его знала.

— Скажи, отец, выходить ли мне за Вырубова?

— Ты божья, а не флотская... Не уживешься!

— Почему, отец, я не уживусь с мужем?

Распутин сразу померк лицом, закрыл глаза...

— *Я так вижу,*— отвечал глухо и загробно...

Милица Николаевна уже созвала гостей, обещая «угостить» их Распутиным, и гости сбежались охотно, словно их позвали на жирного угря, привезенного из Пруссии, или на смотрины редкого заморского фокусника... Распутин подал Анютке руку.

— Пойдем к столу,— сказал.— Я мадерцы выпью. Уж больно полюбил я мадерцу. Говорить стану. Послушаешь меня...

Широко и свободно уселся он за великолепный стол. Держал себя вольготно и независимо. Заметив, что́ напротив него расположился чиновник особых поручений с университетским значком на лацкане фрака, Распутин поморщился — как от клюквы.

— Нехороший ты человек,— заметил он ему спокойно.— Суеты в тебе много. Ну да ладно... сиди уж, коли пришел!

Понимая, что за ласку да мадеру надо платить душеспасительными речами, Гришка сразу завелся в проповеди:

— Грешите, но покайтесь. Покайтесь и опять грешите. Господь для того и подпущает нам искушеньицев разных, чтобы мы от греха вкусили. Какое первое слово истины принес Христос людям? «Покайтесь!»— сказал он им. А пошто он так сказал? Да потому, что Христос знал, какой свинарник разведут люди. Но как же каяться, ежели я ишо не согрешил? Вот тута многие и спотыкаются... Поняли?

— А чего тут не понять?— за всех ответил носитель университетского значка на фраке.— В конце концов, подобные софизмы далеко не новы в истории человеческого сознания. Еще в древней Лаодикии такую же галиматью проповедовала одна заурядная фригийская секта. Здесь уместно вспомнить и еретика Монтануса! На заре нашей философии Монтанус подобно вам, Григорий Ефимыч, излагал такие же догмы красивым патрицианкам и... Не знаю, как вы, Григорий Ефимыч, но Монтанус достигал от дам немалых живых и практических результатов!

Распутина затрясло. С толком ответить оратору он ничего не мог, ибо ни черта не понял.

— Энтого гугнявца нашто сюды позвали?— зарычал он.— Я слово божье несу, а он... Не буду есть! Не стану пить!

Вызвав ужас в лице Милицы Николаевны, он круто и четко печатал шаги к дверям, злобно выкрикивая проклятья:

— Мозгляк, щелкопер поганый! Думаешь, коли хвостатку надел, так ты мужика умнее? Врешь, собака! Анахтема... Не меня — ты Христа во мне оскорбил. Вот завтра под трамвай угодишь, тады умней станешь... Я твоих наук не ведаю — мне бы по-божески!

В дверях обернулся и цепким взглядом вызвал на себя лучистое сияние анютиных глазок «божьей невесты» Танеевой.

— *Завтра,*— сказал он и саданул дверью...

Милица Николаевна разрыдалась.

— А все вы... вы!— кричала она на чиновника с образованием.— Зачем стремитесь ученость свою показывать, когда и без того уже все давно ясно... Это, наконец, невежливо!

На следующий день Анютка случайно встретилась с Распутиным в вагоне дачного поезда, едущего в Царское Село; он был с какой-то нарядной дамой, но тут же пересел к Танеевой.

— Я ж тебе сказал вчера, что сегодня повидаемся...

И тут последовало окончание черногорской интриги! Милица Николаевна *проиграла свою самую крупную игру.* Сводя царскую фаворитку с Распутиным, эта продувная бестия не учла того, что после знакомства с Анюткой она сама делается уже ненужной для Распутина, ибо путь к престолу через Анютку был для Гришки намного короче и надежней... Ударил гонг — Царское Село!

. . . . . .

Предупреждаю, что при всей своей коровьей внешности Анютка не была слезливой дурочкой, в ее душе немало отбушевало страстей, и порою она мастерски владела интригой. Про таких, как она, в

народе говорят: себе на уме! Поздним вечером, когда царскосельский парк шелестел ветвями тоскливо и жутко, в Александрии императрица тосковала заодно с подругой. Между ними сложились уже такие отношения, что Анютка называла царицу Саной...

— Сана, мы давно с тобой не музицировали!

Алиса небрежно листанула на пюпитре нотные листы:

— Хочешь вот эту сонату? В четыре руки...

В старинных жирандолях, помнивших еще блестящий век Екатерины II, когда они освещали напудренные головы Дени Дидро и принца Жозефа де Линя, медленно оплывали ароматные свечи (электрический свет раздражал царицу). Четыре женские руки скользили над матовыми клавишами. Музыка не рвалась ввысь, а сразу от струн расползалась по полу, словно боясь вспугнуть тишину этого тоскливого вечера, в котором уже чуялось нечто неизбежное и роковое... Неожиданно Танеева сняла пальцы с клавиш.

— Сана, а ты еще ничего не почувствовала?

Императрица зябко поежилась под шалью.

— Мне как-то не по себе,— призналась она.— Только не надо пугать меня напрасно, Анхен...

— Повернись, Сана, и ты все поймешь!

Алиса обернулась и в ужасе отпрянула:

— Кто этот человек? Как он сюда попал?

Прямо на нее из мрака соседней комнаты неслышно двигался костистый мужик в бледно-голубой рубахе, в широких плисовых штанах, заправленных в лаковые сапоги. Лицо его по форме напоминало яйцо, перевернутое острием вниз, в обрамлении длинных волос, разделенных пробором и лоснившихся от лампадного масла. Узкая борода еще больше удлиняла это лицо, а из хаоса волос едва проступала узкая полоска губ, сжатых в страшном напряжении. Из полутьмы, притягательно и странно, чуть посверкивали его жидкие глаза, из которых, казалось, сочится что-то ужасное... Распутин подошел и встал рядом с императрицей, которую уже трясло в приступе нервного возбуждения. Анютка говорила ей:

— Сана, не бойся, это ведь Григорий... Он добрый и ничего худого не сделает. Доверься ему, как мне, Сана!

Распутин молчал. И вдруг легко, словно перышко, подхватил царицу на руки. Носил ее по комнате, гладил и шептал:

— Да успокойся, милая... Ишь, дрожишь-то как! О хосподи, пошто ты, мама моя, пугливая такая? Все люди родные...

Александра Федоровна бурно разрыдалась и обхватила его руками за шею. Она плакала. Она плакала и просила:

— Еще, еще! Носи меня... Ах, как приятно...

Гришка на одно мгновение обернулся. Один глаз был прищурен, а другой опалил Анютку кровавым отсветом.

— Цыть!— сказал он ей.— Пошла вон отсюда...

. . . . . .

А был ли Распутин в близких отношениях с императрицей?

Сразу после революции 1917 года в этом никто не сомневался, и лишь одни монархисты с пеной у рта стремились доказать обратное. Потом этот вопрос стали пересматривать. Поговаривали, что близких отношений не было. И не потому, мол, что этого не хотела императрица, а как раз оттого, что сам Распутин не захотел их! «Он не злоупотреблял силой своего влияния в отношении царицы. Инстинкт, здравый смысл, проницательность подсказывала ему самоограничение...»

Как же было на самом деле? Я не скажу.

Но вот передо мною письмо императрицы к Распутину.

Пусть читатель сам сделает выводы:

«*Возлюбленный мой...* Как томительно мне без тебя. Я только тогда душой покойна, отдыхаю, когда ты, учитель, сидишь около меня, а я целую твои руки и голову свою склоняю на твои блаженные плечи. О, как легко мне тогда бывает! Тогда я желаю все одного: заснуть, заснуть навеки на твоих плечах, в твоих жарких объятиях. О, какое счастье даже чувствовать одно твое присутствие около меня...»

10. БОМБА В ПОРТФЕЛЕ

В аптеках тогда продавали не только аспирин. Вот отличное лекарство — от всех болезней, почти панацея. Красное клеймо рецепта способно взбодрить даже умирающего: «ГРЕМУЧИЙ СТУДЕНЬ. Екатерининский завод акционерного общества Б. И. Винер. Динамит и зажигательные шнуры 190 г. Состав: нитроглицерин 83%, пироксилин 5%, селитра 10%, целлулоза 2%, итого 100%». Понятно, что департамент полиции работал в это время с полной нагрузкой и... заработался, сердешный! Столыпин внимательно выслушал доклад жандармов о том, что ему следует бояться высокого блондина с иностранным акцентом.

— Благодарю!— отвечал премьер без иронии.— Догадываюсь, что своей смертью мне умереть не дадут. Я только еще не знаю, с какой стороны полетят в меня пули — слева или справа?

Сказано не в бровь, а в глаз. Ведь в такие подлые времена можно ждать смерти и от собственного альгвазила!

Министру иностранных дел Извольскому было доложено:

— А с вами проще! Вы должны бояться женщины восточного типа. Проходит у нас по картотеке под кличкою Принцесса. Безумной красоты. Одевается светской дамой. Свободно владеет французским и английским. Предпочитает работать браунингом.

Извольский (шутник) вкинул в глазницу монокль.

— А если я заведу с ней романчик? Приглашу к Донону? Ведь я интересный мужчина. Может, меня она и пощадит?..

Новому премьеру досталось гиблое наследство. В провинции творилось что-то ужасное. Губернаторы ездили под конвоем казаков, кричавших прохожим: «Руки вверх! Мордой к стен-

ке!..» Дело дошло до того, что в Одессе градоначальник Каульбарс, боясь выходить на улицу, совершал вечерние моционы по крышам. За печными трубами сидели стражники, окликая: «Стой, кто идет?»— «Идет генерал Каульбарс!» Гремела кровля под ногами генерала.

Да, страх был велик. Сейчас перед Столыпиным — стол, а на столе — бумага, еще чистая, чернильница, еще закрытая, и слабенькое перышко... Как эти предметы бессильны сейчас! Даже он понимает это — он, совместивший в своей персоне две самые видные государственные должности: премьера империи и министра внутренних дел. Устраняя с политического горизонта первую Думу, царь не уничтожил самого закона об учреждении Думы, и теперь на совести Столыпина лежал созыв второй Думы, назначенный на 20 февраля 1907 года. «Верим,— восклицал Николай II, прихлопнув первый русский парламент,— что явятся новые богатыри мысли и дела...»

— Так они и стоят за дверью,— бормотнул Столыпин.

Он тряхнул в колокольчик, вызывая секретаря, машинально глянул на разворот календаря, отметив дату: 11 июля 1906 года.

— Телеграмма по губерниям, записывайте, диктую... «Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены. Действия незакономерные и неосторожные, вносящие вместо успокоения озлобление, нетерпимы... Старый строй получит обновление!» Записали? Восклицание! Дата: одиннадцатое июля сего года. Отправляйте...

К нему в кабинет затерся генерал Курлов, который стал намекать, что не прочь быть петербургским градоначальником.

— Но здесь градоначальствует фон Лауниц.

— Вы же знаете, какие сейчас времена,— отвечал Курлов.— Сегодня есть Лауниц, завтра, глядишь, уже и нет Лауница!

— Это скоро закончится,— заверил его Столыпин, подразумевая террор, и прямо отказал генералу в своей протекции.

— Тогда... тюремный комитет,— клянчил Курлов.— Знаете, там одни немцы. Окопались колбасники, рвут командировочные до Сахалина. По-русски — едва-едва! А я в тюрьмах — свой человек. С любым громилой душа в душу... блатной язык знаю!

Столыпин думал: «Странные типы окружают меня».

. . . . . .

Сейчас ему было 44 года... Человек еще крепкий. Молодцеват. Всегда при галстуке. Воротничок с лиселями. Кончики усов залихватски вихрились, вздыблены. Столыпин выделялся из толпы, был чрезвычайно колоритен. Именно он составлял сейчас фон власти, на котором фигурка Николая II казалась мелкой и жалкой, словно карикатура на самодержавие. Петр Аркадьевич Столыпин был реакционен до мозга костей, но порою он мыслил радикально, силясь разрушить в порядке вещей то, что до него оставалось нерушимо столетиями. Карьера Столыпина вписывалась в русскую историю звончато, как мелодия гвардейского марша. Этот реакционер был цельной и сильной натурой — не чета другим бюрократам; угловатая и резкая тень Столыпина заслоняла царя, терявшегося в неуютных сумерках бездарности... Задерганный в семье, запуганный страхами, Николай II чаще, чем это следовало бы, прикладывался к бутылкам.

Николая тянуло в море, в тихие шхеры Бьёрке, подальше от публики. Столыпин имел в распоряжении миноносец, который забирал его прямо с дачи на Аптекарском острове. После жестокой вибрации узкого железного корпуса было приятно ступить на желто-матовую, будто слоновая кость, палубу императорского «Штандарта». В честь премьера торжественно пели корабельные горны. В салоне он деловито раскладывал перед царем бумаги для доклада. Доброжелатели уже предупредили, что за тонкой переборкой его будет слушать и царица...

Начиналось дело — государственное дело:

— Ваше величество, вы напрасно изволили столь легкомысленно заметить генералу Драчевскому, что при погроме в Ростове-на-Дону мало убито евреев. Драчевский — это вам не Спиноза, сами знаете, и он понял вас так, что не сумел добить до желаемого вами процента. Кстати, обращаю ваше высочайшее внимание: «Россия» и «Московские ведомости», эти главные органы национализма, призывающие «бить жидов — спасать Россию», имеют своими главными редакторами... двух евреев! Позволительно ли это с точки зрения моральной этики в государстве?

— Вот пусть жиды сами и разбираются...

За выпуклыми иллюминаторами «Штандарта» море плоско и тихо покачивало воду, на которой играли солнечные зайчики.

— В чем суть всего?— заговорил премьер с напором, словно проламывая бездушную стенку.— Если мы хотим видеть Россию великой державой, если мы верим в обособленность исторических путей развития русской нации, то мы должны круто изменить главное в нашей стране...— Кто у нас дворянин-помещик? Это дрэк,— сочно выговорил Столыпин.— Это, если угодно, брак чиновного аппарата. Это отбросы департаментов и помои канцелярий. Бюрократия их отвергла. Им нечего делать в городах. Вот они и живут с земли, которую сосут, угнетая крестьян. Мужика же мы сами связали круговой порукой. Один трудится в поте лица, имея от трудов кукиш. Другой пьянствует и тоже имеет кукиш. Но пьяница и бездельник одинаково пожирают плоды трудов работящего крестьянина... Этих сиамских близнецов надо разделить!

Пауза. Столыпин выждал, как отреагирует царь.

— В любом случае это недурно сказано вами...

Тогда премьер продолжил:

— Вся наша беда в том, что мужик уже не представляет землю *своею.* Столетьями над ним довлело общинное землевладение... Я делаю ставку на сильных! Слабый, ленивый и спившийся пускай подохнет — мне плевать на его прозябание. Мне нужен

крепкий, деловитый и хитрый мужик-труженик, мужик-накопитель. Это будет русский фермер на единоличном хозяйстве, на закрепленной за ним земле, по примеру Американских Штатов...

— К чему это вам, Петр Аркадьевич?— спросил царь.

— Это не мне, а — *вам*, ваше величество!— дерзко парировал Столыпин.— Я как помещик в этом варианте сам много теряю. Но как дворянин я обретаю рядом со своим имением хутор кулака, который станет моим добрым союзником... Давно пора раздробить славянофильскую общину и дать мужику землю: возьми, вот это *твое*! Чтобы он почуял вкус ее, чтобы он сказал: «*Моя* земля, а кто ее тронет, на того я с топором пойду...»

— Забавно рассуждаете,— хмыкнул Николай II.

Столыпин на комплименты не улавливался:

— Не забавно, а здраво... Вот тогда в мужике проснутся инстинкты землевладельца, и все революционные доктрины разобьются о могучий пласт крестьянства, как буря о волнолом. Жадный мужик — хороший мужик, ему и карты в руки...

Мимо, разводя буруны, прошел тральщик, и «Штандарт» раскачало, он дергал цепи якорей, лежащих под ним на дне моря.

— Петр Аркадьевич,— отвечал царь, когда качка утихла,— ведь это не так-то просто... Это уже реформа. Аграрная реформа! Ломка вековечного уклада жизни. Тут и с вилами пойдут.

— С вилами, но не с бомбами! Овчинка стоит любой выделки, ваше величество. Я тоже, как и вы, хочу спать в России спокойно. Грош всем нам цена, если мы боимся ступить на путь реформаций. Согласен, что будет больно. И затрещат кое-где косточки. И побегут с воплями обиженные и несчастненькие. Но *так надо*...

Когда миноносец, приняв на борт Столыпина, растворился в туманной пелене вечернего моря, в царском салоне появилась Александра Федоровна с вязанием в руках:

— Ники, почему ты позволяешь своему презусу так с тобой разговаривать? Он ведет себя попросту неприлично.

— В чем же это выразилось, Аликс?

— Странно, что ты сам этого не замечаешь... Развалился перед тобой в кресле, хватает со стола твои папиросы, а говорит в таком тоне, будто он — учитель, а ты перед ним — школьник.

— Я этого не почувствовал,— отвечал царь жене.— С другой стороны, не ходить же ему по струнке! Все-таки... премьер.

В костлявых пальцах императрицы быстро сновали вязальные спицы, и слова ее текли, как пряжа.

— Даже этот мерзавец Витте был куда как вежливее,— зудила она как муха.— Помнишь, здесь же, в Бьёрке, когда ты соизволил дать ему титул графа, он четырежды кидался на колени, жаждая поцеловать твою руку... Не забывай, Ники, что ты царь, ты самодержец, а барин Пьер Столыпин лишь твой верноподданный. Мог бы он и постоять в твоем присутствии!

— Столыпин производит на меня приятное впечатление.

Император, вздохнув, направился к трапу.

Поднявшись в буфет, он стал пробовать сорта портвейнов. «А что, если Столыпин и правда метит в русские Бисмарки?»

Качало яхту — качало и царя.

. . . . . .

Депутат Муханов рассказывал, что не слышал взрыва и в абсолютной тишине оказался сброшен со стула. Не потеряв сознания, он тут же поднялся, пораженный внезапно наступившей ночью. Тьма возникла от грязной штукатурки, которая в мгновение ока превратилась в мелкий черный порошок, и дышать стало невозможно. А рядом с собой Муханов заметил фигуру церемониймейстера Воронина, спокойно стоявшего возле стены. Человек высился совершенно неподвижно, только у него недоставало одной детали... головы!

Это случилось 12 августа на Аптекарском острове столицы, где размещалась дача Столыпина. Во время приема просителей и чиновников к дому подкатило барское ландо, из которого вышли трое, неся портфели. Двое из них были в форме офицеров. Дежурный жандарм слишком поздно заметил неладное:

— Держите их... у этого борода наклеенная!

Эсеры-максималисты с возгласами:

— Да здравствует свобода!— шмякнули под ноги себе портфели с бомбами, и они же первыми исчезли в огне и грохоте.

Министр иностранных дел Извольский прискакал на Аптекарский раньше всех. Возле крыльца дачи в ужасных муках умирали лошади, из хаоса стропил и балок, средь кирпичей и обломков мебели торчали руки, головы и ноги людей. Тихо капала кровь. Кричали из развалин придавленные и умирающие. Извольский нашел Столыпина в садовом павильоне. Премьер сидел за чайным столиком, врытым в цветочную клумбу, и — бледный — жадно курил папиросу. Папироса, как и пальцы его, была словно покрыта красным лаком.

— Нет,— отвечал Столыпин,— я даже не ранен. Это кровь моего сына, которого я своими руками откопал из развалин. Жена цела тоже, но вот Наташа... ей лишь пятнадцать лет! А ног нет — одни лохмотья. Вот жду! Из академии вызвали Павлова...

Максималисты хотели убить премьера, но он остался невредим. В единой вспышке взрыва погибло свыше 30 и было изувечено 40 человек, не имевших к Столыпину никакого отношения. Умерли в муках фабричные работницы с большим трудом добившиеся приема у председателя Совета министров по своим личным нуждам.

Террор не убавил людского горя на земле.

Террор лишь усилил людское горе на земле.

Приехал на автомобиле знаменитый хирург Павлов, на траве перед домом осмотрел дочь Столыпина и сказал кратко:

— Увозим ее! Без ампутации не обойтись...

На лужайке пожарные раскладывали трупы, вид которых был страшен. Сила взрыва оказалась столь

велика, что деревья вдоль набережной Невы вырвало с корнем, а на другой стороне реки в дачных виллах богачей высадило все стекла из окон.

— А я даже не оглушен,— удивлялся Столыпин.— Вот после этого и не верь в высшее провидение...

Николай II поборол в себе обычное равнодушие к чужим бедам и вечером того же дня нашел случай выразить Столыпину самое сердечное сочувствие. Он обещал, что лучшие врачи столицы приложат все старания, дабы спасти ему дочь и сына. А на прощание его величество подложил премьеру хорошую грязную свинью:

— Петр Аркадьич, извините, что в такой тяжкий для вас момент обращаюсь с просьбой... Мне, поверьте, стало уже неловко отказывать в прошениях о смягчении смертных приговоров. Вы как премьер не возьмете ли и эту обязанность на себя?

— Возьму,— ответил Столыпин.— Нас не жалеют, я тоже не стану жалеть. Кому суждено висеть, тот у меня нависится!

— А себя вы должны поберечь,— сказал ему царь.— На квартире министра вам оставаться опасно. Зимний дворец как раз пустует. Берите семью и занимайте мои апартаменты.

Отныне император сдавал Зимний дворец на прожитие своим министрам — поквартирно, словно это был доходный дом. Ночью Столыпин сидел на царской постели, слушал, как в соседней комнате дворца кричит его дочь Наташа, которой врачи ампутировали ногу. Возле жены мучился от боли раненый сын.

За окнами по черному небу неслись черные облака.

Столыпин вдруг ослабел, его плечи затряслись от глухих, судорожных рыданий. Слезы заливали ему лицо.

— Лучше бы меня... меня!— выкрикивал он.— Наташа ведь совсем девочка. Как жить ей дальше... безногой! О господи! Да ведь разве я в чем-либо виноват?

Утром он — бледнее смерти — снова закрутил усы.

— Карету мне, черт побери... карету!

Под конвоем конных жандармов премьер поехал из дворца на свою городскую квартиру, где состоялся сбор всего столыпинского кабинета. Министры смотрели на него почти с ужасом. Скулы перекатывались под цыгански смуглой кожей лица премьера, а глаза его ввинчивались в пустоту как шурупы. В энергичных выражениях Столыпин сказал, что вчерашнее покушение, едва не лишившее жизни его самого и его детей, ничего не изменяет во внутренней политике российского государства.

— Мой поезд с рельсов не сошел!— заявил Столыпин.— Террористам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия... Моя программа остается неизменной: жесточайшее подавление беспорядков, разрешение аграрного вопроса, как самое неотложное дело империи, и выборы во вторую Думу, которая должна явить новых богатырей мысли и дела... Господа!— закончил он почти вызывающе.— Подражайте мне!

. . . . . .

И опять ночь в царском дворце. Снова крики искалеченной девочки за стенкой. Кто-то бубнит, бубнит, бубнит... «Откуда этот дурацкий бубнеж?» К нему подошла заплаканная Ольга Борисовна, урожденная Нейдгардт, на которой он женился без любви. Просто, когда умирал тяжко раненный на дуэли старший брат, он всунул руку своей невесты в его руку и взял слово, что он будет Ольгу любить... Жена сказала:

— Пьер, надо бы ему заплатить. Он там молится.

— Кому платить? И кто там молится?

— Распутин молится. Старец!

— Распутин? А кто это? И зачем он здесь?

— Сама не знаю. Какой-то мужик. Противный. Но с запиской от государя императора. Его величество выразил желание, чтобы Распутин помолился у постели нашей несчастной Наташеньки... Вот уже два часа стоит на коленях. Мычит. Странный такой!

— Ну дай,— отмахнулся Столыпин от жены.— Не знаю, сколько в таких случаях давать... Дай ему весь червонец, только бы он больше не бубнил за стенкой. И без того тошно! Коли нога ампутирована, так тут, сколько ни молись, новая не вырастет...

Распутин ушел от Столыпина сильно обиженный. Он уже привык к вниманию высших особ и сейчас не понимал: как это премьер не пожелал его видеть, не захотел с ним побеседовать. Мунька Головина, узнав об этом, тоже возмущалась:

— Барин Пьер рубит сук, на котором бы ему и сидеть!

Феофан в эти дни предупредил Распутина:

— Ты, Гриша, к царям часто не ползай.

— А чо?

— Двери скрипеть станут...

11. ЛАМПАДНЫЙ ГРИШЕНЬКА

Развратная камарилья, которая в своем придворном инкубаторе вылупила Гришку из церковного яйца, кажется, и сама не ведала, что из него получится. А в притчах Соломоновых сказано: «Видел ли ты человека, проворного в деле своем? Он будет стоять перед царями; он не будет стоять перед простыми». Распутин крепко разумел эту библейскую истину.

— А на ча мне перед народцем топтаться? Я и посижу... Лучше уж перед царями встану. От ихнего стола даже помойка жирной бывает. С единой крохи царевой век сытым будешь!

Наблюдательный человек, он уже заметил, что цари живут скучной и одичалой жизнью, где много власти и злата, но мало людских чувств и простых человеческих интересов. Для них он — находка! Его речи дурманят и темнят их дразняще. А время для закрепления Распутина при дворе было как раз подходящим... 12 августа максималисты рванули дачу Столыпина; 13 августа на перроне Петергофа был застрелен генерал Мин, подавлявший московское восстание; 14 августа разорвали бомбой варшавского губернатора. От этого цари снова забились в щели. Николай II, кипя от бешенства, учинил Столыпину

письменный разнос: «...считаю свое невольное заключение в Александрии не только обидным, но и прямо *позорным*!» Мария Федоровна снова не выдержала этой гнетущей обстановки. «С меня хватит!— сказала она сыну.— Я же не перепелка, чтобы меня подстреливал любой прохожий. «Штандарт» оставляю тебе, я возьму «Полярную Звезду» и переживу это время подальше от России...» В конце августа Николай II посадил семью на «Штандарт», три недели болтался в шхерах, не приставая к земле. Лишь на исходе сентября показались желтые, оголенные парки Ораниенбаума, печально журчали петергофские фонтаны, готовые уже замерзнуть в трубах. На берегу было тихо... Сразу послали за Распутиным. «В 6.15 к нам приехал Григорий, привез икону св. Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с ними»,— записал царь. Распутин уже сделался для них своим человеком, близким и доверительным. Привычке говорить на «ты» он не изменял, и это ставило его как бы на равную ногу с царями. Царь для него — папа, царица — мама, а наследник — маленький... Романовы очень быстро переняли эту манеру от него, и теперь Николай II обращался к жене «мама», царица окликала его «папой». С бережностью, словно боясь сломать, Распутин гладил наследника по русой голове. «Надёжа России,— говорил он.— Хошь, Алеша, я и завтрева приду? Сказочку расскажу... Одень на лошадь дугу, в руки по сапогу, бей жену кнутовищем, собак пои молочищем, а попалась родная мама — кидай ее в яму!» Ребенку много ли надо? Родители для него привычные люди, а дядя Гриша для него забавен. Нет Распутина день-два, и мальчик уже скучает, сам просит: «А когда дядя Гриша придет?..» Распутин приязнь ребенка к себе тоже учитывал. Он вел циничную игру — безо всяких правил. Царей же утешал: «Покеда я гляжу на вас, беды не станется!» И царь свято верил, что молитва сибирского старца доходит до бога быстрее, чем телеграмма, в то время как обычная молитва тащится со скоростью простого почтового письма...

«Полярная Звезда» находилась на рейде Копенгагена, Мария Федоровна слала оттуда письма. «Ах, когда же наконец у нас все это пройдет, чтобы опять могли жить спокойно, как все приличные люди. Почти обидно видеть, как здесь хорошо и смирно живут люди... Как теперь здоровье бедной дочки Столыпина? Катя Озерова мне писала, что она у себя в комнате слышит ее крики...» Прочтя письмо матери, Николай II спрашивал:

— Григорий, а отчего ты премьера не навещаешь?

Распутин вместо «премьер» всегда говорил «пример».

— К примеру я более не ходок! Ну его... Я там молился, душу вкладывал, а он мне, словно дьячку какому, червонец через лакея на подносе высвистнул — и все тут! А ведь моя молитва особая. Она, чай, *дороже* иных молебнов стоит...

Фраза была решающей! Уж сколько ходил к царям, а они ему даже копеечки еще не дали. Пора бы им раскошелиться.

— У примера глаз нехороший,— продолжил он о Столыпине.— В человека глядит так, быдто штопор в бутылку вкручивает. Я таких уже встречал. Попадались. Люди опасные...

— Ах, как это верно подмечено!— восклицала императрица.— Ники, ты слышал, что сказал наш друг? Я тебе тоже говорила, что барина Пьера надо остерегаться... Господи, как хорошо, что мы хоть от Витте избавились! Только бы он не вздумал возвращаться из Биаррицы... Терпеть не могу безносого! Если бы не он, ты, Ники, никогда бы не подписал этого дурацкого манифеста...

В окна сыпануло осенним дождем. По аллеям царскосельского парка шныряли казачьи разъезды. Александрия томилась в тревогах и ожиданиях чего-то ужасного. Распутин тоже мучился: «Как же мне из них, паразитов, денег-то выцарапать?..»

— Стой!— закричал он и вдруг начал удивительно ловко метаться по комнатам средь мебели. Царская чета онемела, наблюдая за ним. Гришка рывком подпрыгнул к ним, произнес страстным шепотом:— А ну, мама, покажь, где Маленький играет.

Его провели в «игральную» комнату Алексея — большой и светлый зал, в котором размещался богатый арсенал игрушек, а под потолком висела массивная хрустальная люстра.

— Скажи слугам, чтобы Маленького в эту комнату не пущали. Как бы греха не вышло. А ты, мама, мне верь. *Я так вижу...*

Зал опечатали. Через несколько дней Александрию потряс грохот — с потолка «игральной» сорвалась люстра. При ударе об пол ее разнесло вдребезги. Из города по телефону был срочно вызван Распутин, и царица опустилась перед ним на колени.

— Если бы не ты, Григорий... спаситель наш!

Гришка молодцевато похаживал средь обломков старинной бронзы, под ним отчаянно визжал раскрошенный хрусталь.

— Это ништо! Не бойсь. Голос мне был. *Свыше...*

А средь лакеев был дряхлый камердинер по фамилии Волков, человек крайне старомодных представлений, у которого из заднего кармана всегда свешивался хвостик цветного платка. Он ползал средь рогулек люстры, бормоча с недоверием:

— С каких пор висела... и вдруг сверзилась? Как же так? С чего бы ей падать?— Дотошный старец разглядел, что цепь, на которой висела люстра, была заранее кем-то подпилена.— Вот оно!— показал он всем надрез.— Подпил-то еще свеженький...

Распутина даже зашатало. Но он, оправясь, сам осмотрел подпиленное место на цепи, с ответом тоже не прогадал:

— Я так и думал!— заявил царице.— Конечно, подпилено. Злые люди, мама, враги твои не дремлют. Хорошо, что мне голос был свыше, а то бы так и пропала надёжа земли русской...

Во сколько обошелся Распутину этот рискованный и точный надрез цепи люстры, об этом история умалчивает. Последний поезд из Царского Села ушел, и Гришке предоставили автомобиль из придворного гаража. Варнак сидел на мягком сиденье английского «паккарда», завороженно наблюдая, как из темени

наплывали огни столицы... «Дело сделано! — размышлял.— Теперь не рыпнутся. Но когда же денег дадут? Или я даром для них стараюсь?»

. . . . . .

Но однажды он при входе в парк Александрии нос к носу напоролся на незнакомого полковника. Тот как-то очень внимательно оглядел Гришку и задержал его резким окриком:

— Эй ты! Поди-ка сюда, шваль поганая.

Распутин после «звонаря», полученного от генерала медицины Вельяминова, испытывал некоторый страх перед людьми в форме и сейчас, явно заробев, покорнейше подтрусил к полковнику.

— Шапку долой, хамло! — последовал приказ (и за этим очень быстрое исполнение).— Ты кто такой, рожа?

Распутин вякнул что-то невразумительное насчет того, что все мы под богом ходим. Но тут же получил такой удар, что стало не до слов. Не успел Гришка очухаться, как полковник отвесил ему в ухо добротного «леща». Наконец, пихнул его ногой под хвост и погнал обратно в ворота.

— Эй, охрана! Почему вы тут всяких мужиков в царскую резиденцию пропускаете? Что за бардак, черт побери?

В этот день Распутин до царя не добрался. Сел на поезд и отправился восвояси, явно удрученный. Потом дознался:

— Это кто ж такой горячий, что меня пометелил? — Выяснилось что нарвался на Мишку, родного брата царя, который всегда был далек от придворных таинств. Конечно, с братом царя Гришке еще не пришло время тягаться.— Ладно-сь, прощаю ево... Молодой ишо, прыткий! Кулаки чесать охота. Вот и напал! Не меня, а Христа во мне бил...— Но императрице все же наябедничал: — Рази так можно? Я за наследника престола поклоны бью, какую ночь не спал уже, а меня прям в мурло дуют и даже не думают, что я за человек...

«Гессенская муха» была предельно возмущена:

— Ники, если твой Мишка еще раз сюда притащится, я велю выставить его прочь... От него всегда разная смута идет!

Смута шла не от Мишки — Мишка был как раз «тихий». Всего-то навсего командир кирасирского эскадрона. Он проводил жизнь между конюшней и рестораном. К чести Михаила Александровича надо сказать, что от участия своего эскадрона в карательных экспедициях он наотрез отказался. «Моих синих кирасир оставь на страх врагам внешним»,— заявил он брату... Монархисты писали о нем: «Яркой особенностью Михаила было какое-то особое влечение к простой и скромной жизни, далекой от блеска царского двора, церемониалов, придворных этикетов, пышности и помпы. В нем было очень мало царственного. Ни широты горящего ума, ни глубины дерзающего духа. Это был обыкновенный средний человек средних дарований, радушный и мягкий...» В этой характеристике немалая доля истины! Мишка проводил зимы в ночлежках казармы, а летом выезжал в лагеря.

Говорят, что люди с бородавками на лице удачливы в жизни. И всегда пикантны женщины с родимым пятнышком над верхней губой. Наталья Сергеевна Шереметевская, дочь видного московского адвоката, была украшена как раз такой родинкой, которую еще никто не осмелился назвать бородавкой. От матери-полячки ей передалась волнующая красота, кружившая головы юнцам и старцам. Она сделала хорошую партию, выйдя замуж за москвича Мамонтова, культурного и умного фабриканта. Но в муже не было того блеску, какой был нужен Наталье, и она, безжалостно бросив Мамонтова с ребенком, покорила ротмистра синих кирасир Вульферта... Ночью, во время летних лагерей, Вульферт спал как дитятко, и даже не слышал, как его жена перебралась в палатку его начальника — великого князя Михаила. Если верить самому Мишке, то он отчаянно отбивался от женщины, как библейский Иосиф от сладострастной жены Потифара. И не потому, что Мишка был высоких моральных устоев,— нет, просто кодекс офицерской чести не позволял ему владеть женою товарища по эскадрону. «Все это лейб-гвардейские глупости!» — сказала Наталья Сергеевна, увлекая Мишку в бездну падения. Утром она послала денщика за своими вещами... Вульферт спросонья пошел объясняться с Мишкой:

— Ваше высочество, но это же черт знает на что похоже! Зачем вы столь недостойно увели от меня любимую жену?

Мишка морщился, явно стыдясь:

— Перестань, Вульферт! Я и не думал уводить твою жену.

— Но как же это так получилось?

— Откуда я знаю? Спроси у нее сам...

Наталья Сергеевна была восхитительно мила.

— Развод! — заявила она.— Быстрый и решительный...

После чего (быстро и решительно) она забеременела, ибо, когда имеешь дело с Мишкой, надо поторопиться.

— Насколько я понимаю в гинекологии,— заявила она,— то я должна родить. Насколько я понимаю в генеалогии (прошу, дорогой, не путай этих понятий), то во мне зреет ПЛЕМЯННИК САМОГО РУССКОГО ИМПЕРАТОРА... Разве я исторически не права?

Мишка схватился за лысую голову, на которой трепетал под ветром жалкий оазис из трех последних волосинок:

— Боже! Какой скандал будет при дворе...

Да, она несла в себе поросль, весьма опасную для Романовых. А если еще учесть, что Мишка был вроде престольного стажера, готового в любой момент заменить на троне или самого Николая II, или его сына Алексея, то... Ситуация прямо убийственная!

— Теперь,— приказала ему Наталья Сергеевна,— ты напиши брату-царю, что скоро у него будет племянник и чтобы он не вздумал ершиться, когда я пойду с тобою под венец.

Писать для Мишки мука мученическая.

— Ты знаешь, как я пишу... Как собака пятой ногой.

— Я дочь лучшего адвоката Москвы, с детства знакома с юриспруденцией и напишу сама, а ты своей рукой перепишешь...

Николай II сообщал матери в Данию: «Миша написал мне, что он просит моего разрешения жениться и что он не может ждать дольше... Я боюсь, что кто-то помогал Мише писать его письмо, там много казуистики, которая ему несвойственна!» На другом конце Европы, в каюте яхты «Полярная Звезда», вдовая императрица в бешенстве — чашку за чашкой — переколотила чайный сервиз.

— Какой дурак! — говорила она.— Ведь если он женится на этой авантюристке, то этим усилит своего идиота брата...

А она еще не теряла надежды произвести тронную рокировку. Мишке было велено оставить эскадрон и отправляться в Данию. В Царском Селе каталась в истерике по коврам Алиса:

— Ники, что они там задумали — твои мать и брат? Это интрига против Алексея, против нас с тобою. Я прикажу лейб-акушеру Отту, чтобы он немедленно абортировал эту полковую шлюху...

Мишка прибыл в Амалиенбург, где его поджидала мать.

— Не дури,— сказала она любимцу.— И не вздумай венчаться тайно. Я не хочу, чтобы ты терял право на русский престол!

Мишка попросил вина. Выпил.

— Когда у меня родится сын,— отвечал он,— я нареку его Георгием в память о моем брате, которого погубил брат Ники.— Между сыном и матерью вдруг пролегла сточная канава в Абастумане, в которой нашли труп Георгия.— Прости, мама, но иногда я ненавижу брата Ники! Он ведёт всех нас к гибели... Ходынкой началось — Ходынкой и кончится. Так говорят все умные люди... И на кой мне черт сдалась эта корона?

Вернувшись домой, Мишка стал жить с любовницей невенчанно. У них родился сын Георгий, никем не признанный. Наталья мечтала о широкой славе. Учитывая дух времени, она нарочито сторонилась двора, с показной решимостью отворив двери своего дома для либералов-кадетов. Тон на партийных собраниях задавала она — тон либеральный (не красный, а розовенький).

— В двадцатом веке немыслима монархия в кристальном виде,— заявляла Наталья открыто.— О чем думает царь? В наше время он обязан быть монархом конституционным, а не самодержавным...

Под влиянием жены Мишка тоже начал фрондировать:

— Вот мне говорят: Англия, парламент, подготовка общественного мнения, выборы. А у нас на Руси — бах-тарарах! — словно пьяный мужик с печки свалился,— бац тебе на стол указец царский... Что? Зачем? Почему? Никто того не ведает...

Однажды вечером он пришел домой, отряхнул с шинели пласты сырого снега. Денщик поднес великому князю чарку с ежевичной. Мишка выпил и на закуску поцеловал красавицу Наталью.

— Вот мы и дожили! — сказал он ей.— За нами, дорогая, установлено негласное политическое наблюдение тайной полиции...

— Тем лучше для нас,— отвечала жена, понимая изощренным разумом, что со славою либералки, взятой под подозрение, она легче поскачет к престолу; ей казалось, что, когда революция произойдет, она произойдет лишь затем, чтобы призвать на престол ее с мужем, и толпы народные будут выкликать на стогнах империи: «Хотим Михаила и Наталью!»...

. . . . . .

Отдав своего брата под надзор полиции, царь с женою решали, что им делать с Гришкой... Анютка им рассказывала:

— Это так страшно, что слов нет. Недавно еду я с Григорием в санях по Французской набережной. Денек такой яркий, кони бегут хорошо, все искрится от мороза, а Григорий вдруг закрыл глаза. Сам весь трясется. Так страшно... И вдруг стал выкрикивать, что он видит. Он видел на льду Невы горы сваленных трупов, средь которых лежали мертвые великие князья и масса всяких графов, а вода в полыньях текла красной от крови. «Так будет,— сказал мне Григорий,— но будет тогда, когда меня при царях уже не будет!»

Императрица представила себе эту картину при ярчайшем сиянии солнечной русской зимы. Мужу она сказала твердо:

— Ники, надо что-то решать с нашим другом. До сих пор мы еще ничем не отблагодарили его за молитвы.

— Хорошо. Я дам ему денег.

— Это не выход. Может опять нарваться на Мишку, который его и поколотит и еще деньги отнимет,— он такой...

— Ну, тогда я не дам ему денег,— сказал царь.

— Нет, ты деньги ему дай!

— Ладно. Я дам...

При очередной встрече с Распутиным император, стесняясь, извлек из бумажника 20 рублей. Самому стало неловко от своей скромности и, подумав, доложил еще две бумажки.

— Молитвами сыт не станешь... возьми, Григорий.

Распутин выбрал из вазы твердое английское печенье и сунул его в чай, размачивая. Перед ним лежало 40 рублей — всего-то! Да ему даже от Восторгова больше перепадало. При всем своем нахальстве он растерялся. Затаив глаза под бровями, соображал: «Брать или не брать?» Решительным жестом Распутин отодвинул от себя никудышную царскую подачку.

— Рублев не люблю,— заявил крепко.— От них одна блажь и тревога исходит. От беса оне, от беса... Ну их!

Кажется, отказ Распутина от денег не был запланирован в семье Романовых: им думалось, что мужик так и кинется на рублишки, будто воробей на пшено... Императрица потом говорила:

— Ники, надо сделать так, чтобы Григорий имел официальное право для посещения наших резиденций. Чтобы его не обыскивали при входе. Чтобы пропускали сразу, без проверки.

Перед сном Николай II истово молился в спальне. Беспорядочное изобилие икон сплошь заливало даже стенки алькова. Здесь царь фиксировал свою веру на изображениях божества. У него были иконы на все случаи жизни, и Николай II всегда знал, какой иконе следует ему поклоняться. Поставщиком икон для царя был Исаак Губерман, в прошлом московский старьевщик, которому надоело трясти тряпки и мусор, а на закоптелых иконах, особо ценимых царем, он не только разбогател, но и получил от царя титул «почетного гражданина»...

Отмолясь, Николай II воспрянул с пола:

— Аликс, я понял, как поступить с Григорием: мы дадим ему придворный титул *возжигателя царских лампад!*

Сразу стало все на свои места. Конечно, Романовым не всегда было удобно, что их навещает мужик без роду и племени, без определенных занятий. А теперь Распутин был закреплен при дворе на официальном положении как служащий в императорском штате. В эти дни императрица позвонила по телефону Герасимову, начальнику санкт-петербургского охранного отделения.

— Александр Васильевич,— сказала она жандарму,— у нашего друга (надеюсь, вы понимаете, о ком я говорю) немало врагов. Мне будет очень больно, если кто-либо осмелится его обидеть. Я была бы чрезвычайно признательна вам лично, если бы департамент полиции приставил к нему надежную охрану.

— Глубоко тронут доверием вашего величества,— отвечал Герасимов.— К обоюдному счастью, мы предвосхитили ваше высочайшее пожелание, и Распутин уже давно находится под наблюде... Простите, я хотел сказать — под охраной полиции!

. . . . . .

После этого случая с 40 рублями Распутин закатился на два дня в ресторан, где просадил с проститутками сотню рублей.

Это верно, что Николай II и его жена, богатейшие люди в мире, были страшными скупердяями. Уж как они боготворили Распутина, но подачки их всегда были жалкими. Распутин понял, что рассчитывать на божественный шелест тысячных бумажек здесь не приходится. Ему следует зарабатывать при дворе царя только влияние, а деньги предстоит изыскивать в других местах.

12. ПРЕМЬЕРА И ПРИМЕРЫ

Возьмем-ка снова за шкирку князя Андроникова, приглядимся к нему внимательнее... Побирушка действовал на психику власть имущих сигарами и фазанами, напоминал их женам о себе конфетами и букетами. С цинизмом (непревзойденным!) он сам однажды и раскрыл секрет своего влияния: «В порядочные люди выбиться трудно, и потому я решил не выбиваться. Сначала в меня плевались, а теперь привыкли. Моя метода проста! Допустим, какой-либо финтифлюшкин назначается, предположим, управлять одним из наших генеральных ватерклозетов. Я посылаю ему письмецо: мол, наконец-то воссияло солнце правды, настала счастливая эра процветания и прочее... Финтифлюшкину приятно! Он начинает барабанить мне по телефону. Но я не подхожу. Только с пятого звонка, набив себе цену, я снимаю трубку и строго предупреждаю финтифлюшкина, что его в клозете окружают недостойные люди, которых я, как человек благородный, называть не стану. После этого появляюсь в его ватерклозете с портфелем, он встречает меня стоя и спрашивает: «Чем я могу быть вам полезен?»...»

Сановный Петербург (за редкими исключениями) поверил во всемогущество Побирушки так же слепо, как гоголевский городничий уверовал в то, что Хлестаков — птица важная. Никогда не выпуская из рук «делового» портфеля, восторженный и болтливый, намекающий на важные обстоятельства своих поручений, он испытывал особую слабость к военным министрам. Конечно, такой проныра не мог не привлечь внимания охранки. Голубые господа давно приметили, что Побирушка никогда не расстается с портфелем. Герасимов очень интересовался, что внутри его.

— Побирушка часто катается за каким-то лешим в Берлин, говорят, имеет неясные шашни с самим кайзером. Правда, отец у него восточный «чеа-эк», но мать-то типичная немка...

Тайны портфеля Побирушки оставались неоткрыты.

— Не удается! Он будто приклеен к своему портфелю.

— Но ведь в одно место он бегает.

— Бывает и там. Но опять-таки с портфелем...

Чиновник МВД навестил тюрьму «Кресты», просил отвести его в камеру № 216, где по мертвой сидел попавшийся на «мокром деле» опытный вор-рецидивист Ванька Свист... Сейчас он был занят общественно полезным трудом, расплетая на паклю измочаленные на флоте канаты. Чиновник МВД сказал отпетому вору:

— Ванька! Дело есть.

— А ну вас всех,— ответил тот, зевая.

— Держи пять рублей. Надо портфельчик прощупать.

— Пять рублей — не товар. Погулять бы дали.

— Обчисти портфель, и под честное слово честного ворюги мы дадим тебе дневной отгул на Выборгской стороне...

Ванька Свист на одну лишь секунду перехватил портфель Побирушки и выгреб из него все наличное. На столе директора департамента полиции оказалась масса нужных и полезных для жизни вещей. Жандармы с сомнением изучали недоеденный бутерброд со швейцарским сыром, комки старых газет, пачку туалетной бумаги и берлинский журнал, издаваемый — с согласия кайзера — специально для гомосексуалистов (с картинками).

— И это все? — спросил Герасимов.

— Все.

— Так чего он тут голову нам морочит? Одна декорация!

Но за этой «декорацией» скрывался опытный аферист. Еще никто не смог подтвердить шпионаж князя Андронникова в пользу Германии, но никто и не опроверг этой версии. Полезно вспомнить, что германский генштаб утверждал: «Отбросов нет — есть кадры!»

. . . . . .

— У меня, вы знаете, столько дел, что не продохнуть,— говорил Побирушка, навестив вечерком квартиру столичного градоначальника фон-дер-Лауница.— Владимир Федорович, не помешаю?

— Да нет, входите, Мишель... Что слышно?

— Да ничего нового,— сказал Побирушка, кладя за свою спину портфель, ужасно раздутый, и попросил чаю.— Сами знаете, какие сейчас могут быть новости! Пожить не дают спокойно порядочному человеку. Куда ни придешь, везде неприятности. С тех пор как в 1897 году я благодаря любезности графа Витте получил чин коллежского регистратора, с тех пор у меня нет минуты покоя. Понимаю, что министром не стану! Но уже ни один министр не обойдется без моих практических советов... Владимир Федорович, спасибо вам за вкусный чаек, не откажусь и от ужина.

Лауниц сам был жуликом. Мало того, погромщик. Именно этими качествами и выдвинулся. Побирушка пришел к нему за сплетнями, платя за каждую своей сплетней. Это был производственный обмен натуральным сырьем — деловой и честный. Календарь в гостиной показывал 2 ноября 1906 года, за окнами сильно пуржило...

Лауниц, накормив Побирушку ужином, сказал ему:

— Сегодня из-за границы вернулся Витте.

— Кто-о? — оторопел Андронников.

— Витте... Рванут его здесь как миленького. Департамент уже извещен, что на него готовится покушение.

— Представьте, я извещен тоже,— сказал Побирушка и, раскрыв свой портфель, извлек из недр его бумагу.— О покушении знаю раньше вас. Мои связи велики... сами понимаете! И вот, прочтите, что я телеграфировал Витте в Париж.

Фон-дер-Лауниц с удивлением прочел: «Умоляю вас продлить пребывание за границей. Опасность для вашей жизни гораздо серьезнее, чем вы думаете. Это мое последнее слово. Тем хуже для вас, если вы хотите умереть...»

— Если приехал, значит, хочет! — сказал Лауниц. Побирушка не верил. Лауниц вызвал по телефону жандармское управление Варшавской железной дороги, велев перечислить высокопоставленных персон, прибывших с берлинским экспрессом, после чего приставил трубку телефона к уху Побирушки: — Слушайте сами, князь, если не верите моим словам...

Среди статских и тайных советников с вокзала упомянули и бывшего премьера графа Витте. Побирушка сразу заторопился:

— Дела, сами знаете. Просто вздохнуть некогда...

Витте встретил Побирушку спокойно.

— Да, приехал,— сказал он.— При дворе могут морщиться, но я считаю, что моя государственная карьера закончена.

— Столыпин сидит крепко,— предостерег его Андронников.— На следующей неделе уже публикуется указ о свободном выходе крестьян из общины... Затевается аграрная реформа.

— Столыпин крепок,— согласился Витте.— Но он вульгарный временщик.

Кто еще, кроме Витте, способен заместить Столыпина?

— Горемыкин — труха, а Коковцев — болтун.

Витте покрыл их всех козырным тузом:

— Я должен повидать... Распутина!

Сразу стало ясно, зачем он приехал. Тут Побирушку даже замутило — как же он, великий мастер интриги, проморгал Распутина, перед которым заискивает сам бывший премьер? В мире что-то изменилось. Надо срочно перекраивать свои политические взгляды. Побирушка схватил свой портфель и снова заторопился:

— Извините, бегу! Знаете, столько дел, столько дел... Просто не знаю, когда будет минута покойного времени!

. . . . . .

Распутин (новая политическая сила великой империи) вставал с похмелюги — тяжело и натужно. Долго шарил в карманах брюк — не осталось ли там деньжат «после вчерашнего»? Бормотал:

— Куды ж я их потратил? Неужто все саданул?

Наскреб копеек с тридцать и заскучал.

— Пивка бы...

Открылась дверь, и вошли два неизвестных господина. Из раздутых карманов шуб торчали горлышки пивных бутылок. Сами они — вида наглейшего! Расселись на венских стульях, как у себя дома. С треском выставили пиво на стол.

— Лакай,— сказали.

Распутин жадно выхлебал три стакана пива.

— Полегчало... благодарствую. Тока вот не пойму, отколь вы такие ангелы свалились? Чтой-то не видывал я вас ранее.

— Надень порты, варначе,— отвечал ему один и отряхнул с котелка тающий снег.— Мы за тобой приглядывали, как ты вчера в ресторации мадеру дюжинами глушил. Вот с товарищем Ипполитом Гофштеттером и решили: небось трещит башка у нашего Ефимыча! Не взять ли баварского да не навестить ли его по-дружески?

— Хорошие люди. Заботливые. Уважаю. А... кто вы?

Первый сунул ему к носу свою визитную карточку:

— Читай, если грамотный... Сазонов я, Егорий Петрович, кандидат права о бесправии и работник прессы. А это — Гофштеттер из «Нового времени», знаешь такую газету? Вот он там и пишет.

— Чего ж он пишет? О фунансах небось?

— Что хочешь,— заговорил Гофштеттер.— Могу про тебя такое накатать, что обратно в Сибирь без порток убежишь. А карточку мою не рви. Здесь и адресок обозначен: Кирочная, двенадцать. В случае

нужды — забредай. Спать положу. И накормлю...

Распутин стал натягивать штаны. Сомневался:

— Чтой-то вы, господа, не очень понятные. Начали за упокой, я даже испугался, а кончаете во здравие...

— Похмелиться хочешь? — конкретно спросили его.

— А нешто ж я не православный?

— Тогда поехали...

Внизу ждал «мотор» (так называли тогда автомобили). Сели и покатили.

Вот и загородный ресторан (скромненький). Березы в снегу. Пустынные комнаты. В отдельном кабинете сидел... Витте.

— Оставьте нас,— сказал, и журналисты выкатились.

Витте разливал коньяк в плоские рюмки-блюдца.

— Пусть эта встреча останется между нами,— предупредил граф властно.— И мне и вам так будет удобнее.

— Как хошь. Молчать умеем...

Когда им подали лангеты, Витте начал дело:

— Григорий Ефимыч, как это ни странно, но между нами много общих точек соприкосновения. Я начал свою карьеру, можно сказать, с того же, с чего ее начинаете и вы... Не поняли? Тогда поясню. Кому был известен скромнейший инженер-путеец Сережа Витте, который в 1887 году предсказал царскому поезду катастрофу в Борках? Но я ее предсказал, и семейство нашего незабвенного императора Александра Третьего покатилось под откос...

— Так и шваркнулись? — не поверил Распутин.

— Да, если вам угодно, то... шваркнулись! Мария Федоровна, ныне вдовая императрица, босиком и голая выбралась из обломков. Ей один солдат свою шинель дал... Вот тогда, в Борках, меня и заметили! Тогда же и выдвинули. По слухам я извещен достаточно, что вы тоже пророчите и ваши предсказания сбываются. Будем откровенны! Меня задвинули в угол, как старый шкаф. Сейчас в моде новая мебель. Жесткая, зато модная. Но я, старый гусь, по опыту жизни знаю — все возвращается на старые круги. Мы бы с вами сошлись. В любом случае,— заключил Витте, жуя мясо,— вы найдете во мне то, чего никогда не сыщете в Столыпине!

Распутин все понял. Понял и сказал твердо:

— Примером не станешь, граф. Папа слаб! У него в башке зайчик прыгает. За ним пригляд нужен — ой как! А мама крута. Хозяйка! Но она-то тебя и не любит. Вот все говорят: царь, царь, царь. А я говорю: не царь, а царицка! Вот как...

Витте явно смутился оттого, что его подпольные каверзы столь быстро раскусил этот мужик, залезающий пальцами в салат и выбирающий из него кусочки вареной курятины. Граф Витте морально никогда чистым не был, и сейчас он решил приставить к Распутину своих агентов-соглядатаев.

— Я назову вам людей, на которых вы можете положиться, как на меня: это князь Андронников-Побирушка, это писатель Егорий Сазонов, это журналист Манасевич-Мануйлов, это...

И опять Распутин проник в его замыслы.

— Не надо мне твоих табелев,— хмуро отвечал он графу.— Я ведь людей не с чужого языка снимаю. Мне они все как на ладони. Я и тебя наскрозь вижу, что ты за человек...

Гришка уставился на Витте упорным взором, и граф почувствовал себя крайне неуютно. Желая пресечь неудобство своего положения, он протянул Распутину радужную квитанцию — чек.

— А на кой? — косо глянул в бумагу Гришка.

— Не отказывайтесь. Здесь немалая сумма.

Распутин налил стопку водки и выпил, крякнув:

— Эх, не люблю я водки... мадерца лучше! — Его рука потянулась к закуске, но попутно схватила чек.— Давай! — согласился он так, будто сделал для Витте великое одолжение.— По невежеству своему сибирскому так и быть, Виття, возьму, а благодарить не стану. Тебе ведь Столыпина не спихнуть — кишка тонка. Но утешу: Столыпин и без тебя шею сломает... Я так вижу!

. . . . . .

1906 год заканчивался. 31 декабря в Петербурге открывали кожно-венерологическую клинику. Ждали премьера, но Столыпин накануне загрипповал и не прибыл. Это его спасло. Премьера поджидал на морозе молодой человек модно одетый. Поняв, что Столыпин не придет, он разрядил обойму в сатрапа фон-дер-Лауница. А в ночь на 26 января какой-то дядя в верблюжьей шубе, не совсем трезвый, околачивался возле особняка графа Витте на Каменноостровском проспекте. Потом окликнул дворника:

— А где барин твой Сергей Юльевич дрыхнет?

— А эвон, окошко светится. Видать, книжку читает...

Через четыре дня истопник в комнатах Витте обнаружил, что сверху по дымоходу тянутся какие-то веревки, на которых привязан пакет — больше кирпича, обтянутый холстиной.

— Ваше сиятельство, что вы тут спрятали?

Витте как увидел этот пакет, так и шарахнулся:

— Полицию сюда, скорее... Адская машина!

С чинами сыска прибыл профессор Забудский, специалист по взрывчатым веществам. Ученый муж отважно распорол холстину.

— Смесь гремучего студня с аммиачной селитрой,— сказал он, понюхав, и даже что-то лизнул с пальца, пробуя на вкус.— Да, я не ошибся... А вот и будильничек! Скажите, граф, этим часикам спасибо. Они остановились за тридцать пять минут до девяти часов, когда эта машинка должна бы сработать...

Витте решил на этом покушении крупно сыграть. Но протокол и заключение экспертизы легли на стол Столыпина, который погубил тщеславные замыслы Витте с самого начала:

— Сам пихнул динамит в печку и развел панику. Это же понятно: безносый хочет исправить карьеру, и он готов взорвать даже свою Матильду с фокстерьером, лишь бы заменить меня...

В газетах появились карикатуры: Витте, стоя на

крыше своего особняка, опускает на веревке в дымоход адскую машину. А весной близ Ириновской дороги нашли разложившийся труп человека в ошметках верблюжьей шубы. Возле него валялись закуска и пустые бутылки из-под водки. При нем же оказалась и записная книжка с номерами питерских телефонов... Жандармы поступили просто:

— Ну-ка, брякнем по номеру 3-43.

— Журналист Ипполит Гофштеттер слушает.

— Ясно! Теперь позвоним по номеру 144-57.

— Протоиерей Восторгов у аппарата, кому я нужен?

Это работала черная сотня, но Столыпин сказал:

— Я ничего не знаю. *Виновные не обнаружены...*

Звезда Витте закатывалась за горизонт. Но до самой смерти он не терял надежд на приход к власти и не прерывал конспиративных отношений с Распутиным. Витте до конца дней своих будет умело и незаметно афишировать из подполья Распутина как человека, необходимого в государстве. *Витця* — называл его Гришка.

13. ДРУЗЬЯ-ПРИЯТЕЛИ

Трех пальцев вполне хватит, чтобы пересчитать привязанности Распутина; с людьми он был крайне небрежен, кидался и швырялся ими, как хотел, никогда не ценя дружбы. К женщинам относился так же — эта ушла, другая пришла, без задержки подавай третью. Но людское общество, особенно незнакомое, пылко любил и новых знакомств всегда настойчиво домогался. Обожал Распутин и застолье, чтобы галдели кругом, чтобы пели и плясали пьяные, чтобы на столе всего навалом — торты и селедка, марципаны и бублики, фрикассе и черные сухари, а под столом чтобы непременно стояли бутылки (сказывалась юность, проведенная по трактирам). Что ему теперь Феофан да Восторгов? Пока в Царском Селе его принимают как родного, конечно, он и сам будет для всех желанен. А тут еще этот Восторгов крутится под ногами... гнида!

. . . . . .

Восторгов пришел к выводу, что его Гришуня уже достиг положения, какое теперь ему, Восторгову, пора использовать в своих корыстных целях. Первым делом протоиерей выразил желание преподнести иконку наследнику престола, цесаревичу Алексею.

— Нужна им твоя иконка,— отвечал Распутин.— У них тамотко ровно музея какая — пальцем в стенку ткнуть негде.

Но все же буквами, которые качало вразброд, словно забор гнилой, Распутин сочинил послание: «Дарагой послушь ево об иконке грегорий». Велел идти на Фонтанку, в дом № 20:

— Там чины дворцовы сидят. Им пратецу мою и всучи.

— А к кому пишешь-то? — недоумевал отец Иоанн.

— Кому сунешь, тому и ладно. Скажи — от меня. А там меня уже знают. Возжигатель царских лампад — как не знать?..

Явясь с «пратецей» в министерство двора, Восторгов был заприходован как взыскующий царской аудиенции и вскоре имел счастие поднести иконку мальчику Алексею... Вернулся пьяный!

— От восторга и напился,— рассказывал Восторгов.— Знаешь, а они там дураки... Я образок на барахолке за рупь купил, над свечкой его держал, чтобы копоти побольше, а выдал за старинный. Взяли! Теперь бы мне еще самого государя повидать. Я бы ему свои сочинения поднес... Устрой мне, Гриша, а?

На что Распутин отвечал — веско:

— Ишь ты, хвост-то как высоконько задираешь...

Восторгов сразу хвост поджал:

— Ах, Гриша, Гришуня... знал бы ты, сколько я на тебя денег своих извел, так ты не обижал бы меня словами этими.

Распутин шмякнул перед ним раздутый бумажник:

— А задавись! — сказал.— Отсчитай скока хошь и больше не липни... Обойдутся тамотко и без твоих сочинениев!

Но струна уже натянулась. И лопнула в том самом доме, с которого все и начиналось. На приеме у графини Игнатьевой протоиерей согласно своему сану протянул ей надушенную руку для поцелуя. Старуха не успела еще коснуться ароматной длани священника, как возле ее губ очутилась корявая пятерня Распутина с траурной окантовкой под ногтями. Восторгова заело, почему графиня сначала лобызала Гришкину лапу, а уж потом его... Когда вернулись на Караванную, поп завелся:

— Ты зачем ей руку-то свою подсовывал?

— А ты зачем? — дельно вопросил Распутин.

— Я по чину духовному.

— А я рази же недуховен?

— Не смеши людей,— отвечал Восторгов.— Уж кто-кто, а я-то тебя, жулика, изучил. Таких, как ты, еще поискать надо...

— Вот ты меня и нашел! Не я же тебя искал.

— Доиграешься. Худо будет,— пригрозил поп.

— Не вводи во грех,— помрачнел Распутин.

— А что ты мне сделаешь? В наших руках — газеты, пресса. Я тебя так пропечатаю... осрамлю на всю великую читающую Русь. Сейчас нас, союзников, даже премьеры боятся.

— А я тебе не пример,— заявил Гришка.— Видит бог, так в глаз врежу, что ты у меня в колбаску скрутишься.

— Это ты кому угрожаешь? Ведь я с крестом...

Только он это сказал, как Распутин в мах произвел страшное сокрушение, отчего Восторгов закатился в дальний угол.

— Во сатана! — сказал Гришка, поворачиваясь к иконам и крестясь.— Довел-таки до греха, прости меня, хосподи...

Поп с трудом встал (его не били с семинарии).

— За оскорбление сана духовного... Да знаешь ли, что за это бывает? Засужу! Я тебя на чистую воду выведу...

Он выскочил на улицу, истошно завопил:

— Изво-о-озчик! Скорее гони меня в Лавру...

Восторгов при этом не сумел оценить достижений науки XX века, и Гришка по телефону опередил быстрый бег лучшего столичного рысака. А потому Гермоген, уже предупрежденный Распутиным, встретил своего партийного собрата весьма кисло:

— Да знаю я все! Григорий уже поведал, как вы сцепились... Нехорошо ведешь себя, отец Иоанн. Ты мне друг, но Григорий тоже. Коли придется меж вами выбирать, так я тебя первого под лавку закину, и валяйся там, пока не поумнеешь!

Восторгов даже за голову схватился:

— Что ты говоришь, Гермоген? Или забыл? Ведь «Нана»-то у самого пупочка не от крестного знамения Гришки, а от моего ножика треснула. Сам же я и ножичек покупал... тратился.

Гермоген отнесся к этому равнодушно:

— Да цена ему копейка. Нашел чем хвастать.

— Это же... обман! — взъярился Восторгов.

К этому Гермоген отнесся уже сурово:

— *Был* обман,— заявил он.— А коли сошел за святое дело, значит, уже не обман... А кто резал-то?

— Ну я!

— А зачем ты «Нанашку»-то ножиком пырнул?

— ?!

— Вот видишь. И ответить не знаешь что.

— Да ведь не для себя же я старался.

— А для кого ты с ножиком в руках старался?

— Для Гришки, чтобы он сдох, окаянный.

— А я думал, для бога,— логично рассудил епископ.

— Гришка с того же часа, как я резанул картину, и пошел, и поехал, и поперло его... сволочь такая!

Гермоген залился дробным смехом, и тряслась на его груди, поверх муарового шелка, панагия с бриллиантами.

— Выходит, зависть мучает. Ты старался резал, а вся слава Гришке досталась. Ой, нехорошо... соблазн это!

Восторгов ожесточился в бесплодной борьбе за правду.

— Не святой же он! *Это мы сами придумали.* Ведь он, ты знаешь, просто бабник... козел какой-то! Бабник и пьяница.

— Это ты брось,— сразу осерчал Гермоген.— Ефимыч мужик крепкой веры и церкви божией завсегда угоден. Если не желаешь без башки остаться, так ты сейчас вернись в номера и Григорию в ножки поклонись. Проси, чтобы он простил тебя!

Восторгов от такого унижения даже расплакался:

— Да побойтесь вы бога! Или за ненормального меня принимаете? Гришка-то ведь за добро мое еще и сокрушил меня.

— Так тебе, дураку, и надо,— утешил его Гермоген.— В другой раз умнее будешь: не станешь подрывать веру в чудеса.

— Да где вы эти чудеса видели? Готов сам себя разоблачить. Пусть пропаду, но и Гришке хорошую баню устрою...

Сунулся он было к графине Игнатьевой, чтобы рассказать ей правду-матку, как было с картиной «Нана», но дворецкий задержал протоиерея словами: «Велено не принимать». Восторгов понял, что перед ним стенка. Как ни бесись, а надо ехать и кланяться Гришке, чтобы зла не попомнил. Но и тут опоздал — Распутина на Караванной уже не было.

Гришка перебрался к генеральше Ольге Лохтиной; их видели вместе — они гуляли по улицам; Распутин заимел черный цилиндр, а светская дура щеголяла в цилиндре из белого шелка. Потом они поцапались, и Гришка куда-то пропал. Восторгов мотал ноги по городу и не сразу установил, что Распутин перебрался на Кирочную улицу, прочно осел на квартире Егора Сазонова — экономиста, издателя, литератора, жулика, семьянина...

. . . . . .

Распутин сразу и плотно вошел в семью Сазонова, на Кирочной ему нравилось. С утра до ночи разный народец крутится: одни приходят, вторых выносят, третьих приглашают. Кого тут не повидаешь — от маститого профессора до рассыльного из редакции. В квартире неустанно трещал телефон, ведерный самоварище клекотал от ярости, посуда колотилась нещадно, прислуга падала с ног, пекли пироги с рыбой и яблоками, гоняли мальчика за вином на угол Литейного, через раскрытые окна квартиры гремело на улицу пьяным и дымным содомом:

Эх, пить будем,
эх, гулять будем,
а смерть придет —
помирать будем...

Но хозяин против такого ералаша не возражал.

— Хороший ты мужик, Егор,— говорил ему Гришка.— Я тебя вижу. Ищешь ты в жизни куска большого. Мелкие-то уже попадались, да между зубов проскакивали. Мечешься ты и не знаешь, у кого бы кожаные стельки от лаптей лыковых отдраконить.

Распутин умел прозревать людей. Сазонов был мещанин с повадками хищника. Сейчас он свою квартиру сознательно обратил в нечто вроде кунсткамеры, где и содержал редкого зверя — Распутина; хочешь повидать зверя, не миновать тебе и дрессировщика. Гришка это понимал, но охотно прощал хозяина, ибо в писательском доме было ему занятно жить. Собиралась профессура, журналисты, актеры, трепались тут, как хотели, когда пьяные, а когда трезвые,— на этих сборищах Распутин полной ложкой снимал с поверхности людского шума нужные для себя слова и знания. Именно тут, за самоваром чужой для него семьи, он начал на свой лад постигать политику. В силу каких-то неясных причин у него вызревала ненависть к буржуазной Франции, подозрительность к респектабельной Англии и большое доверие к немцам, даже любовь к их кайзеру. Здесь, на Кирочной, он впитал в себя ненависть к полякам и южным славянам, ведущим борьбу за самостоятельность; здесь же он впервые узнал, что в России давно существует гиблый «еврейский вопрос» (как коренной сибиряк, Распутин до этого никогда не соприкасался с евреями). Хитрый и расчетливый

мужик, Григорий Ефимович умел показать себя и с хорошей стороны. Коли чего не знал, то в разговор не лез, а помалкивал. Если же дело касалось деревни, то он рассуждал свободно, красочно, интересно, и ему охотно внимали. Многие, наслышавшись о Распутине немало гадостей, даже терялись, когда перед ними выступал покладистый и смекалистый крестьянин, только что вернувшийся из бани, смотревший на гостей лучисто и ясно. «Это и есть тот самый?» — спрашивали тишком. «Да, тот самый»,— отвечал Сазонов, посмеиваясь... Распутин сметал со скатерти хлебные крошки в ладонь и скромнейше отправлял их в рот. Ждавшие от него чудес и пророчеств бывали удивлены, что за весь вечер он ни разу не помянул бога. Но здесь, в разброде многоречивых мыслей, бог ему был не нужен — Гришка знал, где и когда замешивать густую квашню на религии...

Профессор Петражицкий однажды шепнул Распутину:

— Вам бы, милейший, гипнотизером быть. Большие деньги б заколачивали! Есть у вас в глазу какой-то бесенок... Простите, а вы сами никогда не задумывались над этим обстоятельством?

— Не! На што? Смотрят — и пущай...

Но в памяти отложилось и это: авось пригодится.

. . . . . .

Вскоре на квартиру Сазонова кто-то загадочный стал поставлять для Распутина его любимую мадеру... ящиками! Тот самый сорт, где на этикетках изображен кораблик под парусами. Пришло и письмо, из коего стало ясно, что доброжелатель, давно наблюдающий издали за Распутиным, не может больше мириться с тем, чтобы такой замечательный человек испытывал недостаток в своем любимом напитке. С почтением к вашим несомненным достоинствам и прочее... Подписано — И. П. Манус!

— Это кто ж такой будет? — спросил Гришка.

Сазонов развел руки как можно шире:

— Ну, Ефимыч, не знать Мануса... это, брат, стыдно!

И рассказал, что Игнатий Порфирьевич Манус, хотя у него русские имя и отчество, на самом деле германский еврей, натурализовавшийся в России, да столь крепко, что от русских акций его теперь не оторвать. В правлении Путиловского завода это персона важная, он же директор товарищества Вагоностроительных заводов, член совета Сибирского банка, Манус имеет очень большие деньги от общества Юго-Восточных железных дорог...

— Миллионщик, што ли?

— Примерно так,— согласился Сазонов.— Но связи Мануса — вплоть до берлинских банков, до швейцарских. А я ведь помню, каким он прибыл в Петербург: почти без штанов, был мелким «биржевым зайцем», каждый рубелек на ладони разглаживал...

Скоро встретились на деловой почве в присутствии Ипполита Гофштеттера, который, влюбленно глядя на Распутина, и устроил это свидание. Манус — грузный мужчина ярко выраженного семитского типа, в пенсне с дужкой, зубы в золотых коронках, голос ласковый. Манус куда-то торопился и потому пить не стал.

— Я человек деловой, и у меня нет времени... Говорите прямо: сколько вам надо? Согласен сразу выдать аккордно сумму в десять — пятнадцать тысяч, а затем буду ежемесячно субсидировать вам еще по тысяче рублей... Человек я честный, верьте мне!

Распутин понял, что такие коврижки даром не сыплются.

— Даешь — беру! А что мне делать за это?

Манус заторопился еще больше:

— У меня нет времени, чтобы объясняться. Сейчас вам ничего и делать не надо. Просто живите, как жили и раньше. Только не забывайте, что в этом печальном и скверном мире существует ваш искренный почитатель — бедный еврей Манус, к которому вы всегда можете обратиться в трудную для вас минуту... Надеюсь, что в трудную для себя минуту и я обращусь к вам. Поможете?

— А как же.

— Дела, дела... Всего доброго, господа.

Скоро нечто подобное проделал и банкир Дмитрий Львович Рубинштейн, которого в петербургском обществе называли Митькой. Он поднес в презент Распутину несколько акций Русско-Французского банка, но подарком не угодил.

— На што мне акцы твои? — сказал старец Митьке.— Я вить на биржу не ходок... не моего ума дело. Это вы, образованные там всякие, на биржу трепле-тесь.

Митька Рубинштейн не стал спорить и стоимость акций тут же перевел в наличный чистоган, от которого Распутин не отказался.

Международный сионизм уже заметил в Распутине будущего диктатора, и потому биржевые тузы щедро авансировали его — в чаянии будущих для себя выгод в финансах и политике. По проторенной этими маклерами дорожке к Распутину позже придут и шпионы германского генштаба... «Отбросов нет — есть кадры!»

ФИНАЛ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Притихла под снегом тайга, сторожа свои дремучие сны, застыли и болота. Тихо... А в селе Покровском все по-старому: день за днем — ближе к смерти. По вечерам, когда приходила тюменская почта, несли газеты к священнику Николаю Ильину. Читал он мужикам, осиянный керосиновой лампой, что в мире творится, кого убили, кого искалечили, кто своей смертью преставился, а кто орден получил в усладу себе.

— Слава богу,— крестились старики,— а у нас благодать зимой, и комарье не кусается. Никаких орденов не захочешь!

Подзабыли уже Распутина, вспоминался редкостно:

— Небось повесили... не вернется!

Только удивлялись иной раз — с чего живет Парашка Распутина? Как и прежде, шуршит обновами, щелкает орешками.

— С чего шелкуешь? — спрашивали.

— Живу! А вам хотелось б, чтобы я подохла?

— Да несвычно так-то. Без трудов, без забот.

— С мужа и живу! С кого же мне жить-то ишо?

— Да вить нет мужа-то. И жив ли он?

— Где-то шляется. Не ведаю. Деньги шлет, и ладно...

Опять непонятно: у этих Распутиных, чтоб они горели, всегда не как у добрых людей. Было тихо... За околицами села, в замети сыпучих снегов безнадежно погибали гумна и бани. Но вот однажды показался на тракте обоз в четыре телеги. Ждать никого покровские не ждали и теперь приглядывались с большим сомнением — не надо ли беды ждать? Обоз втянулся в улицу села, впереди на заиндевелой кобыле восседал сам исправник Казимиров. Издали, гомоня, неслись мальчишки, оповещая:

— Распутин едет! Пьяный уже... вовсю шатается.

Насторожились мужики. Пригорюнились бабы, завидущими глазами встречая первую телегу добра, возле которой в богатой шубе нараспашку шагал Распутин с початой бутылью вина в руке. А рубашка на нем розовая, штаны на нем из бархата лилового, а поясок-то с кистями, а сапоги-то из хрома чистого...

— Ох и награбился! — рассуждали старики.— На большие деньги одел себя человек. Как бы и нас не загребли за него!

Но видимость исправника, состоящего при Распутине, малость утешала. Гришка всем махал картузом.

— Землякам мое уваженьице! Уж вы помогайте мне барахло-то в избу занесть. Все ли дома в порядке? Давно не писал...

Выбежала на крыльцо Парашка с детьми — и в ноги мужу.

— Гришенька! Кормилец наш... возвернулся.

— Чего радуешься? — отвечал Распутин.— Вот я тебя вздую для порядка, чтобы себя не забывала...

Покровские густо облепили плетень. Чего только не навез Распутин! Три самовара, машинка швейная, которую ногою надо крутить, сундуки с тряпками. Завернутую в войлок, протащили в избу гигантскую пальму в деревянной кадушке, какие стоят в богатых трактирах. А поверх последней телеги лежало нечто невообразимое, большое и черное, торчали вразброд три толстые ноги с колесиками вместо копыт... Дедушка Силантий спросил:

— Это што ж за хреновина? И на што она тебе?

— Рояля такая... Боюсь, не поймете. Одним словом, машина. Как-нибудь я вам на ней музыку сыграю.

Дюжие парни-добровольцы, предчуя даровую выпивку, осатанев от усилий, пихали рояль в избу — то передом, то боком.

— Не йдет, зараза, туды-т ее в гвоздь! Что делать-то?

— Клади! — сказал Распутин, и рояль опустили на снег, парни вытирали пот.— Покеда новый дом не отгрохал,— заявил Гришка,— пущай рояля в хлеву побережется. Тока бы корова не пужалась.

Сбросив шубу на снег, он повернулся к Парашке:

— Ну, пойдем... потолкуем.

Завел супругу в комнаты и поучил вожжами. Но лупцевал на этот раз без охоты, без остервенения, как раньше бывало. Баба и сама чуяла, что бьют ее лишь «для прилику», ради домашнего порядка, а подлинного гнева нет... Распутин напоследки протащил Парашку за волосы вдоль половицы и сказал миролюбиво:

— Накрывай на стол. Я тебе гостинцев разных привез... Селедочки-то не найдется ль в дому? Хорошо бы с молокой...

Парашка упрятала волосы под платок, радостно суетясь.

— Ой, Гришенька, родненький. Чичас. Все будет.

Дедушка Силантий с бельмом на глазу вперся в горницы.

— Уж ты скажи мне, Гриша, откель богатство тако?

Распутин отбросил вожжи, отряхнул штаны.

— Что нам деньги! — отвечал, приосанясь.— Мы сами чистое золото... Теперь заживу. Заходи, дед, кады хошь. Будем кофий по утрам хлобыстать.

Вышел он на крыльцо, красуясь. Между прочим, чтобы похвастаться, развернул перед толпой свой тугой бумажник.

— Чтой-то,— сказал,— уже позабыл я, сколько деньжат в дорогу брал. Надо пересчитать.

Толпа затаила дыхание, тихо постанывая от зависти, пока в пальцах Гришки шелестели радужные пачки «катеринок».

— Ну, мужики, подходи по одному. Угощать стану!

Баб награждал конфетами полной горстью, а мужикам наливал по стакану чего-то коричневого, они выпивали и отходили прочь, делясь сомнениями:

— Не то! Не шибает... да и сладко, как патока.

— Вы еще недовольны, сиволапые! — грохотал с крыльца Распутин.— Я вас царской мадерой потчую, а вы кривитесь...

Исправник Казимиров вынес на крыльцо граммофон.

— Григорья Ефимыч, куда прикажете ставить?

— Да хоша в снег... Заводи погромче!

Расписанная лазоревыми цветочками широченная труба граммофона издала шипение, а потом на все село грянул Шаляпин и оглушил покровских баб и мужиков.

Распутин показывал мужикам рубахи свои:

— Сама царицка и вышивала. Вот и метка ее на подоле.

Все поверили, что рубахи на Распутине истинно царские. Но поняли так, что Распутин царей обворовал.

— Ой, Гриша, а не страшно ли тебе? — спрашивали.

— Да кто меня тронет-то?

Дедушка Силантий дал ему практический совет:

— Я тебе, Гришок, такое скажу. Коли наворовался от царей, так теперь скройся и затихни. Как бы не проведали, что ты тута гуляешь...

— А што мне цари! — кочевряжился Распутин, хмелея пуще прежнего.— Я с ними запросто. Бывалоча, еще сплю. А ко мне уже телефоны наяривают.

Опять зовут чай пить. Без меня и не сядут. Царь в ноги кланялся, а царицу эту самую я на себе таскал.

Исправнику Казимирову он вдруг заявил:

— А попа Ильина на селе живым не оставлю. Он, вражья сила, на меня донос накатал. Будто я жития неправедного... Ну, так я ему сейчас устрою житие! Пошли все со мной...

Распутин переколотил стекла в окнах отца Николая; несчастный священник, выставясь наружу, возмущался с плачем:

-- В экий морозище, анафема, ты меня без стекол оставил. Господин исправник, почто стоите? Почто не прикажете? Да кто он таков, чтобы служителю церкви стекла выбивать?

— Ах ты, мать твою...-- отвечал «старец».-- Ты ишо узнаешь, кто я такой. Нонеча я стал возжигателем царских лампад, и таким гугнявцам, как ты, я не чета...

...Через годы, когда имя Распутина уже гремело по России, дотошные корреспонденты петербургских газет доискались и до бедного священника Николая Ильина, которого нашли в задвённом таежном улусе, среди якутов и политических ссыльных.

— Небось на Москве-то сейчас солнышко тепленькое,— сказал он и заплакал.-- Это Гришка сюда запек. Теперь, видать, и до смерти не выберусь на родину...

. . . . . .

Вскоре поставил Распутин в селе Покровском новый дом для себя и своего семейства — двухэтажный, нарядный, крышу покрыл железом. Изнутри убрал комнаты коврами и зеркалами, по углам расставил пальмы и фикусы, завел множество кошек (он их любил). Стали навещать его здесь петербургские дамы в шляпах, убранных цветами, в пышнейших юбках колоколом, в белых блузочках, с зонтиками-тросточками... Спрашивали у покровских сельчан:

— Простите, а где здесь старец живет?

— А эвон... его дом, завсегда отличишь от мужицкого.

Металась по улицам сумасшедшая генеральша Лохтина, Мунька Головина, на всех презрительно щурясь, записывала в книжечку афоризмы от старца. Придворные дамы переодевались в крестьянские сарафаны и широкие поневы, повязывали прически платками, ходили босиком по траве.

Наезжали в Покровское и корреспонденты столичных газет. Однажды на улице села появился городской гость в желтых ботинках, он тащил на своем горбу от пристани ящик фотоаппарата с треногой.

Бежали следом за ним мальчишки, прося:

— Дяденька, сыми... сыми меня, дяденька!

— Брысь, мелюзга, тут дело серьезное. Буду вашего старца снимать. Распутин дома. Распутин на телеге. Распутин входит в хлев. Распутин выходит из хлева... Где тут баня его?

От тюменского вокзала летели теперь в таежную нежиль, в буреломный треск, летели, взметывая гривы и звеня бубенцами, летели в село Покровское — тройки, тройки, тройки...

Ежели кто под меня попал,
тот на меня уже не вскочит!
Клопов не бойся.
Ежели кусают — чешись!

Из афоризмов Распутина

Часть третья
РЕАКЦИЯ — СОДОМ И ГОМОРРА
(Лето 1907-го — конец 1910-го)

ПРЕЛЮДИЯ К ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Столыпин, размашисто и нервно, строчил царю, что «члены Думы правой партии после молебна пропели гимн и огласили залы Таврического дворца возгласами «ура»... при этом *левые не вставали!*». Николай II отвечал премьеру: «Поведение левых характерно, чтобы не сказать — неприлично... Будьте бодры, стойки и осторожны. Велик бог земли русской!» Таврический дворец подновили, да столь «удачно», что крыша зала заседаний рухнула. Счастье, что это случилось в перерыве. Крыша обрушилась на скамьи *левых* депутатов, зато кресла правых загадочно уцелели. Столыпин, хрипя от ярости, доказывал газетчикам, что злостного умысла не было, просто деньги для ремонта дворца, как водится, заранее разворовали! Впрочем, к чему высокопарные слова, если вторую Думу разогнали, как и первую. Это случилось 2 июня 1907 года, а на другой же день Столыпин изменил избирательные законы. Третью Думу подобрали уже на столыпинский вкус. Вот, к примеру, депутаты от Петербургской губернии: фон Анрепп — профессор судебной медицины, Беляев — лесопромышленник, Кутлер — бывший министр, Лерхе — инспектор банка, Милюков — профессор истории, Родичев — присяжный поверенный, фон Крузе — мировой судья, Смирнов — царскосельский купец, Трифонов — сельский лавочник, и только один рабочий — Н. Г. Полетаев, через руки которого проходила тогда переписка Ленина с питерскими большевиками... «Сначала успокоение, затем реформы,-- твердил Столыпин.— Мне не нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия». Революция уходила в подполье, и Распутин в эти дни заверил царя, что «покушений больше не будет». Николай II столь свято уверовал в Гришку, что рискнул появиться на улицах столицы и... попал под трамвай! Вагоновожатый резко затормозил (за что и был потом награжден деньгами), а Распутин торжествовал:

— А я што тебе говорил, папа? Вишь, даже трамвай тебя не берет... Покеда я жив, с вами беды не случится. Верь мне!

. . . . . .

Всюду возникали, словно поганки после дождя, темные и порочные общества. Молва разносила весть об орловских «Огарках», о московском «Союзе пива и воли», о минской «Лиге свободной любви», о казанской веселой «Минутке».

Полковник Николай Николаевич Кулябка — начальник Киевского охранного отделения. В его жизни был один анекдот.

— Знаете,— рассказывал Кулябка,— я чрезвычайно благодарен революционерам. Они спасли мне жизнь! Врачи меня, как чахоточного в последнем градусе, заочно приговорили к смерти. Эсеры тоже приговорили к смерти. Приговоренный дважды уже не погибнет... Когда в меня стреляли, одна из эсеровских пуль вошла в грудь и навсегда затворила в легком роковую каверну! Я был спасен.

Сейчас Кулябка сидел у себя дома. В двери просунулась стриженая голова сына с оттопыренными ушами:

— Папа, уже поздно. Можно я спать лягу?

— Нет. Выучи урок, тогда ляжешь. А если завтра не исправишь единицы, я тебя выдеру, как последнего сукина сына.

Кулябка перед сном просматривал донесения тайных агентов о подпольном обществе «Дорефа»; на дверях того сборища была надпись: *ВОШЕДШИМ СЮДА НЕТ ВЫХОДА!* Агентура сообщала, что девушки остались в чулках и шляпах, а юноши в кителках и при галстуках — в таком неглиже устроили танцы. Работая синим карандашом, Кулябка подчеркивал в списках «Дорефы» знакомые фамилии участников этого «подполья»... Все дети почтенных родителей! Из швейцарской, где постоянно дежурил переодетый жандарм, раздался звонок — явился нежданный посетитель.

— Так поздно? Кто он? И что надо? — спросил Кулябка.

— Мордка Гершов Богров, называет себя Дмитрием Григорьевичем, сын присяжного поверенного, студент университета... Выражает большое нетерпение видеть вас лично.

— Хорошо. Пусть поднимется ко мне...

Поджидая студента, Кулябка усмехнулся: ведь он только что подчеркнул имя Д. Г. Богрова в списках «Дорефы». Отец этого юноши — видная фигура: пять домов в Киеве, под Кременчугом богатая вилла, семья живет в зелени Бибиковского бульвара.

— Да, да! Входите... Прошу прощения, что принимаю вас не при мундире. Но я дома. Уже вне служебных обязанностей.

На пороге жандармской квартиры стоял молодой человек в пенсне. Довольно высокий. С румянцем на щеках. Отвислые губы, сморщенные. Он их все время подбирает, чтобы закрыть очень длинные передние зубы.

— Прошу, садитесь. Что вас привело ко мне?

Увидев перед собой полковника в домашних шлепанцах, Богров сразу решил, что эта упрощенная скотина вряд ли способна оценить все нюансы его тонкой ущемленной души, а потому, сев на диван, он начал с некоторым нахальством:

— Не стану затруднять вас прослушиванием сложной гаммы моих настроений. Скажу проще: революция, столь бесславно прогоревшая, одним своим крылом задела и меня. Да, я состоял в обществе киевских анархистов. Нет, я никого не шлепнул, в «эксах» не участвовал и вот... Решил прибегнуть к вам. Извините за позднее вторжение. Я отлично понимаю, это не совсем вежливо с моей стороны, но ведь в вашем деле это простительно. Просто я не хотел, чтобы кто-либо видел меня посещающим вас.

Кулябка развернул стул и сел на него верхом, расставив ноги, словно в седле. Молча вздохнул. Возникла пауза.

— Так чего же вы от меня хотите? — спросил он.

Ему, конечно, было уже ясно, ради чего пришел к нему Богров, но этот злодейский вопрос полковник соорудил умышленно, чтобы Иуда, явившийся в полночь ради получения тридцати сребреников, покрутился на диване, словно глупый пескарь, попавший на раскаленную сковородку... Богров смутился.

— Надеюсь,— начал он,— вы понимаете, что этот мой шаг определен большим внутренним напряжением и сделкой... Если угодно, пусть будет так: именно сделкой с нормами морали.

— А у вас есть «нормы»? — равнодушно спросил Кулябка, памятуя о списках тайной «Дорефы» и пытаясь представить себе этого подонка в котелке и при галстуке, танцующим с девицей в одних чулках (картина получалась отвратная).

— Простите, но они есть! — вспыхнул Богров.

— Любопытно... даже очень,— с иронией произнес Кулябка.— А все-таки я не понимаю, ради чего вы пожаловали?

— Я и так выразил все достаточно ясно.

— Вы ничего не выразили. Пришли и... томитесь.

Богров это понял, натужно выдавил из себя:

— Я согласен сотрудничать с вами.

— Опять непонятно! — обрезал его Кулябка.— Что значит «согласны»? Можно подумать, я взял палку и лупил вас до тех пор, пока вы не согласились. Нет, вы не согласились, как это бывает с другими, измученными тюрьмой и ужасом перед казнью. Вы, милейший, *сами* пришли ко мне и сказали: *я — ваш!*.. Так ведь?

— Да,— поник Богров,— кажется, это так.

— Бывает, бывает...— отвечал Кулябка, вроде сочувствуя.— А что же именно заставило вас предложить нам свои услуги?

Вопрос сложный, но Богров реагировал без промедления:

— Я убедился на собственном опыте, что вся эта свора революционеров не что иное, как обычная шайка бандитов...

Ясно, что этот «блин» испечен Богровым еще на улице и в горячем состоянии; с пылу и с жару, донесен им до кабинета Кулябки. Жандармские же полковники на Руси дураками никогда не были, напротив, их отличало большое знание человеческой психологии, и в данном ответе Николай Николаевич сразу уловил фальшь.

— Ну, а теперь выскажитесь точнее. Не стесняйтесь.

На этот раз Богров уже не спешил — прежде подумал:

— Видите ли, мой папа обеспеченный человек. Хотя я и еврей, но мои красивые тетки замужем за видными русскими чиновниками. Хочу быть присяжным поверенным и, надеюсь, им стану. У меня нет

обоснованных конфликтов с самодержавной властью, чтобы выступать на борьбу с нею... *Зачем мне это?*

— Вы уже близки к истине, но еще бегаете по сторонам... Выкладывайте! — рявкнул Кулябка грубовато.

Конечно, Богров не мог думать, что в лице начальника киевской охранки он встретит человека тоньше его самого и проницательнее. Пришлось убрать общие слова, за которыми стоял туман благородства, и перейти к самым обыденным фактам:

— Папа с мамой недавно ездили в Ниццу и брали меня с собой. Я имел неосторожность проиграть в рулетку тысячу пятьсот франков.

— И теперь хотите, чтобы я, старый дурак, дал вам их?

От прежней наглости Богрова не осталось и следа.

— Вы не совсем поняли меня,— бормотнул он жалко.

— Да понял! — отмахнулся Кулябка как от мухи.— Не такой уж вы Шопенгауэр, чтобы вас не понять.— И вдруг обрушил на него лавину брани: — Щенок паршивый, сопля поганая, продулся в рулетку, а теперь хочешь продавать своих товарищей?! Этому, что ли, учили тебя твои благородные родители?

Богров был уничтожен. Наивно прозвучали его слова:

— Но папа дает мне всего полсотни в месяц.

Кулак жандарма в бешенстве молотил по столу.

— Так на что же ты, подонок, их тратишь?

— Разрешите мне уйти? — живо поднялся Богров.

— Сидеть! — гаркнул Кулябка.— Или тебе кажется, что здесь романтика? Нет, братец. И над нашей лавочкой, как и в твоей вонючей «Дорефе», золотом выбиты слова: *ВОШЕДШИМ СЮДА ВЫХОДА НЕТ*.— Богров при этом даже вздрогнул.— Я тебе не папа с мамой,— продолжал Кулябка спокойнее,— и давать буду по сотне. А за долг в рулетку расквитайся-ка, братец, сам!

Встретив на себе обратный колючий взгляд, Кулябка вдруг понял, что перед ним не желторотый птенец, не знающий, где подзанять деньжонок,— нет, перед ним предстал опытный гешефтмахер, который пятьдесят рубликов от папеньки уже расчетливо приложил к ста рублям от жандармов, и теперь он, остродумающий подлец, уже прикидывает, на сколько ему этих доходов хватит...

Кулябка с треском выложил перед ним сотню:

— Забирай. А теперь подумай и здесь же, не выходя на улицу, избери для себя тайную кличку... псевдоним.

Предложив это, он смотрел с интересом: «Наверняка изберет себе имя — как с театральной афиши!» Жандарм не ошибся.

— С вашего разрешения я буду *Аленским*.

Но рядом с этим именем новорожденного агента-провокатора Кулябка записал и второе, придуманное самим: Капустянский — это уже для внутреннего употребления (точнее — для сыщиков).

Сон Кулябки был нарушен звонком по телефону.

— Докладываю,— сообщил агент наружного наблюдения,— гости от Шантеклера выкатились в половине третьего. Замечены: Фурман, Бродский, Фишман; Марголин и Фельдзер...

— Это не все,— сонно сообразил Кулябка,— в гостях у Шантеклера был еще австрийский консул Альтшуллер. Где он?

— Не выходил,— отвечал агент.— Остался ночевать.

— Хорошенькая история,— буркнул Кулябка.

История *грязная*: в доме киевского генерал-губернатора Сухомлинова, прозванного Шантеклером, остался ночевать некто Альтшуллер, подозреваемый в шпионаже в пользу Австро-Венгрии, причем секретные документы об этих подозрениях находятся в том же доме, где он сейчас ночует...

. . . . . .

В эту ночь на темном горизонте русской истории замерцала звезда провокации.

Осыпались листья осени 1907 года.

1. СКАНДАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет. Марии Федоровне исполнилось уже шестьдесят, но вдовая царица была еще миниатюрна, как барышня. При резких движениях на ней посвистывала жесткая парча, в руке трещал костяной веер; на груди Гневной умещалось, трижды обернутое вокруг шеи, драгоценное ожерелье из двухсот восемнадцати жемчужин — каждая с виноградину. Когда революция пошла на убыль, она съездила в Вену, где существовал единственный в мире Институт красоты. Там ей надрезали веки глаз, в которые врастили каучуковые ресницы — как шпильки! Лицо стареющей женщины облили каким-то фарфоровым воском, предупредив, что за успех не ручаются. Это верно: «фарфор» сразу дал массу мельчайших трещинок, отчего лицо императрицы стало похоже на антикварную тарелку. После этой рискованной операции Мария Федоровна сразу же произвела вторую. Неожиданно для всех она вышла замуж. Из трех своих любовников царица выбрала в мужья одного — своего гофмейстера князя Георгия Шервашидзе...

В Царском Селе она появлялась как майская гроза.

Между сыном и матерью возник серьезный разговор:

— Я слышала, Ники, что ты недоволен Столыпиным. Но без него тебе нечего делать. Можешь сразу убираться в Швейцарию! Только он, последний русский дворянин, еще способен скрутить революцию. А на кого ты еще мог бы так опереться?

— На Руси, мама, народу хватает.

— А тебе кто нужен... народ или министры? Столыпин — это наш Бисмарк, так не повтори ошибки кузена Вилли, который много потерял, удалив с мостика главного лоцмана германской политики. Где ты еще найдешь второго Столыпина? Камарилья льстецов и жуликов способна поставить лишь петрушку для придворной ярмарки.

— Бог еще не покинул меня,— отвечал император.

— Бог! — воскликнула мать.— У тебя с ним какие-то странные отношения. Ты говоришь «я и бог» в таком тоне, словно бог уже генерал-майор, а ты пока еще только полковник...

В этом году русский обыватель придумал про царя такую загадку: «Первый дворянин, хороший семьянин, в тереме гуляет, столом гадает — стол мой, столишко, один сынишка, четверо дочек, женка да мать, а... куда бежать?» Алисе царь говорил:

— В Древнем Риме толпа требовала у цезарей хлеба и зрелищ, а сейчас от нас хотят видеть только скандалы.— При встречах с премьером он пытался шутить: — Петр Аркадьевич, а ведь вы — мой император! — Но за шуткой таилось уязвленное самолюбие. Столыпин — монолитная фигура реакции, и этот классический монумент самодержавия отбрасывал на престол такую густую тень, в которой совсем уже не был различим император. Николай II не раз уже пытался накинуть узду на премьера: — Петр Аркадьич, отчего вы так старательно избегаете Распутина?

— Ваше величество,— отвечал тот, непокорный,— да будет позволено мне самому избирать для себя приятелей...

. . . . . .

Плачущая Анютка Танеева позвонила Распутину:

— Прощай, отец... выдают меня за лейтенанта.

— Ступай! — отвечал Гришка с широкой лихостью.— Но добра от флотских не жди. Вижу я, что не уживетесь вы!

Непонятно, на что рассчитывал бравый лейтенант, но святых чувств к невесте у него не было да и не могло быть. Вырубов кое-что знал о связях невесты, и кто говорил — сам царь, кто говорил — генерал Орлов... А свадьба была значительна и торжественна («Неутешно плакала императрица; так она рыдала, как не рыдает купчиха напоказ, выдавая своих дочек. Казалось бы, могла ея величество удержать свои слезы в своих комнатах...»). Вырубов знал, что попалось ему не сокровище. А потому, когда торжественная часть брачной процедуры закончилась и молодые остались одни, свитский моряк изволил заметить:

— Я часто бываю в командировках по флотам, но это не значит, что вы можете принимать у себя Орлова или... или этого ничтожного господина с высоким положением.— Огорченная такой увертюрой к семейной жизни, Анютка напрасно ждала мужа в постели. Вырубов решил играть в бильярд.

— Сударь, где же вы? — пришла за ним Анютка.

Намеливая кий и топорща ус, лейтенант ответил:

— Чтобы я... да с царской шлюхой... никогда! Лучше пойду на улицу и за рубль возьму проститутку. Это будет честнее...

На все попреки Анютка шептала в оправдание одно:

— Моя судьба лишь орудие чужой судьбы.

— Ну, это слабое утешение! — отвечал лейтенант, сам с собой играя на бильярде.

Утром уже Вырубова, а не Танеева, звонила Гришке:

— Отец, ты прав. Ничего не получается.

Дача Вырубовой в Царском Селе находилась на Церковной улице в доме № 2, который примыкал к дворцам; и вскоре (по приказу императрицы) в ограде сделали особую калитку: толкни ее — и сразу из дворца можно попасть на вырубовскую дачу. Недавно вернулся из Прибалтики генерал А. А. Орлов, звериная сущность которого особенно импонировала императрице: «Если бы и мой Ники был таким сильным и жестоким, подобно Орлову... О-о, как бы мучительно и пылко я его любила!» При дворе поговаривали, что Орлов за свои кровавые карательные экспедиции получит титул графа, но Николай II позволил палачу лишь называть себя Орлов-Балтийский. В опасном четырехугольнике (царь — Анютка, царица — Орлов) генерал-каратель занимал сейчас особое положение. Императрица внимательно изучала царствование Екатерины Великой, в котором ее потрясло, что Екатерина мужа своего Петра III считала недостаточно твердым, как и она своего супруга Ники. С помощью фаворита Орлова Екатерина II устранила мужа с престола, чтобы самой стать императрицей...

— Аня,— сказала Алиса как-то Вырубовой,— а ты не находишь, что возникла роковая аналогия? С одной стороны у меня Орлов, а с другой — Григорий. Если их совместить в именах, то получится Григорий Орлов — почти как у Екатерины Великой... Почему ты молчишь? Разве ты не веришь в символы судьбы?

Вырубова даже не узнала своей подруги: Александра Федоровна сидела в кресле-качалке чеканно-пряма, с ровным холодным настроением, волевая и решительная. Синий папиросный дым обволакивал императрицу, которой недавно исполнилось 35 лет.

— Екатерина тоже была немкой, как и я,— говорила она,— в истории России осталась с титулом «великой»!

Один из современников писал: «Царица в это время разделяла тревоги, которые приносит жертвам своим страшная mania perspecutiva, с молодым и красивым генералом Орловым. Связь была давно всем известна... Мужу не могли нравиться эти отношения, его самолюбие страдало, но отвлечь жену от Орлова не было ни мужского умения, ни, может быть, охоты!»

. . . . . .

Бульварная пресса Европы подливала масла в огонь, продолжая указывать истинного отца наследника русского престола. Летом, при открытых окнах, охрана Александринского дворца не раз слышала, как ругались царь с царицей. Хотя, скандаля, они вели речь только на английском языке, но в речи Николая II проскакивала русская брань и часто поминалось имя Орлова.

В один из вечеров, когда императрица уже покинула дачу Вырубовой, а Орлов еще приводил себя в порядок, с улицы раздался звонок, возвещавший о несвоевременном прибытии лейтенанта.

— Ах, боже! — заметалась по комнатам Анютка.— Скорее покидайте меня... это он... он. Я пропала... прыгайте в окно!

Орлов выдержал характер до конца, и прежде чем

сигать в окно, он еще поцеловал Вырубовой ручку. Лейтенант шквалом ворвался в комнаты и успел разглядеть, как в теплых сумерках улепетывал командир лейб-гвардии Уланского полка императрицы.

— Ну, теперь держись!

Но даже под тумаками Анютка стойко молчала, беря вину царицы на себя: Утром, собираясь на службу в морскую канцелярию его императорского величества, лейтенант сказал жене:

— Будь готова! Вечером продолжим беседу...

Второй раз такого не пережить, и Анютка помчалась во дворец, стала показывать Алисе свои синяки. Она рыдала:

— Он сошел с ума! Сана, спаси меня.

— Говоришь, он сошел с ума! Вот и хорошо...

Лейтенант А. В. Вырубов указанием свыше был объявлен при дворе умалишенным, нуждающимся в особом надзоре. Но «лечиться» на родине не пожелал, и его спровадили в Швейцарию; перед отъездом он зашел в офицерское собрание, где как следует и напился. Спьяна он высказал то, о чем другие помалкивали:

— Вы думаете, я пьян? Не-ет, я не пьян. А этот романовский бардак давно пора прихлопнуть. Вы думаете, я не знаю, от кого рожден наследник престола? Об этом вся Европа болтает...

На беду его, здесь же в собрании оказались и великие князья, числившиеся в Гвардейском экипаже. Умные из них смолчали, а те, что поглупее, донесли лично императору.

— Орлов прогнил уже до печенок,— сказал царь.— И пусть убирается в Египет на курорт в Гелуане, без права возвращения в отечество. Денег я ему дам. Но прежде поговорю с ним...

После разговора с царем наедине, где Орлову была любезно предложена чашка чаю, генерал вышел бледный, весь в поту. «Мне дурно»,— сказал он, падая. Его подхватили и отправили на вокзал — прямо к отходу поезда. Была глубокая ночь, поезд приближался к пограничной станции Вержболово, когда Орлов, испытав облегчение, попросил крепкого кофе... Экспресс Париж — С.-Петербург замер возле рубежного столба. Агенты тайной полиции при свете карманных фонарей вынесли красавца из вагона. «Умер от чахотки»,— писал граф Витте. «Отравился»,— шептались в столице. «Был отравлен по приказу царя»,— точно указывала французская пресса. Императрица велела похоронить Орлова в Царском Селе (вне кладбища!) и теперь заодно с Вырубовой часто навещала его могилу, осыпая ее цветами. Сидя на скамейке, они навзрыд плакали... «Мой соловушка»,— говорила Алиса. «А какой был красавушка»,— вторила ей Вырубова...

Эта могила тоже соединяла их. Столь разные, две женщины были отныне нерасторжимы, как сиамские близнецы. Но гибель Орлова была для императрицы страшным ударом. «Несомненно,— сказано в одной книге,— Орлов был одним из тех, на кого рассчитывала с наступлением революции супруга безвольного царя...»

. . . . . .

Царь не оставлял своих попыток покорить Столыпина:

— Петр Аркадьич, а все-таки не мешало бы вам повидать Распутина... Поверьте, от него исходит почти зримая благодать.

— Ваше величество,— отвечал Столыпин,— благодать стала анахронизмом, а мы живем в двадцатом веке, который, как я догадываюсь, станет веком революций... Что умного может сказать мне ваш Распутин? Или вы думаете, я никогда мужиков не видел?

...Скоро в Думе заговорили о генерале Сухомлинове.

2. CELÁ ME CHATAVILLE

Сразу же берем под наблюдение киевского генерал-губернатора Владимира Александровича Сухомлинова: вот он надевает красные гусарские штаны. Именно за это желание петушиться его и прозвали Шантеклером. Сухомлинов опять влюблен. Он бесстыдно влюблен в замужнюю женщину, которая по возрасту годится ему в дочери! Какой скандал...

Смолоду отчаянный офицер кавалерии, он полюбил лишь внешнюю оболочку жизни — красивых женщин, веселые компании, комфорт и денежки. Ради популярности много писал под псевдонимом Шпора; под старость выпускал брошюры, прикрываясь именем Остапа Бондаренко, вымышленного рубаки, якобы живущего теперь в сытой тишине полтавского хутора. Генерал и сам не заметил, когда и как из дельного офицера он превратился в брюзгу консерватора, зубоскалящего везде, где речь заходила о новшествах в армии... Военная наука вступала в кризис! Славная русская конница уже теряла генеральную роль, ибо ее стали подкашивать пулеметы. Н. Н. Сухотин, профессор Генштаба, ратовал за новые приемы кавалерийской тактики,— Сухомлинов, словно хороший жеребец, оборжал Сухотина в печати, назвав его «табуретным всадником». XX век ставил перед войсками задачу маскировки, воин нуждался в защитной форме цвета хаки,— Сухомлинов опять ржал: не лучше ли одеть солдат в серые мешки с дырками для пяток, чтобы показывать их врагу, когда от него удираешь? Именно это плоское остроумие стареющего бонвивана было принято царем за творческий ум, а бойкость пера — за деловые качества. Киевляне же знали истинную цену своему генерал-губернатору и умником его не считали. К тому же, человек в летах, Сухомлинов запутался в своих романах и браках... Первая жена его, баронесса Корф, не оставила по себе памяти. Вторую генерал вырвал уже с мясом и кровью из объятий законного мужа — Корейши (это был директор Института гражданских инженеров). С этой второй женой история темная. Она председательствовала в киевском Красном Кресте, и непонятно куда испарились 60 000 казенных рублей. Киевляне убеждены, что Сухомлинов сам же и понуждал жену к растратам. А когда грабеж обнаружился, он вложил в рот жене капсулу с ядом... Возник — без передышки — новый роман.

Екатерина Викторовна Бутович, урожденная Гошкевич, женщина была статная, волоокая. В юности служила машинисткой в конторе адвоката Рузского, где ее облюбовал помещик Бутович и взял себе в жены. 3000 десятин жирного чернозема, которыми владел Бутович, вскормили захудалую красоту, но мотовства по модным лавкам муж не одобрял, и скромная блузочка мадам Бутович была украшена одним лишь крестиком, когда ее в киевском театре Н. Н. Соловцова встретил Сухомлинов.

— К такой очаровательной шейке,— сказал опытный ловелас,— необходимо колье египетской Клеопатры! Вы и без того прекрасны, но, позволю заметить, вам нужна должная оправа...

А что такое киевский генерал-губернатор? Это человек, у которого власть почти королевская, и Екатерина Викторовна сообразила, что Сухомлинов может создать ей «оправу». Первый шаг сделала она сама, имитировав перед мужем сцену самоубийства.

— Катя, скажи, зачем ты решила уйти из жизни?

— Изверг! — отвечала она низким трагическим голосом.— Ты загубил мою невинность и молодость, так не мешай мне любить человека, который так чутко понимает мою тонкую душу.

Владимир Николаевич Бутович горько рыдал:

— Я тебя люблю и не стану мешать твоему чувству...

Сцена как в дешевой мелодраме! Здесь тебе и загубленная юность, и благородный муж, жертвующий своим счастьем, и пылко ожидающий любовник (в красных штанах!). Наверное, тем бы все и закончилось, как уже не раз кончалось на Руси, но тут австрийский консул Альтшуллер, владевший на Крещатике подозрительной конторой по сбыту чего-то, дал Сухомлинову совет:

— Недавно из дома Бутовичей выехала во Францию мадмуазель Гастон, служившая у них гувернанткой. Нужно бы достать справочку, заверяющую нас в том, что господин Бутович много лет подряд тайно прелюбодействовал с означенной француженкой...

Мелодрама в доме Бутовичей завершилась оплеухой.

— Вот тебе, стерва! — сказал муж жене.— Я взял тебя из ничтожества, а ты... Тебе захотелось вывалять меня в грязи, а самой стать генеральшей? Так я не дам тебе развода!

Он запер жену в полтавском имении, отдав ее под охрану кучеров и управителей, а сам, взяв сына, укатил в Ниццу.

— Что будем делать? — растерялся Сухомлинов.

Альтшуллер исправно подогревал грязную похлебку:

— Я уже приготовил свадебный подарок — коллекцию мехов, которую знатоки оценивают в сто тысяч рублей. Но госпоже Бутович следует тоже проявить некоторую активность...

Прослышав о подарке, красавица бежала с унылого хутора и объявилась в кабинете генерал-губернатора.

— Только вы, благородный и чистый рыцарь,— встала она перед ним на колени,— только вы можете спасти мою невинность, и я, благодарная вам, вручу вам то самое трепетное и святое, что только может вручить женщина мужчине...

В это время (совсем некстати) явился Кулябка:

— Ваше высокопревосходительство, а я опять к вам. Опять по поводу Альтшуллера... Отдел контрразведки Генштаба вторично напоминает вам, что общение с этим господином угрожает безопасности нашего государства. Альтшуллер — шпион, и это ясно!

— Допустим. Но... где доказательства?

— Альтшуллер четырежды в год ездит в Вену для дачи отчетов, и мы, конечно, при его докладах не присутствуем. Но есть подозрения, и весьма основательные. Также хотел бы обратить ваше внимание, что в Киеве бродят нехорошие слухи, своими ушами слышал, как хохлы зовут вас «жидовским батькою». Обществу не понять, отчего генерал-губернатор избрал в свои ближайшие друзья маклеров Марголина, Бродского, Фурмана и прочих.

— Помилуйте,— возмутился Сухомлинов,— но я ведь бываю и в доме Стуковенковых, всем известно о моей дружбе с ними.

— Стуковенков — сифилисолог, и ваши регулярные захождения к нему по пятницам наводят киевлян на мысль...

Сухомлинов схватился за виски.

— Боже мой, боже мой... Сколько мрази нанесли к моему порогу. Николай Николаич, а не можете ли помочь мне?

Кулябка пожал плечами:

— Корпус жандармов — это ведь не пожарная команда на все случаи жизни... Что я могу сделать, если Бутович находится в Ницце? Могу лишь послать к нему доверенное лицо, и пусть оно повлияет на него, чтобы он в разводе не упорствовал.

Уходя из кабинета, Кулябка веско добавил:

— Но всему есть предел, ваше высокопревосходительство! Нельзя же черновики своих бумаг по бракоразводному делу Екатерины Викторовны сочинять на бланках конторы Альтшуллера...

В Ниццу им был командирован Дмитрий Богров.

— Владимир Николаич,— заявил провокатор Бутовичу,— вам предлагается уступить жену мирным путем... без военных действий. Известная вам фирма расходов на развод не пожалеет.

— Опять гешефты! — разъярился Бутович.

— Воля ваша,— ответил ему Богров,— но мне кажется, что своим согласием на развод вы лишь закрепите постфактум.

— Что это значит? — обомлел несчастный муж.

— А это значит, что ваша супруга не на хуторе... Она уже давно ночует под кровом генерал-губернаторского особняка.

Бутович вернулся в Киев, взял в руки тяжелую дубину и стал караулить Сухомлинова при его выездах. Он хотел треснуть Шантеклера по его лысому гребню, но удар дубины отбили ловкие адъютанты. Тогда он как дворянин вызвал Сухомлинова на дуэль; однако не нашел секундантов. Быть на стороне оскорбленного Бутовича, противостоя самому генерал-губернатору, в Киеве никто не осмелился. Затравленный муж решил не сдаваться.

— Мне уже не нужна моя жена,— говорил Бутович,— эта алчная беспринципная женщина.— Но мне важен принцип чести!

Однажды вечером его настиг, как выстрел из-за угла, звонок по телефону из генерал-губернаторского дома.

— Господин Бутович,— сказал ему Альтшуллер,— от имени его высокопревосходительства имею честь заверить вас, что генерал-губернатор согласно существующим законам империи обладает правом выслать вас в Сибирь как возмутителя общественного порядка. И потому мы дружески вам советуем... *уступите жену!*

Альтшуллер звонил из кабинета Сухомлинова, куда он имел доступ на правах друга, и адъютанты генерал-губернатора уже не раз ловили его за руку в те моменты, когда он начинал рыться в секретных бумагах. В это время радио еще только входило в быт нашей армии, оно было новинкой и называлось «беспроволочным телеграфом». На первых киевских опытах армейского радирования присутствовал и Альтшуллер, внимательно приглядываясь. Офицеры киевских штабов иногда звонили на дом главнокомандующему военным округом Сухомлинову и... вешали трубку:

— Опять к телефону подоспел консул Альтшуллер, а назвался такими словами: «Генерал-губернатор у аппарата». Но его выдает акцент, каким Сухомлинов, слава богу, пока еще не владеет!

. . . . . .

— День еще только начался,— сказал император,— а у меня уже трещит голова. Опять меня ждет эта каторга...

— Ты ждешь доклада Столыпина? — спросила Алиса.

— Петр Аркадьич заявится в субботу, а сегодня мне никак не избежать доклада от Александра Федоровича.

Александр Федорович Редигер — военный министр империи. Имя этого человека почтенно и уважаемо. Профессор Академии российского Генштаба, всем внешним обликом — воплощение интеллигента (залысина, тонкий облик, пенсне), Редигер принял военную машину России в период поражений на полях Маньчжурии. Автор многих научно-военных трудов, которые долгое время считались почти классическими, высокообразованный человек, он имел смелость указывать Николаю II на необходимость демократических реформ в армии. Обрусевший швед, Редигер был суховатым педантом-аккуратистом. Некрасивый и лишенный светского блеска, он не развлекал царя своими докладами, а лишь пытался вовлечь его в ту сложную *работу,* которую проводил сам... Вот он опять стоит на пороге, а из-за эполет Редигера выглядывают адъютанты, и скоро кабинет императора оказывается завален схемами железных дорог Германии, графиками мобилизаций Австрии, картограммами достоинств пушек Крезо и Шнейдера, Круппа и Путилова... С указкой в руке, похожий на строгого учителя, Редигер говорил нудным писклявым голосом: «Итак, ваше величество, глядя на эту схему, мы имеем коэффициент полезного действия артиллерии на площади, равной показателю, выраженному у нас в сумме икс — игрек. Далее...» В руках исполнительных генштабистов шуршали свитки новых схем, и Николай II прилагал неимоверные усилия, чтобы, скрывая зевок, показать министру, как ему все это безумно интересно.

— Продолжайте, Александр Федорович, я вас слушаю...— А после доклада он жаловался Алисе:

— Нет, я не выдержу. Редигер делает из меня мочалку. На весь день я уже выбит из колеи.

— Так убери его, Ники, и поставь другого министра.

— Кого, Аликс? — надрывно вопрошал император.

— Ну, хотя бы того же Куропаткина.

— Он опозорился в войне с японцами.

— Тогда возьми помощника Редигера — Поливанова *.

— Поливанов — знающий генерал, но беда в том, что якшается с думскими горлопанами, либеральничает с Гучковым...

Поглощенный наукой и службою, Редигер только за пятьдесят лет огляделся по сторонам и увидел, что жизнь прошла мимо. Он срочно и по-деловому женился на петербургской барышне Ольге Ивановне, робевшей от сознания величия своего мужа. Когда молодые подкатили из церкви к своему дому на Фонтанке, из толпы встречающих вдруг выскочил неизвестный толстый человек и поднес пылавшей невесте букет хризантем. Редигер, полагая, что это давний знакомый жены, учтиво пригласил его в свой дом, дабы совместно выпить по бокалу шампанского.

— Оленька,— шепнул он жене,— а кто этот господин?

— А я сама хотела спросить вас об этом...

Выяснилось, что в их дом проник князь Андронников, известный в свете под именем Побирушка; мало того, он зачастил в дом Редигеров, давно испытывая подозрительное пристрастие к делам войны и мира России. Но деликатный и умный хозяин вел себя с Побирушкой холодно и сдержанно, не пуская его дальше пуговиц своего мундира. Побирушке это не нравилось. Вскоре появились слухи, что государь от Редигера «скучает», и Побирушка сразу затерся в кабинет помощника военного министра Поливанова.

— Я думаю,— заявил с апломбом,— что именно вам следует занять пост министра, а Александра Федорыча попросим вон...

— Пошел ты вон,— спокойно отвечал Поливанов...

Профессионал военный до мозга костей, Редигер доказывал царю, что армия не должна исполнять карательные функции:

— Допустимо ли держать в гвардии офицеров, которые тушили папиросы о тела женщин, лишали узников воды, насильно поя их водкой, практиковали, осмелюсь доложить, прыганье по грудной клетке человека до тех пор, пока не раздавался хруст ребер?..

* Поливанов А. А. (1855—1920) — генерал от инфантерии, ученый-генштабист, одним из первых царских генералов перешел на службу в Красную Армию; скоропостижно скончался в Риге при заключении советско-польского мирного договора; согласно его завещанию погребен в Ленинграде в мундире российского Генштаба.

Но, как писал очевидец, «нет той картины человеческих страданий, которая могла бы тронуть это высушенное вырождением сердце, нет предела полномочий, которыя царь не был бы готов дать кому угодно для непощадного избиения своих подданных».

Редигеру царь отвечал злорадным смешком:

— Celà me chataville! (Это щекотно!)

...в Думе опять делали запрос о Сухомлинове.

3. ХОТЬ ТОПОР ВЕШАЙ!

Третья Дума! «Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайя...» Иногда в газетах писали: депутат такой-то «из фракции правых перешел к националистам». Пусть обыватель думает, что депутат сильно полевел. Но верить нельзя. На самом же деле все оставались на прежнем «постое» реакции.

Внимание, читатель! Столыпин уже поднялся на думскую трибуну, которую депутаты имели неосторожность наречь «эстрадой».

— Реформы — дело будущего,— говорил он увесисто.— Вот когда в России появится крепкий фермер, земельный собственник, живущий богатым хутором, оснащенный машинами и наемной рабочей силой, тогда вы не узнаете прежней России...

. . . . . .

Тон в Думе задавали октябристские и кадетские лидеры. Когда начинались рукопашные разногласия между партийными господами, в зал заседаний влетали соколы-приставы и в одну минуту растаскивали фракционеров за фалды их фраков, словно дерущихся собак за хвосты. А с высоты «эстрады» председатель Хомяков (сын знаменитого славянофила) обзванивал Думу колокольчиком. Впрочем, по правде говоря, сам Хомяков и сделал из Думы это вульгарное «чрево общества». Именно его сомнительные остроты, которые он время от времени бросал в раскаленный зал, и положили начало новой скандальной эпохе русского парламентаризма. Образовался особый вид жаргона — парламентарный, перенасыщенный словечками, за которые на улице городовой призвал бы к порядку. Депутат Вараксин (кстати, священник) столь часто прибегал к помощи матерного лая, что пришлось составить протокол о его «духовном неистовстве». На хорах для публики, куда пускали по билетам, не раз уже краснели дамы, а некоторым из них мужья вообще запретили шляться в парламент: «Соня, ты же приличная женщина... Как тебе не стыдно?» Обстановка иногда напоминала такую, о какой в народе принято говорить: хоть топор вешай! Русский парламент — не английский, а русские депутаты — это вам не милорды.

Вот Родичев произносит речь, а из зала кричат:

— Кончай, Федька, все равно врешь...

Берет слово похожий на моржа историк Милюков.

— Пошел вон... ты опять пьяный! — провожают его.

Депутат Караулов имел несчастье сидеть в тюрьме.

— А ты, рожа каторжная, вообще молчал бы...

А в кулуарах Думы, сунув пальцы в кармашки жилета, похаживал курский депутат Марков-Валяй.

— Хожу вот... выжидаю, когда Пуришкевич в уборную побежит,— сообщает он радостно.— Решил, знаете ли, набить ему морду...

Раскрывая газеты, обыватель заранее хихикал:

— Ну, поглядим, что нонче в Думе отмочили. Кого матюшком приласкали, кому пенсне протерли... Веселые собрались люди! Да и с чего им печалиться, ежели по червонцу в день получают.

. . . . . .

Но царь постоянно испытывал влияние Думы, которую по кривой дорожке уже не объедешь. Надо 11 миллионов для закладки новых крейсеров, а там, глядишь, на «эстраду» вылез Пуришкевич.

— Россия не переживет второй Цусимы! — кричал он.— Вторая Цусима — это вторая революция, а значит, и полное уничтожение монархии, без которой мы не мыслим себе жизни. Пусть сначала министры дадут нам гарантии, что Цусима не повторится, что больше не будет броненосца «Потемкина» с его бунтом, а до тех пор, господа, мы не дадим на флот ни копейки!

Из полумрака министерской ложи беспокойно посверкивал цыганскими глазами Столыпин — слушал. В отличие от царя, желавшего игнорировать Думу, премьер активно сдружался с нею, понимая, что парламент, пусть даже самый плюгавый, все-таки это труба общественного мнения. Столыпин вел большую игру с членами ЦК октябристской партии, которой он безбожно польстил, назвав ее лидеров «сливками общества». Россия после поражения в войне с японцами быстро набирала военную мощь, потому и дебаты об ассигнованиях на дело обороны — самые острые, самые ранящие. А к портфелю военного министра судорожными рывками, словно пантера, завидевшая лань, уже давно подкрадывался ситцехлопчатобумажный фабрикант Александр Иванович Гучков, с которым Столыпин вошел в глубокие конфиденции... Гучкова военные дела привлекали еще смолоду. Он сражался в Трансваале за буров против англичан и был жестоко ранен пулей «дум-дум», участвовал в Македонском восстании за свободу Греции, под Мукденом был взят в плен японцами. Гучков смело дрался на кровавых дуэлях,— робким купчишкой его никак не назовешь!

27 мая 1908 года Гучков пошел на конфликт с великими князьями, плотно обсевшими все горушки военного правления. Главный удар он обрушил на Николая Николаевича, который возглавлял Совет Государственной Обороны. Гучков прицелился точно: если ты занимаешь ответственный пост, так будь любезен и быть ответственным за свои деяния. Но в том-то и дело, что их высочества Романовы суду общества не подлежали, а Гучков штамповал с «эстрады» страшные слова:

— Постановка неответственных лиц во главе ответственных отраслей военного дела является делом совершенно ненормальным... Государственный Совет Обороны, во главе с великим князем Николаем Николаевичем, является серьезным тормозом в деле улучшения нашей армии и нашего флота...

Дядя Николаша, прочитав речь Гучкова в газете, побежал с жалобой на оратора к царственному племяннику:

— Престиж древнего института великих князей подорван окончательно. Россия больше не может относиться с доверием ни ко мне, ни к моему брату Петру и прочим великим князьям... Опровержения-то не последовало? Редигер смолчал? Ты тоже молчишь?

Николай II обещал дяде опубликовать «благодарственный рескрипт», обещал в нем высоко оценить «научное и практическое» значение дяди в деле развития оборонных сил своей державы.

— Выходит, меня на свалку? — обиделся дядя.

— Ну, а что я могу сделать? Мы схвачены за горло...

. . . . . .

Пора раскрыть карты: речь Гучкова — это слова Столыпина, но премьер, нанося из-за кулис удар по камарилье, кажется, не рассчитал силы взрыва. Рикошетом осколки полетели в него же, Столыпина,— назревал кризис власти. Со дня на день все ждали, что премьер подаст в отставку. Вместо этого Петр Аркадьевич, как ловкий престидижитатор на арене цирка, выкинул неожиданный фортель: от партии октябристов переметнулся к националистам. Но кампания против него продолжалась, и Николай II эти дни с большим удовольствием наблюдал за унижением премьера, попавшего в «кризис».

— Столыпин не Бисмарк, а Редигер не Мольтке. Столыпина я заставил подобрать хвост, а Редигеру никогда не прощу, что он публично не опроверг высказывания Гучкова...

И тут, читатель, мы подошли к роковой развязке. Слухи о старческих шашнях Сухомлинова уже давно щекотали воображение думских депутатов. Однако потребовать у царя отставки Шантеклера либералы побоялись. Они избрали путь окружной — завели нудную речь о нерентабельности киевского генерал-губернаторства вообще, надеясь таким окольным путем свалить и Сухомлинова. Но результат, которого добивались думцы, оказался совершенно обратный их чаяниям... Николай II признался жене:

— Если Сухомлинова бранят в Думе, значит, в этом человеке есть нечто значительное. Я видел Владимира Александровича на последних маневрах. Он так смешил меня анекдотами... Не чета этому бубниле Редигеру с его таблицами во всю стенку!

В декабре 1908 года к перрону вокзала в Киеве был подан вагон-люкс, в который грузили множество кофров и чемоданов. Возле отъезжающего Сухомлинова, держа его под руку, стояла чужая жена. Он отъехал в Петербург, где его ждало назначение на пост начальника Генерального штаба русской армии. Багаж, с которым он прибыл на берега Невы, был грязный бракоразводный процесс и еще... Альтшуллер; этот тип немедленно тронулся за Сухомлиновым в Петербург — поближе к тайнам русского Марса!

На плюшевых диванах люкса убаюкивало сейчас самую трагедийную фигуру нашей истории кануна Великой Революции!

4. ГРОМ И МОЛНИЯ

На углу Невского и Надеждинской — толпа, сумбурная и настырная... Отовсюду сбегаются любопытные:

— Скажите, а что тут случилось?

— Ой, никак опять кого-то мотором задавили?

— Да нет. Ничего особенного. Распутин идет.

Распутин попал в нечаянный переплет. Только он вышел из дома, как на него из подворотни выскочила генеральша Лохтина в широком белом балахоне. Распутин, не желая публичного скандала, бешено рвал из ее пальцев подол рубахи, сквернословя, кричал:

— Расшибу, сатана худая... Ой, не гневи!

Толпа хохотала, а городовые свистели:

— Разойдись! По какому случаю собрались?

Гришка понял, что надо спасаться; верткий как угорь, прошмыгнув через гущу толпы, сразу вцепился в поручень проезжавшей мимо пролетки:

— Гони, черт такой!

...Коляска с Распутиным уже заворачивала на Инженерную — к дому статс-секретаря Танеева, отца Анютки Вырубовой и Саны Пистолькорс...

. . . . . .

Прошло уже пять лет, как Илиодор впервые встретил Гришку Распутина в Петербурге; с тех пор иеромонах заматерел в молитвах, но еще не потерял иноческой выправки. Жизнь его выписывала сложные синусоиды взлетов и падений... В разгар революции он был назначен преподавателем в Ярославскую семинарию, где с резким политическим задором, не выбирая выражений, повел черносотенную пропаганду. Но большинство семинаристов были настроены революционно, и педагога они поколачивали. А когда узнали, что Илиодор ненавидит Льва Толстого, они литографировали его «Крейцерову сонату» и в темном уголку дали на подпись как список лекций по вышнему промыслу. Илиодор сгоряча подмахнул: «Одобряю!» — а вышла потеха, весь Ярославль смеялся. Кончилось все это тем, что семинария забастовала, прося убрать Илиодора, и семинарию закрыли. Илиодор перебрался в Почаевскую лавру на Волыни, где его пригрел Антоний (Храповицкий), давший монаху несколько наглядных уроков, как следует владеть интригой, чтобы черти завидовали. Здесь Илиодор выступил с погромными речами как «охранитель престола», и слава о его проповедях дошла до ушей царя. Николаю II импонировало мнение Илиодорода, что в народных бедствиях повинны одни евреи и интеллигенты. Илиодор превратил церковную кафедру в политическую трибуну, на Волыни запахло дымком погромов... Антоний сказал:

— Знаешь, Илиодорушко, катись-ка ты отсюда подальше, а то, брат, потом неприятностей не расхлебать будет!

Илиодор отвечал Антонию:

— Уйду, но ты меня послушай... Народ у нас мягонький, будто пушок заячий, его и так и эдак крути, он все себе поворачивается. И на любой крик бежит охотно. Настали времена смутные, и нет на Руси прав-

ды. Будь моя власть, я бы огнем по земле прошелся, все спалил бы дотла, а потом создал бы новое царство — мужицкое! Знаешь, как при Иване Грозном было? Едет опричник по улице, возле седла его приторочены метла паршивая и башка пса дохлого. Вот едет он, супостат, и красуется. Ничего худого еще не сделал. Слова бранного никому еще не сказал. Едет он, а на улице уже пусто... Все разбежались!

— Это к чему ты сказал мне?

— А вот знай: там, где я пройду, скоро тоже все разбегутся. Пусто и мертво станет... Это я — гром и молния!

Илиодор перебрался в Саратов — под крылышко архиепископа Гермогена, который приветствовал его словами: «Паси ветер и пожнешь птиц парящих!» В газетах тогда писали, что эти столпы черносотенства «поражают нас и своею узостью, и своей талантливостью». Никакому эсеру, прошедшему огни и воды, не удавалось подняться в агитации до такого пафоса, до такой силы внушения, до каких поднимался Илиодор, умевший покорять словом тысячные массы людей. Способный говорить часами, пока люди не падали в обморок, Илиодор умел быть и лапидарен, как Александр Македонский перед побежденными (в этом сказывалась прекрасная академическая выучка). Но делить с Гермогеном славу Илиодор не захотел и твердо обосновался в Царицыне, превратив этот город в автономную цитадель «илиодоровщины». Что он тут вытворял — непередаваемо! По его указам пароходы на Волге меняли расписания. Илиодор врывался в публичные дома, переписывал всех, кого заставал там, а утром царицынские матроны с ужасом читали в газете, где и с какой проституткой провел эту ноченьку ее благоверный. Илиодор обрушивал целые ниагары брани на власть предержащих: чиновники — взяточники, приставы — шкуродеры, полицмейстеры — воры, а губернатор — дурак. С малярной кистью в руках он шлялся по улицам и мазал квачем лица прохожих, имевших несчастье носить очки или портфель. «Не нравится, сучья морда?» — спрашивал их Илиодор... Синод запретил ему проповеди — не подчинился. Синод запретил печататься — не подчинился. Синод велел ехать в Минск — не подчинился. Наконец, он выгнал из губернии самого губернатора графа С. С. Татищева, который, обескураженный от стыда, явился к Столыпину.

— Петр Аркадьевич,— сказал он,— а вы хоть секите меня, но я бежал. Что делать, если Илиодор стал сильнее меня!

— Мы это сейчас же исправим.— Столыпин велел полиции арестовать Илиодора, отправив его в Минск по этапу; машина МВД заработала, и через день премьер был извещен из Царицына, что полицейские участки в городе полностью разгромлены илиодоровцами, сам полицмейстер ранен, а морды всех приставов, с помощью того же легендарного квача, вымазаны какой-то особой пахучей краской, которую не отмыть даже скипидаром.— Хорошо, Сергей Сергеевич,— сказал премьер Татищеву,— возвращайтесь на свое воеводство, а я буду действовать теперь через его величество...

Николай II, под давлением Столыпина, издал указ — Илиодору ехать в Минскую епархию и сидеть там тишайше. Илиодор не подчинился! Император издал второй указ. Илиодор, ознакомясь с ним, сказал, что поедет... только не в Минск, и скоро открыто появился в столице — гостем царского духовника Феофана.

— Где это видано,— вопросил он его,— чтобы человеку в монашеском образе не давали сказать того, что он думает?

Феофан сильно изменился (похудел, потускнел).

— А ну тебя! У меня своих забот словно мух осенью...

Выяснилось, что его положение при дворе пошатнулось.

— Из-за чего, отец Феофан?

— Из-за Гришки... пса!

— Какого Гришки? — удивился Илиодор.

— Или забыл Распутина? Я ж его, чалдона поганого, и во дворец сам втаскивал. А ныне он возлетел. Ох, обманулся я! Нет святости — одни бесы скачут. Сказал я государю, что Гришка плут и бабник, так что? Тьфу ты, господи... Теперь царица глядит на меня, будто солдат на вошь. Больше ты ничего не спрашивай...

Илиодор понял, что защиты себе надобно искать в другом месте. И оказался в доме статс-секретаря Танеева, где поджидал приезда из Царского Села его дочери. В гостиную вдруг смелым шагом вошел Григорий Распутин, и монах не забыл отметить в своих мемуарах, что «брюки из дорогого черного сукна сидели на его ногах в обтяжку, как у военных, а дорогие лакированные сапоги бросались в глаза блеском и чистотою...» Поразительно, что Распутин моментально узнал Илиодора и сразу же двинулся к нему, уже отлично извещенный обо всех скандалах в Царицыне.

— Што голову-то повесил? Не робей, монашек, епископом будешь. А власть, от бога данную, не лай, не лай,— наставительно произнес Распутин, даже грозя пальцем.— Люцинеров и жидов мажь чем хошь, но власть божью не трогай... Грех!

Илиодор невольно ощутил величие этого мужика.

— Мне бы, Гриша, опять в Царицын вернуться. А как вернешься, ежели один указ от Синода, а еще два указа — от царя...

Распутин искренно рассмеялся:

— Што нам указы, коль мы пролазы?..

Потом легко, как на пружинах, скрипя кожей сапог, повернулся к дамам, стал целовать всех подряд.

Снизу послышался шум — это приехала Вырубова.

. . . . . .

Вошла она — высокая, мощногрудая, с зонтиком в руке, уже усталая, сразу плюхнулась в кресло, заговорила:

— Эти поезда меня замучили: то Царское, то из Царского... Папа,— обратилась она к отцу,— а ты собрался на службу?

Танеев стоял с громадным портфелем в руках, на котором белела платиновая табличка с надписью «В знак непорочной 50-летней службы от благодарных подчиненных». Илиодор с ненавистью посматривал как

на портфель, так и на очки статс-секретаря: будь это в Царицыне — так в рожу квачем бы! Пускай потом две недели подряд скипидаром моется... Позже он записывал: «Распутин в это время прямо-таки танцевал возле Вырубовой, левой рукой он дергал свою бороду, а правой... хватал ее за груди и меня немного стеснялся. Потом он бил ее ладонью по бедрам, как бы желая успокоить игривую лошадь. Вырубова покорно вертелась, а отец ее стоял рядом и жмурился... Далее свершилось нечто сказочное: Вырубова упала на землю, дотронулась лбом обеих ступней Распутина, потом поднялась, трижды поцеловала старца в губы и несколько раз его грязные лапы. Ушла...» Она ушла, но осталась Сана Пистолькорс, и Распутин (в присутствии ее отца и мужа) проделал с Саной целый ряд манипуляций, как и с Вырубовой... Уже на улице Распутин спрашивал Илиодора:

— Видал как? Я из этой Саны беса уже выгонял. Сейчас-то она ничего, а раньше на всех кидалась... Я ведь как? Больше касательством работаю. От меня сила исходит. Хошь, и тебя трону? — Он обнял Илиодора и спросил: — Ну что? Учуял силу мою?

— М-м-м-да-а,— неопределенно промычал Илиодор...

Не стыдясь прохожих, Распутин на улице рассуждал:

— Министеров, хадов, не бойсь — они только и знают что хвост Столыпина с подушки на одеяло перекладывать. А в Синоде обер-прокурором торчит Лукьянов-профессор. Но я ученых не люблю, скоро ему провожаньице сделаю... Цыть им всем!

Илиодор решил: была не была — и ляпнул:

— Гриша, помоги мне — хочу царя повидать.

— Лучше ты царицку проси — мамка у нас с башкой.

— А царь не обидится, что я его обхожу?

— Да не! На нас-то чего ему обижаться? Тока не будь дураком, дай маме расписку, что власть царскую ты лаять не станешь...

Илиодор описал это свидание в Царском Селе: «Высокая, вертлявая с какими-то неестественно-вычурными ужимками и прыжками, совсем не гармонировавшая с моим представлением о русских царицах... она поцеловала мою руку. Потом моментально села в кресло и с грубым немецким акцентом заговорила: «Вы из Петербуга?» Эти слова были сказаны так неправильно, что я не понял их. Произошла крайне тяжелая и неприятная пауза. Из беды выручила Вырубова. Она передала мне вопрос царицы на чистом русском выговоре. Государыня тогда засыпала как горохом: «Вас отец Григорий прислал? Да? Вы привезли мне расписку по его приказанию, что вы не будете трогать правительство?..»

Илиодор вышел от царицы победителем! Плевать он хотел теперь на Синод священный и даже на царя с его премьером. На следующий день иеромонах повидался с Распутиным, поехали они помолиться на могилку Иоанна Кронштадтского. «Когда мы с ним шли по лаврскому парку, Григорий не пропускал ни одной дамы, чтобы не пронизать ее своим упорным, настойчивым взглядом».

Был он в этот весенний день празднично одет — в дорогом сером пальто и при шляпе. Разговаривал очень охотно:

— Вот, брат, штука! В Камышлове на станции меня жандармы с поезда ссадили. Народ хохочет, думают, фулигана пымали. А в участке спросили, кто таков, я сказал, и отпустили.

— Ну и что? — не понял его Илиодор.

— Как что? — взбеленился Распутин.— Это же все козни Синода противу меня, это Столыпин меня насильничает... Слыхал я от людей верных, будто на меня уже целый архив скопили!

Между ними установились самые приятные отношения.

— Гриша-а... дру-уг,— нежно говорил Илиодор.

— Сережа-а, мила-ай,— сладостно выпевал Распутин.

— У меня врагов... ой сколько!

— Не хвались! У меня их больше,— отвечал Грищка...

Поддержанный могучим авторитетом Илиодора, Распутин в эти дни был принят в черную сотню. Но, побывав разочек в клубе союзников, он больше туда не заглядывал, ибо не выносил, где только разговаривают, но выпивки и плясок не предвидится...

. . . . . .

Настал день прощания. Илиодор отъезжал обратно в Царицын, Гришка провожал его на вокзале. Прозвенел гонг — друзья обнялись, целуя друг друга, иеромонах говорил:

— Теперь ты к нам, Гриша... мы с Гермогеном ждать будем. Встречу устроим — во! Все телеграфные столбы в твою честь повыдергиваем, молебен устроим, Волгу повернем вспять...

Поезд тронулся, Распутин шагал вдоль перрона.

— Осенью! — кричал.— Раньше не могу... ждите осенью!

Накануне они договорились, что Распутин будет явлен в Царицыне под видом «изгонителя блудного беса»,— богатый столичный опыт в этом деле Гришка переносил в провинцию. А премьер Столыпин был крайне удручен оттого, что на Илиодора не действовали ни указы Синода, ни указы самого императора.

— Вот нечистая сила! — сказал он...

5. МОЙ ПУПСИК — МОЛЬТКЕ

В 1870 году, в самый канун нападения на Францию, начальник германского генштаба знаменитый Мольтке ночевал в своем имении. К нему послали офицера — с известием, что завтра грянет война. «Хорошо, возьмите с левой полки третий портфель справа»,— велел Мольтке офицеру и снова уснул...

— Владимир Александрович,— сказал Николай II,— я привел вам этот случай с Мольтке, чтобы вы поняли: вам предстоит роль исторического человека. Мне сейчас не нужен просто хороший генерал Сухомлинов — мне нужен русский Мольтке, и я с глубочайшим удовольствием назначаю вас на пост начальника Генштаба!

Свидание с царем происходило в бильярдной, где царь обычно принимал доклады министров. Зал имел большие затемненные антресоли, в тени которых пряталась императрица, все слушавшая. Сухомлинов отвечал царю, что он рад принять назначение, но сразу же выговорил для себя право *личного* доклада царю.

— Вне зависимости от Редигера,— подчеркнул он...

В конце 1908 года русская дипломатия потерпела стыдное поражение. Извольский в условиях тайны встретился в замке Бухлау с Эренталем, австро-венгерским министром иностранных дел и в обмен на открытие черноморских проливов для русского флота он дал Вене согласие на аннексию Боснии и Герцеговины. Проливы не открылись, но зато австрийцы ввели армию в сербские провинции. Это была *вторая Цусима* для нас — только дипломатическая! Боснийский кризис до крайности обострил противоречия между империями, он стал тем узлом, который могла развязать только война. Европа жила как в лихорадке, ей снились дурные сны. Близость грандиозной войны уже чуялась всюду, и обыватель, просыпаясь, удивлялся, почему ему не пришла призывная повестка. В этом году, бряцая саблей перед ускоренным выпуском юнкеров гвардейской кавалерии, кайзер Вильгельм II проболтался: «Кажется, настало время, чтобы дерзкая банда в Париже снова на своей шкуре испытала, на что способен наш славный померанский гренадер. Похоже, что нас хотят окружить (намекнул он на союз России с Францией)! Что ж,— упоенно заливался кайзер,— *они могут идти:* германец всегда лучше сражался, когда на него нападали с двух сторон. *А мы готовы...*» Французский генштаб переслал в Петербург своим русским коллегам утешительное известие: «Мы работаем так, будто война уже началась». Сухомлинов велел ответить в Париж, что на берегах Невы мух ноздрями не ловят, а тоже трудятся в поте лица. Он принял Генштаб от генерала Ф. Ф. Палицына, который сдал Сухомлинову несколько шкафов военных планов на будущее. Тут была разработка операций на все случаи жизни — будь то перестрелка на Кушке или натиск германских полчищ на Вильно. Сухомлинов с какой-то дикой яростью повел борьбу с этими шкафами. С подлостью (непонятной!) он вырывал из досье листы и схемы, нарочно перепутывал пагинацию страниц, кромсал планы ножницами, обливал таблицы чернилами. Так завистливый любовник брызжет раствором соляной кислоты в лицо недоступной красавицы... Изгадив все, что только можно, Сухомлинов потом сам же и жаловался генералу Поливанову:

— Алексей Андреевич, не пойму, за что в обществе так нахваливали Федю Палицына? Ведь он там какой-то компот мне оставил. Уж на что я, человек опытный, и то не мог разобраться!

Весной 1909 года царь принял Редигера в бильярдной.

— Александр Федорович, вы прекрасно выглядите.— Сверкнув стеклами пенсне, Редигер поклонился; Николай II точно положил шар в узкую лузу.— Мне всегда было приятно служить с вами, и от ваших сугубо научных докладов я испытывал подлинное наслаждение. Мною уже подписан рескрипт о награждении вас орденом Александра Невского.— Редигер снова поклонился, а царь долго намеливал кий.— Однако,— сказал он,— допустив послабления думским демагогам, вы потеряли авторитет в армии и... Вы потеряли мое монаршее доверие!

Редигер понял — это отставка (подчистую).

— Когда прикажете сдать дела? — спросил он.

— Почему вы не спрашиваете — кому?

— Я догадываюсь, ваше величество.

Сухомлинов стал военным министром и, вернувшись от государя, был страстно расцелован Екатериной Викторовной...

— Боже, мой пупсик — Мольтке... Как я счастлива! Наклонись ко мне: я поцелую тебя в самую серединку моей дорогой лысины.

Расцвет карьеры малость изгадила столичная пресса, неодобрительно именуя «пупсика» Мардохеем, а грамотный читатель намек сразу понял, ибо Мардохей был дядей библейской Эсфири... Начинался медовый месяц стареющего павиана! Боже упаси утомлять его величество схемами, картограммами или таблицами с коэффициентами полезного действия. Рассказав царю свежий анекдот, Сухомлинов выгружал на стол эскиз юбилейного значка, куски цветного сукна для пошива новых мундиров. Император отодвигал в сторону модели остроконечных пуль, оставшиеся еще от Редигера, с удовольствием прикладывал к своему мундиру новую тряпочку. С антресолей спускалась императрица, втроем они прикидывали, красиво ли будет выглядеть синий лацкан на желтом фоне... В эти дни Германия переслала России угрожающую ноту, больше похожую на ультиматум, по поводу Боснийского вопроса, Берлин почти приказывал уступить Австрии, и Николай II с логикой (которая недоступна моему пониманию) сказал Сухомлинову:

— Мощь нашего государства ослаблена, мы сейчас неспособны вести войну, а потому (?), Владимир Александрович, я прошу вас поскорее разобраться с женой господина Бутовича...

Вернувшись из Царского Села, русский Мольтке почему-то никак не мог попасть в свою спальню. Когда же достучался, то дверь ему открыл цветущий кавказец с длинным унылым носом.

— Позалуста,— сказал радушно.— Мы вас так здали!

Это был миллионер, бакинский нефтепромышленник Леон Манташев. Он как ни в чем не бывало рассказывал:

— Мы вот тут с Екатериной Викторовной увлеклись мечтами. Я соблазняю ее ехать в Египет смотреть пирамиды фараонов.

— А я не поеду,— сказала Екатерина Викторовна тоном капризной девочки.— На кого я оставлю моего пупсика?

Сухомлинов с чувством поцеловал ей ручку.

— Леон Александрыч, я вручаю вам свое сокровище. А тебе, Катенька, надо видеть мир. Во всей его

необъятности. Ты ведь теперь столичная дама! Поезжай, душечка...

Манташев с глубоким вздохом воззрился на часы.

— Очень жаль расставаться, но мне пора: Екатерина Викторовна, не отказывайтесь от лицезрения египетских пирамид.

Далее «молодая» жизнь Сухомлинова созидалась уже на прочной нерушимой основе: он давал пятьдесят рублей — на булавки, Манташев добавлял к ним пятьсот — на шляпку, Сухомлинов клал пятьсот рублей — на платье, Манташев тут же добавлял еще пять тысяч — на обретение модной шубы из шкур леопарда. Сухомлинов денег на Катеньку не жалел. Манташев тем более не жалел их...

Ну, а что тут можно еще добавить? Известно, что счастлив в любви только тот, кто счастлив. Да и разве цветущая госпожа министерша не стоила честных мужских расходов?

. . . . . .

Побирушка начал еще с порога кабинета:

— Владимир Александрович, все уже знаю... все! Меня не обманешь. Видел уже. Как же! Кто не побежит смотреть Екатерину Викторовну? Таких дураков в Петербурге нет... все бегают и все любуются. Сегодня имел счастие поднести ей фиалки...

Андронников уселся в кресло напротив Сухомлинова, уверенным жестом выбрал из коробки сигару.

— Конечно,— сказал он, втыкая ее в жирный рот,— Москва не сразу строилась и счастье надо добывать в бою... Знаю! Все знаю. Извещен. В этом бракоразводном процессе могут возникнуть нежелательные трения. Понимаю. Их надобно избежать. А посему полагаю, что без лжесвидетельства не обойтись...

— Как вы сказали? — навострился Сухомлинов.

— Ведь этот буйвол Бутович уперся в закон. Вот если бы он, допустим, сблудил... тогда было бы очень хорошо!

— Михайла Михайлыч, что вы предлагаете?

— Это вы мне предлагаете... всего тысячу рублей.

— Зачем?

— Как зачем? А кто в Париж поедет?

— Простите, а зачем ехать в Париж?

— Ах, боже мой, я же русским языком толкую вам, Владимир Александрович, что нужна справка... Справка о том, что муж Екатерины Викторовны не раз прелюбодействовал.

— С кем? — отупело спросил Сухомлинов.

— С мадмуазель Гастон... с гувернанткой!

Сухомлинов долго тряс жирную руку Побирушки.

— Ради бога, голубчик, выручите... Екатерина Викторовна исстрадалась. Бедняжка! Вы даже не знаете, как этот изверг Бутович тиранил скромную женщину... А чем кормил знаете?

— Еще не выяснил.

— Овсянкой! — доложил военный министр.

— С ума можно сойти,— отвечал Побирушка.— Такую женщину и кормить овсянкой? Это не просто разврат — утонченный разврат! Такой человек только и мог сожительствовать с гувернанткой...

Получив командировочные от министерства, Побирушка смотался в Европу, откуда вывез на родину справку о том, что мадмуазель Гастон незаконно сожительствовала с господином Бутовичем, и эту справку поместили в святейший Синод, ведавший на Руси бракоразводными делами. Но тут мадмуазель Гастон, прослышав об этом, отдала себя в руки медицинской экспертизы Парижа, и в архивах Синода появилась еще одна справка о том, что госпожа Гастон до 33 лет сохранила целомудрие... Сухомлинов пребывал в панике: «Ну, кто же мог подумать такое о француженке? Кошмар... Ах, как она подвела нас!» Нравственность гувернантки Гастон неожиданно обрела мощный международный резонанс: посол Франции явился в министерство иностранных дел и принес Извольскому протест от имени Французской республики (наши историки отмечают, что протест был «пламенный»)! Побирушка сунулся было в Синод, но из покоев выскочил разгневанный митрополит Владимир, главный эксперт по части разводов.

— Прочь, нечестивец! — заорал он, взмахивая посохом.— Я кого только в своей жизни не разводил, но в таких гнусных помойках, как ваша, еще не копался... Сухомлинов — уже не мальчик, мог бы и успокоиться. Не будет им божьего благословения!

Побирушка стакнулся с Альтшуллером. «Ну, а теперь что нам делать?» — спросили они друг друга... «Черный кабинет» вскоре перехватил два письма Сухомлинова, посланные им в Киев к сахарозаводчику Льву Бродскому; в них министр открыто выражал свое желание видеть Бутовича *отравленным.* Потом многие документы из сейфов Синода пропали, а митрополит Владимир слег в постель, убежденный, что кто-то подмешал ему в пищу яд. Бутович с малолетним сыном от Екатерины Викторовны таскался по заграницам, проедая по курортам доходы от своего чернозема, потом решил вернуться домой, чтобы (как он говорил) «искать правды у царя». На пограничном вокзале в Эйдкунене в купе к нему подсел тучный господин восточного типа, который сказал:

— Владимир Николаевич, если вы пересечете границу империи, вы сразу же будете арестованы как германский шпион...

В эти дни Екатерина Викторовна проговорилась перед своей дальней родственницей — госпожой Червинской:

— Ах, Наташа! Да я скорее лягу на рельсы, как Анна Каренина, но уже никогда не вернусь на бутовичский хутор...

Одетая с вызывающей роскошью, она теперь обедала только у Кюба или Донона, где публика, привлеченная скандальным разводом, шепталась о ней: «Вот сидит штучка Сухомлинова!», и это ей даже льстило (она согласна быть хоть «штучкой»). Громадную поддержку оказывал им сам царь. Николай II еще смолоду, когда командовал батальоном преображенцев, поощрял браки офицеров с женщинами скомпрометированными. Каждый, кто женился на падшей особе, мог рассчитывать на его благосклонность и быстрое продвижение по службе. Царь вызвал обер-прокурора Лукьянова.

— Я не хотел бы вмешиваться в дела Синода,

но поймите меня правильно: Сухомлинов должен жениться на госпоже Бутович, чтобы министр мог спокойно трудиться на благо отечества.

Лукьянов согласился дать развод, но съязвил:

— Поймите и нас, государь! Каково же будет положение Синода, если каждый новый министр для того, чтобы спокойно трудиться на благо отечества, будет уводить от мужей жен?

Николай II рассмеялся и сказал любезно:

— Войдем в положение Сухомлинова — ему уже на седьмой десяток, так дадим старику побаловаться перед смертью.

«Баловство» закончилось ритуалом свадьбы, шаферами в которой были Побирушка и Альтшуллер, причем Побирушка сказал:

— Владимир Александрович, в кавалерии всегда существует падеж лошадей, а шкурами, снятыми с них, никто не озабочен. Позвольте сдиранием шкур заняться мне... вполне бескорыстно!

— Я понимаю,— отвечал Сухомлинов,— что корысти тут нету, одна чистая трогательная романтика и... шкурная забота!

После свадьбы бакинский миллионер Леон Манташев сразу же повез госпожу министершу лицезреть пирамиды в Египте, откуда они завернули в Рим для осмотра банных фресок Каракалла. Из интересного путешествия Екатерина Викторовна вернулась подвижной, сильно загорелой, а шею ее окружало драгоценное колье, словно выкраденное из гробницы египетской Клеопатры.

— Сколько ж, Катя, ты заплатила за эту прелесть?

— Это дешевка, пупсик, в Каире никто даже не смотрит...

Сухомлинов вдруг загрустил:

— Скажи, птичка моя, а Леон Александрович... он случайно не делал тебе никаких игривых предложений?

Госпожа министерша погрузилась в обморочное состояние:

— Как ты мог подумать? — разрыдалась она.— Я свято несу свой крест — быть женою великого человека!

. . . . . .

Ах, читатель! Я ведь не бездушная литературная машина и, когда пишу, переживаю за своих героев. Честно скажу — мне иногда и жалко этого старого человека в красных штанах. Царь велел ему стать «историческим человеком», и Сухомлинов... стал им. Весною 1917 года его окружила яростная толпа. Под градом кулаков и насмешек оплеванный старик уже не будет понимать, что происходит, и тогда неуместным покажется белый Георгиевский крест на его шее — ведь это его славное прошлое, его молодость, когда он отлично сражался в седле. Затем наступит жалкое прозябание в Берлине, где, оглохший и глупый, он будет писать всякую ерунду, чтобы самому очиститься, а других испачкать. В необъятном море белоэмигрантской литературы книги Сухомлинова — самые плачевные. В них нет даже злости — лишь обиды да кляузы.

6. БАРХАТНЫЙ СЕЗОН

Бархатный сезон в разгаре... Наезжающие в Ялту бездельники, гуляя по окрестностям, упирались в ограду с надписью:

ЛИВАДИЯ, ИМЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА

— Сюда нельзя,— словно из-под земли появлялись охранники.— Требуется особое разрешение ялтинского градоначальника...

Вокруг Ливадийского дворца, под шум тополей и кипарисов, свежо и молодо звенели фонтаны — Мавританский, Венера, Нимфа и прочие. Ветер с моря доносил до помазанников божиих очаровательные ароматы экзотических растений, всхоленных в оранжереях. По вечерам над Ялтою разгоралось зарево электрических огней, туда спешили ночные пароходы, там люди фланировали по бульварам, танцевали на площадках, окруженных фонариками, ели и пили, поднимая бокалы за прекрасных дам, по-своему они были счастливы, и бархатный сезон в Ялте — это, конечно, чудо!

По аллее, увитой розами, гуляли царица и Вырубова с русско-татарскими разговорниками в руках.

Вдали шумела праздничная Ялта, там играли оркестры.

— Скажи,— спросила императрица,— тебе никогда не хочется вырваться из этой золотой клетки на волю?

— Иногда мне правда скушно,— созналась Вырубова.

Александра Федоровна окунула лицо в ворохи прохладных роз, ее рука забросила в кусты татарский разговорник.

— Мне тоже надоела эта... тюрьма!

Крайности всегда имеют тяготение одна к другой, как полюса магнитов. Парижский апаш читает роман из жизни маркизы, а сама маркиза читает роман из жизни апашей. Царям тоже иногда бывало любопытно подсмотреть недоступную народную жизнь.

— Сана,— вдруг предложила Вырубова,— отсюда до Ялты извозчики берут полтинник. Оденемся проще и будем вести себя как обычные гуляющие дамы... Ведь на лбу у нас не написано, что ты царица, а я твоя приближенная...

Взяли извозчика, покатили. Алиса оборачивалась:

— Как-то даже странно, что нас никто не охраняет.

На открытой веранде «Мариино» они ели мороженое, потом с некоторой опаской вышли на Пушкинский бульвар. Ялта город странный: каждый приезжий — барин, каждый ялтинец — лакей барина. Подруги были в больших шляпах, тульи которых обвивала кисея, обе в одинаковых платьях, с одинаковыми зонтиками, на которые опирались при ходьбе, как на тросточки.

Один молодящийся жуир наглейше заглянул под шляпу императрицы.

— Недурна,— сказал он и побежал за ней следом.— Мадам, приношу извинения за навязчивость, но желательно...

— Пойдем скорее,— сказала Анютке царица.

Ухажер не отставал:

— Мадам, всего один вечер. Три рубля вас устроят?

Вырубова едва поспевала за императрицей.

— Отстаньте! Вы разве не видите, кто перед вами?

— Видим... или вам пяти рублей мало?

Александра Федоровна истошно закричала:

— Полиция! Городово-ой, скорее сюда...

Не спеша приблизился чин — загорелый как черт.

— Чего надо? — спросил меланхолично.

— Я императрица, а эти вот нахалы...

Раздался хохот. Собиралась толпа любопытных.

— Пошли,— сказал городовой, хватая Алису за локоть.

— Я императрица... Как ты смеешь! — вырывалась она.

Пока они так общались с внешним миром, вся Ливадия перевернулась в поисках пропавших. Николай II был страшно бледен.

— Где вы пропадали? — набросился он на жену.

— Ники, какой ужас! Меня сейчас приняли за уличную даму!

— Хорошо, что тебя не приняли за царицу,— в бешенстве отвечал Николай II.

Вися на волоске, почти на грани ежедневной отставки, Петр Аркадьевич умышленно бойкотировал молодую царицу, сознательно раздувал слухи о ее ненормальности. Он делал ставку на императрицу старую — на Гневную. А на его столе неустанно трещали телефоны.

— У аппарата Столыпин,— говорил он, и на другом конце провода вешали трубку.— Это знаете зачем звонят? Проверяют — сижу ли я на месте или меня уже сковырнули в яму?

Он принял синодского обер-прокурора Лукьянова.

— Сергей Михайлыч, надо что-то делать с Илиодором... Он, дурак, зарвался до того, что уже не понимает, где лево, где право, хоть привязывай к его лаптям сено-солому.

Лукьянов, профессор общей патологии и директор института экспериментальной медицины, попал в синодскую кастрюлю, как неосторожный петух. Он был приятелем и ставленником Столыпина, которому, естественно, во всем и повиновался.

— Но помилуйте,— сказал он,— что я могу сделать, если Илиодора поддерживает какой-то Гришка Распутин?

— Не «какой-то»,— поправил его Столыпин.— К великому всероссийскому прискорбию, я должен заметить, что возле престола зародилась новая нечистая сила. И если мы сейчас не свернем Гришке шею на сторону, тогда он свернет шею всем нам! — Премьер извлек из стола досье.— Вот бочка с грязью, в которой собраны богатейшие материалы об этом псевдонародном витязе. Это я затребовал в департаменте полиции, и там покривились, но дело дали... Грязный мужик позорит монарха на всех углах, а сам монарх, наш инфант-терибль, этого не понимает. Посему мы, здравые люди, должны открыть государю глаза!

— Вы хотите говорить с ним?

— Если выслушает...

Вечером в Зимнем дворце премьера навестил вежливо пришептывающий Извольский, который не расставался с моноклем, но не умел его носить, и потому лицо министра постоянно искажала гримаса тщательного напряжения лицевых мускулов. Боснийский кризис решил отставку Извольского, и Столыпин для заведования иностранными делами уже готовил своего родственника — Сазонова... Берлин исподволь бужировал войну, а германский генштаб решил «создать в России орган печати, политически и экономически обслуживающий германские интересы». Для этого совсем не обязательно создавать в Петербурге новый печатный орган — еще удобнее перекупить старую газету, авторитетную средь читателей.

— «Новое время»,— доложил Извольский,— как раз и попало под прицел. Сегодня мне позвонил профессор Пиленко, старый суворинский холуй. Он сказал, что немцы действуют через Манасевича-Мануйлова, а денег не жалеют... Беседа с Пиленко прервалась, ибо ко мне вдруг явился сам германский посол — граф Пурталес. Пурталес был явно смущен и грыз зубами трость... «Разговор между нами,— сказал он,— пусть и останется между нами. Но я попал в очень неловкое положение. Берлин перевел в мое распоряжение восемьсот тысяч рублей для подкупа вашей русской прессы».

— Так,— кивнул Столыпин.— Дальше?

— Дальше я постарался свести разговор к шутке.

— Правильно сделали! Пурталес пошел на открытие тайн Берлина только потому, что он, мудрый дипломат, боится войны Германии с нами. Он понимает, как далеко заведет нас эта война. А что касается Манасевича-Мануйлова, то... я вам покажу!

Столыпин извлек из ящика стола громадное донесение о провокаторских происках Манасевича-Мануйлова, украшенное резолюцией премьера: *«ПОРА СОКРАТИТЬ МЕРЗАВЦА. СТОЛЫПИН»*.

За окном вдруг громыхнул бурный ливень.

Извольский откланялся, сказав на прощание:

— Сейчас в Ялте бархатный сезон, вообще-то принято...

— Да, да! — перебил его Столыпин.— Я уже знаю, что вы скажете. Обычно принято от царей приглашать своих министров в Ливадию ради отдыха, но в эту осень царь не позвал — ни меня, ни вас, ни Лукьянова... Отчего так, как вы думаете?

— Я об этом не думаю.

— А я думаю... Всего хорошего. Мне надо выспаться.

. . . . . .

Бархатный сезон начался анекдотом — анекдотом и закончился. 24 октября в пьяную голову царю взбрело одеться в солдатскую форму при полной выкладке — со скаткой шинели, с брякающим котелком и с винтовкой, взятой «на плечо». В таком виде, сильно шатаясь, он продефилировал по Ялте, и в пьяном солдате все узнали царя. В дождливом Петербурге Столыпин, прослышав об этом казусе, был вне себя: «Какой позор! Теперь надо спасать этого комика...»

Премьер срочно выехал в Крым, проведя в душном вагоне 39 часов долгого пути; в вагон к нему забрался журналист из влиятельной газеты «Волга», и ночью Столыпин, блуждая вдоль ковровой дорожки, крепко сколачивал фразы интервью.

— Дайте мне,— диктовал он,— всего двадцать лет внутреннего и внешнего покоя, запятая, и наши дети уже не узнают темной отсталой России, восклицание. Абзац. Вполне мирным путем, запятая или тире, как вам удобнее, одним только русским хлебом мы способны раздавить всю Европу...

В Ливадии его ждал пристыженный пьянкой царь.

— Вам предстоит реабилитировать себя...

Николай II покорно подчинился. На него снова напялили солдатское обмундирование. Он, как бурлак в ярмо, просунул голову в шинельную скатку, вскинул винтовку «на плечо». Столыпин царя не щадил: в ранец ему заложили сто двадцать боевых патронов, а сбоку пояса привесили шанцевый инструмент и баклагу с водой.

— Не забудьте отдавать честь офицерам!

Николай II маршировал десять верст, после чего подставил себя под объективы фотоаппаратов. Для ликвидации скандала всему делу придали вид преднамеренности — будто бы царь-батюшка, в неизреченной заботе о нуждах солдатских, решил на себе испытать, какова солдатская лямка. Этим повторным маневром (проделанным уже в трезвом состоянии) хотели возбудить патриотический восторг армии. Однако русский солдат царю не поверил. Историк пишет: «Солдат очень хорошо понял, что царь «дошел». Но не до солдатской участи, а до той грани, за которой алкоголикам чудятся зеленые змии, пауки и другие гады!»

Разобравшись с царем, Столыпин вернулся в столицу, затуманенную дождями. Низкие темные тучи проносило над Невою.

— Пора спускать собаку с цепи,— распорядился премьер.— Разрешаю начать в прессе антираспутинскую кампанию. Распоряжение негласное. Пусть газеты не стесняются. Правда, тут есть опасность, что, задевая Гришку, невольно заденут и честь царской фамилии. Не спорю, кое-кто заплатит мне штрафы за оскорбление его величества, но это дело уже десятое.

В кабинет, кося плечами, вдвинулся генерал Курлов с замашками удачливого уголовника. Не так давно — за расстрел демонстрации в Минске — под ноги ему швырнули бомбу-самоделку, но Курлов остался цел. Сейчас жандарм обхаживал графиню Армфельдт, успешно отбивая ее у своего подчиненного Виллямова.

— Распутин... пропал! По некоторым сведениям филеров он брал в кассах билет до Саратова или до Царицына.

— Чего ему там надобно? — удивился Столыпин.

— Саратовский епископ Гермоген приютил иеромонаха Илиодора, а теперь Илиодор перетягивает к себе Гришку Распутина.

Ночью он не мог уснуть. Ольга Борисовна спросила:

— Пьер, у тебя опять неприятности?

— Нет... просто не могу забыть выражения глаз Курлова. Наградил же меня бог помощничком! Такой не остановится, чтобы придушить в темном коридоре. Мало того, еще и пуговицы с моего фрака срежет и пришьет их на свою шинелюгу... Я чувствую,— признался он жене,— что тучи собираются. Если не по прямой линии эм-вэ-дэ, то хотя бы со стороны департамента полиции я должен оградить себя от роковых случайностей...

А вдали от столицы поезд проносил Распутина через ночные русские просторы.

7. ИЗГНАНИЕ БЛУДНОГО БЕСА

Царицын... В городе было две фотографии и две типографии. Географы прошлого с похвалой отмечали, что город разлегся по косогору, отчего вся грязь самотеком сливается по улицам в Волгу, не застаиваясь на проезжей части. По дну глубокого оврага текла речка Царица, делившая город на две части. Первая была ограждена руинами древней насыпи, служившею защитой от татар; здесь скособочились ветхие церквушки, дремали в пыли сонные куры; пощелкивая семечки, в дверях лавчонок тошно зевали одурелые от тоски приказчики в рубахах навыпуск, подвергая злачной обструкции каждого прохожего. Зато в новой части города уже кричат паровозы, слышны гудки пароходов, вовсю куховарят дешевые харчевни, возле гостиниц полно пролеток, а в кабаках на пристани посиживают горьковские челкаши, бароны и сатины... Пахнет тут разно — водкой и дегтем, овсом и хлебом, рыбой и кислой верблюжьей шерстью. По булыжным мостовым ветерок перегоняет клочья утерянного с возов сена, под ногами маститых купцов жалобно пищат арбузные корки. Арбузы здесь славные, так и назывались — царицынские, вся Россия их тогда ела...

А через весь Царицын, вздымая тучи желтой пылищи, валит толпа, и в городе все живое разбегается перед нею:

— Илиодоровцы идут... спасайся кто может!

Толпа... Не дай-то бог угодить в эту толпу, если ты для нее чужой: разорвут на сто кусков, словно кошку, которая по ошибке затесалась в хоровод собачьей свадьбы. Через город, захлопнувший двери и ставни, идут илиодоровцы — биндюжники с флагами, маляры с квачами, дружинники с браунингами, бузотеры со шкаликами, лавочники с хоругвями, мясники с ножиками, бабы со скалками, старухи с иконами, мальчишки с рогатками. Нету здесь пролетариев, и полиция в своих депешах на имя Столыпина никогда не забывала отметить это обстоятельство... Впереди процессии патлатые ведьмы, полусогнутые от усилий, влекут по песку колесницу наподобие той, в каких гордые триумфаторы въезжали в ликующий Рим. Но теперь на колеснице, под белым балдахином, украшенным куреслепом и ромашками, высился иеромонах Илиодор, проницая в будущее Руси зелеными глазами лешего. Надо сказать, что зрение у него было превосходное — снайперское! Еще за версту Илиодор видел человека в очках или чиновника, который заранее

не скинул фуражки. В таких случаях следовал призыв:

— Вон дурак! Бей его, чтобы умные боялись...

Илиодор останавливал трамваи, а пассажирам велел стоять в вагонах навытяжку, пока процессия не минует. Он подзывал к пристани волжские пароходы и указывал капитанам, что средь пассажиров замечены «жиды и толстовцы», которых требуется утопить в центре Каспийского моря. Никто не осмеливался возразить, а полиция с почтением выслушивала любую ахинею иеромонаха. Возле ресторана «Северный полюс» Илиодор произнес страстную проповедь на тему о том, что, пока в ресторане доверчивые христиане пьют и закусывают, «жиды и писатели творят свое черное дело». На всякий случай толпа ворвалась в зал ресторана, покалечив «доверчивых» христиан, а сам владелец ресторана дал обет посетить святые места и, стоя на коленях, всенародно поклялся быть исправным подписчиком на газету «Гром и Молния» (которая, кстати, в свет еще не выходила)... Нашелся в Царицыне такой мерзавец, который, стоя в дверях скобяной лавки, шапку-то снял (и очков не носил, слава богу!), но позволил себе при прохождении толпы, стыдно сказать, *засмеяться*. Наказание было ужасно — смешливого торговца скобяными товарами окунули в выгребную яму. Затем попалась какая-то дама сорока с лишним лет, довольно симпатичная, которой Илиодор с высоты своей колесницы сделал строжайшее внушение, чтобы она на чужих мужчин не засматривалась.

— Да что вы ко мне пристали? — обиделась та.— Я иду своей дорогой, а вы идите своей. Какое вам до меня дело?

Илиодор велел ей в наказание примкнуть к его толпе.

— Да ты просто сумасшедший! — сказала дама.

Тогда Илиодор подозвал пристава и указал тому составить протокол об оскорблении духовного сана. После чего тронулись дальше — с криками: «Шапки и очки долой! Русь идет...» На балконе третьего этажа некие супруги Николаевы осмелились пить чай с ежевичным вареньицем. Толпа пропела им анафему, а Илиодор произнес зажигательную речь о падении нравов, причислив любителей чаепития к зловредной секте читателей Льва Толстого. С прапорщика запаса Волкова, идущего в банк за пенсией, сбили фуражку, а когда он, наивный человек, сказал, что офицеров бить нельзя, Илиодор крикнул: «Это социалист!» — и толпа смяла прапорщика. Жандармский полковник Тюфяев, сопровождавший процессию, решил вступиться за Волкова, но Илиодор скомандовал дружине № 1, чтобы Тюфяева взяли и выяснили, нет ли у него тайных связей с масонами и синедрионом. Профессиональный борец Корень шапку перед илиодоровцами снял, перекрестившись, но с папироской не пожелал расстаться, что его и погубило... Илиодор заметил дымок.

— Брось дымить, или не видишь, что Русь идет?

— Кака там ишо Русь? — не поверил Корень.

С волжским чемпионом классической борьбы, конечно, пришлось как следует повозиться, и на подмогу дружине № 1 была брошена в бой дружина № 2. Борца все-таки связали и, паля в небо из браунингов, оттащили в острог. Толпа вышла на берег Волги, где заранее из досок и соломы было сооружено гигантское чучело «гидры революции». Илиодор заверил демонстрантов, что внутри «гидры» засели социалисты, евреи, толстовцы, кадеты и прочие, после чего прочел им всем смертный приговор, начертанный на куске красного картона. А когда чучело (под вопли «анафема»!) подожгли, Илиодору с пристанской почты принесли телеграмму.

— Братия и сестры! Великая весть дошла до нас... На наши сладкие виноградники едет могучий старец Григорий Распутин — ура, великий изгонитель бесов приближается к нам — ура!

Все это происходило не при царе Горохе, а в царствование Николая II, когда творили Максим Горький и Мечников, Репин и Циолковский, когда пел великий Шаляпин и танцевала несравненная Анна Павлова, когда Заболотный побеждал чумную бациллу, а макаровский «Ермак» сокрушал льды Арктики, когда Борис Розинг обдумывал проблемы будущего телевидения, а юный Игорь Сикорский вертикально вздымал над землею первый в России вертолет... Об этом следует помнить, чтобы не впадать в ложную крайность.

. . . . . .

Далее я вынужден следовать секретным отчетам полиции и запискам Илиодора... Распутин приехал страшный! В каком-то драном полушубке с чужого плеча, руки не мыл с неделю, лицо изможденное, взгляд скользящий, нечистый. Сам признал, что в дороге насквозь пропился — приехал чуть ли не зайцем без копейки. «Только было уснул, как все карманы обчистили. Был рупь, помню. Проснулся — нету...» Местная черная сотня поднесла ему хлеб-соль на подносе, как союзнику, она собрала 150 рублей, на которые справили Распутину новую шубу (был ноябрь 1909 года — уже холодало). От Саратова Гришка ехал вместе с Гермогеном, который и нашептал Илиодору: «Связались мы с ним, а зря... Бес он паршивый!» Илиодор отвечал епископу: «Я же его в Царицыне уже за святого представил». На что получил ответ Гермогена: «Козлом от него несет, а не святостью. Но коли нам пока угоден, будем его держаться. Дай ему, собаке, похмелиться!» С разговорами о трудностях в дороге и о том, что не стало в народе честности, Гришка выдакал 12 бутылок церковного кагору и даже не окосел. В оправдание себе сказал: «Это ж духовное... такого мне хоть бочку ставь!» Илиодор вспоминал: «Гришка охотно целовал молодых женщин, а старух отпихивал. Гриша у меня исповедовался: «Что я буду делать, когда царицка шугнет меня от себя?» — Эта фраза и некоторые другие дали мне понять, что против него собирается кампания (верно: Столыпин уже начал ее!)... Гриша много рассказывал, как с Вырубовой и другими женщинами ходил в баню... как радел с Вишняковой, нянькой царских детей. Рассказывая все это, Распутин выпытывал у монаха: «Ну, как? Соблазняешься?» Давно известно, что мо-

нах занимает женщину так же, как мужчину занимает монахиня. Женщина сердцем чувствует, что отрешение мужчины «от мира» есть прежде всего отречение от нее, и поэтому женщина так стремится разбудить в монахе именно мужчину. Илиодор сейчас попал в неприятное положение. Он жил в окружении женщин, легко перешагивал через них, спящих на полу храмов, но берег себя в чистоте, никакого блуда за ним никогда не водилось. И теперь ему стало ясно, что Гришка приехал неспроста,— ему хочется сделать монаха сообщником в разврате... Илиодор это понял и сказал так:

— А в народе-то про тебя скверно глаголют. Будто я позвал в Царицын не святого старца Григория, а жулика Распутина...

— Это нехорошо, брат,— отвечал Гришка.— Я вить делаю новый подвиг, церкви ишо неизвестный. Вишь, ёропланы залетали... это новое. И я, брат, тоже новый — вроде энтих ёропланов. Какая с ёропланов польза? Никакой. А с меня много пользы.

Распутин был заранее разрекламирован в Царицыне как «изгонитель бесов», причем Гришка уточнил по приезде:

— Женских бесов! А за мужских я не берусь...

Хитрущий Гермоген, почуяв назревание скандала, хотел уже скрыться в Саратов, но Илиодор не отпустил его: «Мне одному с Гришкой не справиться... Попробуй вдуди каждому в ухо, что он святой!» Дабы поднять авторитет Распутина, втроем поцили в фотографию Лапшина, где чинно и благородно снялись на карточку в порядке слева направо: Гришка — Гермоген — Илиодор (все сидючи на стульях). Фотографии размножили в невероятных количествах и раздавали, как иконки, моляцимся в храме. А пока они там «гоняли бесов», газеты уже начали травлю: Гришка читал ругань по своему адресу, страшно удивляясь, откуда журналисты знают все подробности его прошлого, и он уговаривал Илиодора ехать с ним в Покровское — там пережидать газетную бурю. Неожиданно к возмущению газет подключилась и Дума, депутаты которой хотели ставить перед правительством официальный запрос о Распутине.

— Ну, поехали... пропала моя головушка!

— Не ты ли, Гриша, учил меня: «Клопов не бойся, ежели кусают — чешись!» Вот, миленький, и почесывайся...

Волгу сковало льдом, с вокзала покрикивали поезда. 27 ноября стали собираться в дорогу. До места предстояло ехать 9 суток. Распутин перед отъездом домой отбил телеграмму в Царское Село:

Миленькой папа и мама вот бес то силу берет окоянай! А дума ему служит там много люцинеров и жидов. А им что? Скорей бы божего по мазанека долой и Гучков господин их прохвост клевета смуту делает. Запросы. Папа! Дума твоя што хошь то и делай. Какеи там запросы? Шалость бесовская. Прикажи Не какеих запросов не надо Роспутин

. . . . . .

Московский приват-доцент Новоселов выпустил о Распутине брошюру, в которой разоблачил его как развратника-хлыста и обругал Синод за попустительство распутинским оргиям. Брошюра тут же была арестована полицией, но спекулянты продавали ее из-под полы за бешеные деньги. Газетная шумиха вокруг имени Распутина охватила всю империю — «от хладных финских скал до солнечной Тавриды». В разделе фельетонов читателю преподносили теперь покаянные письма женщин — жертв «изгнания бесов». Прилагались фотографии, на которых Распутин был изображен в кругу своих почитательниц. Тиражи газет конфисковали, издателей штрафовали, а редакторов сажали. Репрессии властей против газет имели обратное действие. Поместив материалы о Распутине, издатель охотно платил пятьсот рублей штрафа, понимая, что доход от продажи газет по повышенной цене даст ему пять тысяч рублей чистой прибыли. Было из-за чего рисковать! Антираспутинская кампания сделала имя Гришки широко известным: «если кто раньше и не знал его, то теперь все ведали, что такой гад существует и он неистребим! Натиском печати исподтишка руководил сам премьер государства; одной рукой Столыпин инспирировал разоблачения старца, другой налагал штрафы за публикацию статей о нем... Думский же запрос о Распутине затормозил не кто иной, как самый опасный враг Распутина — Родзянко, неуклюжий и рыхлый господин с седым ежиком на крупной голове, часто небритый, умный и резкий.

— Не торопите события, господа,— сказал он думцам.— Дайте мне собрать на Гришку побольше материалов.

Календари империи отмечали канун 1910 года.

8. РОДНЫЕ ПЕНАТЫ

Паровоз почти трагическим ревом покрывал безлюдье заснеженных сибирских пространств. Редко мелькнет за окном вагона нежилая заимка, еще реже встретится деревня средь вырубок, и совсем уж редко экспресс пронизывал залитые электричеством вокзалы городов — с их суматохой носильщиков и жандармов, с гамом ресторанов, с запахами духов и воблы, коньяку и дегтя. Глядя на белые пажити и на леса, стынущие под снегом, Илиодор невольно вспомнил, что писал великий Карлейль: «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима...» Цитировать же эту фразу для Гришки не хотелось, ибо тогда пришлось бы ему, дураку, разъяснять, кто такой этот Карлейль, а было монаху лень заниматься просвещением варнака, который, поглядывая в окно, со значением покрякивал:

— Кажись, и Курган скоро... станция-то с буфетом! Не сбегануть ли за бутылочками? Деньги-то у тебя, Сережа, имеются?

— Я городу Царицыну полмиллиона задолжал, а где река текла, там всегда мокро будет... Ох, великий должник я!

— Да не! — убежденно заявил Распутин.— Я вот

ране, ишо в мужицком положении, о мильёне и понятия не имел. А теперича пообвыкся и вижу — мильён нахапать завсегда можно.

Ехали они, ехали. К чертям на кулички. Разговаривали. Илиодор решил выведать у Гришки тайну его успеха при дворе.

— Ты, Гриша, пей, а меня уволь. Я на вино слаб...

Подпоив Гришку, он повел на него атаку по всем правилам логики. Давно уже приметив в Распутине непомерное тщеславие (не свойственное массе русского крестьянства), Илиодор умышленно сыпанул солью на самую болезненную рану Гришки:

— А не верю я тебе, Гриша, обманщик ты! Плетешь ты что-то о своем положении при царях, да врешь, наверное.

— А хто тебя в Царицын устроил? Тока пальчиком шуранул, кому надо подмигнул — и ты тама! Рази не я? Или, может, скажешь, что и газеты меня задарма облаивают?

— Мало ли кого не лают в газетах,— подзуживал иеромонах.— Про меня, эвон, тоже пишут, будто я разбойник какой.

— Нет, ты погоди... Да знаешь ли, куда я вхож к царям? Аж прямо в спальню, да! Царицку целую, она ко мне жмется, как ребенок. Это ей, вижу, нравится. А я — пожалте: нам не жалко!

— Врешь,— сказал Илиодор, словно ударил.

Распутин даже зубами скогорготнул — в ярости:

— Так я те докажу! Вот прибудем в Покровское, сундук отворю, у меня на дне ево письма царицки лежат. Сам прочтешь...

— Ну-ну,— говорил Илиодор.— Покажи. Может, и поверю.

Илиодора такие речи коробили. К царице, после свидания с нею, он относился скверно. Но, будучи убежденным монархистом, страдал за эти рассказы Распутина о царях, в которых Гришка всегда выглядел соколом, а цари негодными цуцыками.

— Не веришь мне, што ли? — ерзал Распутин.

О царе он говорил с явной горечью, как о бесправном родственнике, который мешает ему налаживать прочное хозяйство. Правда: если собрать все высказывания Распутина об императоре, получится немалый том отрицательных отзывов. Все похвалы Распутин расточал в адрес императрицы:

— Баба с гвоздем, она меня понимает. А царь пьет шибко. Пуганый. Я ему говорю: «Брось пить, нешто пьяному-то тебе легше?» А он мне: «Ничего ты, Григорий, не понимаешь». Я с него зароки беру, чтобы вина не пил. Беру на месяц. Так он в ногах у меня наваляется: Григорий, просит, на две недельки. Я ему на полмесяца указываю не нюхать даже. А он, быдто купец на какой ярмарке, недельку себе выторговывает. Слаб! Сла-аб...

Вконец опьянев, Распутин вдруг раздавил в пальцах стакан, начал крыть матюгами Столыпина и Феофана:

— Феофан сдохнет... Столыпин — тоже! Сестра царицкина Элла, та, что в монахини записалась, вот она да ишо фрейлина есть такая... Тютчева! Грызут меня. Клопы, мать их...

— Чешись, коли кусают. Чешись, Гришуня!

Илиодор оставил его внизу, полез на верхнюю полку. Теперь надо было кое-что продумать, кое-что запомнить навеки.

В сильный морозище ехали до Тобольска, потом на лошадях тащились в санках по скрипучему снегу до Покровского.

— А я брату Антонию тобольскому еще из Челябинска телеграммку свистнул, чтобы он тебе обеденку позволил отслужить.

Стало ясно, что Гришка везет Илиодора с определенной целью, дабы укрепить свое значение среди односельчан.

— Ну и что тебе Антоний ответил?

— Да ничего... поганец такой!

В струях дымков открылось село Покровское, где домочадцы ждали своего кормильца. От калитки до крыльца выстелили они ковры, по которым прошел сам Распутин и провел по ним гостя. Даже внешний вид дома произвел на Илиодора сильное впечатление. Внутри же — кожаные диваны, стеклянные витрины, пальмы и фикусы в кадушках, буфеты натисканы хрусталем и фарфором, всюду масса пасхальных яиц, писанок и крестиков — будто в молельне. По стенам висели царские портреты в очень богатых золоченых рамках. Распутин, похваляясь, с крестьянской бережливостью указывал, какая вещь сколько стоит.

— Вишь, как живу? — говорил, очень довольный...

Парашка накрывала на стол к ужину, девочки, дабы поразить заезжего гостя, тыкали пальцами в клавиши рояля, а сын Митька, прятался за углы, мычал идиотски: «Мммммм.... гы-гы-гы!»

— Что он у тебя, Гриша... иль ненормальный?

— Да не,— отвечал Распутин.— Это он так... в его летах я тоже придурком был, а потом вишь, каким стал.

За ужином проявила себя Парашка, которая, чтобы опередить предстоящие изветы односельчан, сама брякнула Илиодору:

— Болтают тут у нас невесть што, а мы с моим Гришенькой душа в душу живем, точно голубки... Верно, родимый?

— Ага,— отвечал тот, наматывая на вилку хвост селедки и отправляя ее в рот.— С молокой попалась! — сообщил радостно.— Ну-к, Парася, ставь ишо бутылочки три-четыре.

Забрехали собаки, взвизгнула калитка, принесли телеграмму. При свете керосиновой лампы Гришка прочел ее и засмеялся:

— Царицка жалится, что ей скушно. Ну, да я не поеду! На што ехать-то? Слушать, как меня в газетах языками скоблят...

Илиодора уложили спать на кушетке в горнице. Он пишет, что жившие в распутинском доме девки, Катя и Дунька Печеркины, стали стелить матрасы на полу. Дунули на лампу — темно...

— Это вы зачем здесь? — взбеленился иеромонах.

— А нам отец Григорий велел.

— Брысь отседова, мокрохвостые...

Из-за стенки послышался голос Распутина.

— Ладно, ладно... они уйдут. Спи!

«Я понял,— писал Илиодор,— что Распутин хотел меня соблазнить на грех, чтобы сделать меня связанным, когда я... дерзнул бы выступить против грязных дел Григория». Утром монах проснулся от громкого скрипа половиц. Это блуждал Распутин, немытый, нечесаный, в одних кальсонах, босой. «Враги, враги,— бормотал он,— гнетут меня, анахтеми... помогай, боженька, их осилить!» Вечером он назвал в гости местную «интеллигенцию»: учителя с женою, священника Остроумова, писаря и каких-то двух барышень с гитарами. Учитель в зеленых штиблетах, угодничая, подхалимски ржал, рассказывая глупые анекдоты, барышни терзали гитары, пытаясь настроить их на «духовный» лад, а священник, крепкий мужчина с выправкой солдата, не проронил ни слова, ни к чему на столе не коснулся. Распутин шлялся по комнате в плохо застегнутых штанах, которые он заправил в длинные шелковые чулки голубого оттенка... Гости посидели и убрались.

— А попу Остроумову не верь,— сказал Распутин.— И деревенским, коль трепаться станут про нас, тоже не верь.

— Почему же, Гриша?

— Завидуют нехристи,— просвистел Гришка...

Перед сном он поманил иеромонаха в комнату, где стоял сундук с замком. Извлек из него завернутые в тряпку письма.

— Не верил ты мне, так гляди... Это царицка пишет. Это от дочек ее. А вот наследник Алешка, смотри, какие ковелюги, одна лишь буква «А» получилась, а все остальное — чепуха...

Перед глазами Илиодора поплыли строчки царицы: «Возлюбленный мой, если все тебя забудут, если все от тебя откажутся, я никогда-никогда не забуду...» Из Ливадии писала подросток Ольга: «Так жалко, что давно тебя не видела». А вот письмо от Анастасии, поразившее Илиодора безграмотностью: «Када ты приедишь суда я буду рада... када ты приедишь тада я поеду к Ани в дом и тада тебя увижу приятна мой друк».

Распутин плотно обмотал царские письма в тряпку.

— Теперь-то веришь, что я при царях шишка?..

Илиодор все же навестил покровского священника Остроумова, который принял монаха с откровенным недоброжелательством.

— Зачем вы здесь появились? — грубо спросил он.

— В гости заехал... к другу.

— Ваш друг — замечательный мерзавец.

Опытный интриган, Илиодор знал, что на противоречиях можно заставить собеседника высказать самое откровенное.

— Да бросьте! Отец Григорий хороший человек.

— Сволочь, каких еще поискать надо.

— Его сам государь отличает,— сказал Илиодор.

Остроумов едва сдерживался от брани.

— Если вы знаете о Григории дурное, так почему же лично о сем царю не доложите? — тонко строил интригу Илиодор.

Тут попа прорвало.

— И знайте,— заключил он рассказ,— что я никакой не священник, я агент святейшего Синода, наблюдающий за богомерзкими делами Распутина от имени обер-прокурора Лукьянова, и я уже дал телеграмму в департамент полиции, что в доме Распутина скрывается беглый каторжник... Это о вас, милейший!

— Простите, разве же я похож на каторжника?

— Одна ваша рожа чего стоит! — ответил Остроумов...

В доме Распутина с неудовольствием восприняли его визит к Остроумову, но Илиодор переговорил еще и с крестьянами. С их опросу узналось, что покровские жители считают Распутина дураком и мошенником. Когда он, чтобы задобрить односельчан, выхлопотал в Петербурге двадцать тысяч рублей на построение в родном селе нового храма, мужики собрались на сходку и единогласно постановили: «Денег не брать!» Илиодор шел через все село, громко хрустя валенками по снегу. В домах жгли лучину, только в распутинском доме светло и беззаботно, палили керосин. Было холодно. Звезды. Тишина. Синеватый мрак... В голове церковного баламута кое-что прояснилось. Через узкие щелки глаз, заплывших «духовным» жирком, Илиодор жадно впитывал в себя это желтое сияние, что исходило от распутинских окошек.

— *Надо брать,*— загадочно произнес он...

Ночью, когда в доме все уснули, Илиодор затеплил от лампады тонкую свечечку. Взял нож. Прокрался в соседнюю комнату, где берегся сундук. Неслышно, как заправский взломщик, он заставил замок открыться. Достал связку писем царицы и ее дочерей, запихнул их под рубашку и, дунув на свечку, вернулся к себе на кушетку. В будущем эти письма должны сыграть свою роль!

. . . . . .

Русская кинохроника того времени, как это ни странно, чаще всего обыгрывала сюжет — купание зимою в проруби. Это был самый ходовой товар для экранов Европы, ибо вполне отвечал представлению иностранцев о бытовой стороне жизни русского человека как человека чрезвычайно сильного и здорового, для которого посидеть в обледенелой проруби — это сплошное удовольствие! В 1908 году на русский экран энергично вышел сам Столыпин, запечатленный на пленке «Вечер у П. А. Столыпина в Елагином дворце», но фильм был сразу же запрещен, и я подозреваю, что тут не обошлось без зависти царицы, которая тоже снималась в фильме с мало интригующим названием «Их императорские величества высочайше изволят пробовать матросскую пищу на императорской яхте «Штандарт» во время плавания в шхерах в 1908 году». Я не думаю, что на фильм с таким названием публика повалила!..

Занимая царские апартаменты в Зимнем дворце, Столыпин не всегда был тактичен по отношению к царям. Дерзость его дошла до того, что однажды он принял за своим столом офицеров *при оружии* (что полагалось только за столом царским). Прослышав об этом, Алиса ядовито заметила: «До сих пор у нас бы-

ло две царицы, но показалась и третья!» Она имела в виду себя, Гневную и жену премьера, Ольгу Борисовну. Вспомнив про Мишку, царского брата, и его метрессу Наталью, она добавила: «Не исключено, в скором времени их будет уже четыре...»

В один из дней Столыпин начал доклад Николаю II:

— Обращаю внимание вашего величества на некоторые неудобства в связи с пребыванием подле вас некоего Григория...

Но царь тут же прервал его:

— Давайте перейдем к текущим делам!

Вернувшись в «желтый дом» на Фонтанке, Столыпин немедленно велел секретарю звать Курлова... Он ему сказал:

— У меня хорошая память, и я не забыл о своей резолюции по делу Манасевича-Мануйлова... Этот вундеркинд жирует по шантанам, его часто видят в Суворинском клубе, где он шикарным жестом бросает червонец «на чай» швейцару. Все зубы у него, блестящие от золота, целы и ни один из них еще не пошатнулся!

— Будет исполнено,— хмуро посулил Курлов.

9. ВУНДЕРКИНД С САХАРНОЙ ГОЛОВКОЙ

Как уже догадался читатель, назрел момент для появления нового героя распутинщины; безжалостно разрывая ткань событий, он вторгается в наш роман, наглый и опасный, и не заметить его мы не вправе. Даже самая скверная жизнь бывает достойна исторического внимания... Мир не состоит из добреньких людей!

. . . . . .

А все начиналось с бандероли... Бандероль — тьфу и цена ей копейка. Узенькая ленточка с продольными полосками. Подделать ее — пара пустяков. Вся еврейская беднота западных губерний целых полвека только и жила с того, что «тянула акциз». В каждом подвале стоял примитивный станок, и никто не ленился; дети мазали краской печатный валик, женщины вращали ручку станка, а бандероль струилась в почтовый мир верстовою лентой. Понятно, что никто уже не стремился покупать бандероль казенную, ибо фальшивая стоила дешевле... Нашелся такой ребе Тодрес Манасевич, который дело частной инициативы поставил на широкую ногу капиталистического гешефта. Он сплотил евреев в могучую фабричную кооперацию. Теперь они «тянули акциз» гораздо быстрее, нежели это поспевала делать государственная типография. Фальшивые бандероли опоясывали всю Российскую империю *, а Тодрес Манасевич, попивая мозельское, уже забыл вкус родимой пейсаховки, и подрастал у него сыночек с мыслительным аппаратом конической формы, вроде головки сахара, отчего старые раввины говорили так: «Сразу видно гениального ребенка! Сладкая сахарная головка зреет в доме нашего умного и дельного ребе Тодреса...» Все шло хорошо, пока русская казна не подсчитала колоссальные убытки. Полиция вдрызг разнесла станки фабрик, гешефтмахера на вечные времена закатали в Сибирь, где он и умер. «Сахарную головку» усыновил богатый купец из евреев Мануйлов, который вскоре приехал в Петербург и здесь, вместе с приемным сыном, перешел в лютеранскую веру. В крещении приемыш стал называться Иваном Федоровичем Манасевичем-Мануйловым, а перед смертью купец завещал Ванечке сто тысяч рублей, но с твердым условием, чтобы он получил их лишь по достижении 35-летнего возраста... Революция 1917 года раскрыла пухлое досье под шифром: *СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО. ВЫДАЧЕ В ДРУГИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НЕ ПОДЛЕЖИТ*. Жандармы фиксировали: «Красивый толстый мальчик обратил на себя внимание известных педерастов... Мануйлова осыпали подарками и деньгами, возили по шантанам и вертепам, у него рано развилась пагубная страсть к роскоши, кутежам и швырянию денег». Заодно уж Ванечка смолоду набил себе руку в писании статей для желтой прессы. Великосветские развратники устроили свою «фею» в «Императорское Человеколюбивое Общество», где он получил первый чин. Под капиталы, лежавшие в Сибирском банке, хватал деньги у ростовщиков, и вскоре от богатого наследства остался пшик на постном масле. Тогда паразит предложил свои услуги царской охранке, где бытовал жесткий, но остроумный закон: «Бей по воробьям — попадешь и в сокола!»

— Что вы любите больше всего? — спросили жандармы.

— Деньги! — отвечал Ванечка с очаровательной улыбкой.

— Ну что ж. Так и запишем: *продажен*...

В 1905 году его заслали шпионить в Париж *, где Ванечка все казенные денежки спустил в шантанах. Покровители спасли его от тюрьмы, зачислив свою любимую «фею» в департамент духовных дел, который отправил его прямо... в Ватикан! Ломай голову сколько угодно, но такого не придумаешь: иудей по рождению, лютеранин по вере, он в центре мирового католицизма выступал как ярый защитник православия. Помимо этого он следил в Риме за русской и польской эмиграцией, пролез в редакцию социалистической газеты «Аванти». Но и тут не удержался; завербовав для охранки кучу платных агентов, Ванечка платежные деньги прокутил. Обманутые шпионы слали угрозы в Петербург — лично царю! «Этого вундеркинда,— велел император,— уберите-ка из Рима в Париж, я от своего имени дам ему десять тысяч франков». На эти деньги Ванечка основал в Париже официоз Романовых «La revue Russe», в котором хлестко доказывал Европе, как благоденствуют люди русские под мудрейшим царским попечением. Война с Японией обогатила его баснословно; по пятьдесят тысяч в год урывал только от охранки «на борьбу с революцией», не считая того, что приворовывал (он умудрился огра-

---

* Об этой гигантской афере Т. Манасевича подробно сказано в книге М. Д. Бонч-Бруевича «Вся власть Советам» (М., 1958).

* Из Парижа Манасевич-Мануйлов продал охранке якобы японские секретные коды, которые на поверку оказались страницами, вырванными наугад из англо-японского словаря.

бить даже тертого попа Гапона, обчистив кассу его «рабочих» организаций). Из МВД его вышибли, и Ванечка ушел, печально бряцая орденами: русским — святого Владимира, испанским — Изабеллы Католической и персидским — Льва и Солнца. «Теперь,— объявил он,— мне ничего не остается делать, как только стать писателем...»

Манасевич-Мануйлов уселся за стол журналиста, бегая между отцом и сыном Сувориными — из «Нового времени» в «Вечернее время». Вокруг себя он поставил густую дымзавесу: мол, слухи об отставке неверны, я по-прежнему в охранке, а потому его и боялись. Мерзавец повадился писать театральные рецензии на молоденьких актрис. «Обильные ужины в ресторанах, дорогие подарки — все пускалось в ход, лишь бы удовлетворить этого высокого покровителя искусств...» Он заставлял юных актрис продаваться ему за хорошую рецензию. «Иначе я тебя уничтожу»,— говорил он, обворожительно сверкая золотыми коронками. Набеги Ванечки на сады, вроде сада «Олимпия», напоминали нашествие варягов. Владельцы садов сначала кормили его в отдельном кабинете, подсаживая к нему хорошеньких певичек, а потом говорили:

— Иван Федорыч, у вас из кармана выпали сто рублей.

— Неправда,— отвечал Ванечка,— я уронил пятьсот...

Договаривались на том, что выпало триста. На другой день в газете следовало возвышенное описание садовых забав и воспевалась примерная гигиена отхожих мест. В это время его подобрала актриса Надя Доренговская, хорошая женщина, для которой этот роман обернулся трагедией. Впрочем, если верить знатокам жизни, то порядочные женщины чаще всего и влюбляются в негодяев!

. . . . . .

К своим жертвам, которые он собирался обезжирить, Ванечка относился с обаянием дантиста-экстрактора; берясь за страшные щипцы, он радушно говорит: «Откройте рот пошире. Будет больно, но придется потерпеть». Первую половину трудового дня Манасевич посвящал усиленной работе на благо процветания общества. Список клиентов, жаждущих, чтобы их обезжирили, был велик: Минц, Шапиро, Беспрозванный, Якобсон, Гуревич, Шефтель, Рабинович — несть числа им... Ванечка выходил с улыбкой: «Стройся по ранжиру! Которые побогаче, те с правого фланга, победнее — в конец, а кто денег не имеет — подожди на лестнице, когда заведутся». Пресловутая черта оседлости угнетала евреев, они всячески цеплялись за жизнь в столице. Один хотел открыть типографию для печатания визитных карточек, другой мечтал варить мыло, пахнущее непременно нарциссом, третий видел себя владельцем магазина пуговиц. Ванечку евреи страшно боялись, а сионисты лютейше ненавидели за отсутствие соплеменного патриотизма, ибо Ванечке было плевать на мифы об Израиле, его заботила только дневная выручка, и потому, когда он замечал, что еврей жульничает, он мстил ему жестоко: «Сейчас часовых дел мастера не нужны. Своих девать некуда. Зато есть у меня один роскошный блат... на Путиловском заводе! Хочешь, устрою учеником слесаря? Не хочешь? Ну, я так и думал... Проваливай!» На крайние случаи жизни, когда клиент был достоин особого почтения, Манасевич-Мануйлов имел особый телефон, не подключенный к телефонной станции. Но клиент этого, конечно, не знал, и Ванечка в его присутствии снимал трубку, говоря уверенно:

— Барышня, мне приемную Столыпина... Петр Аркадьич? Добрый день, это я... ну, конечно. Кстати, как там дело с этим... Да нет, я не тороплю вас, упаси бог, но человек-то волнуется...

Повесив трубку, Ванечка огорченно вздыхал.

— Трудно,— жаловался тому же клиенту.— Мне-то от вас ничего и не надо, и так проживу, но вот министры... Сами понимать должны, какой у них аппетит. Прекрасный! Это не то что у меня, который сыт одной изюминкой. Берут в пакете. На ощупь...

Закончив прием просителей, он уходил в редакцию, садился за стол, злодейски размышляя: «Что бы написать такое, чтобы читатель чесался хуже паршивой обезьяны?.. Где взять тэму?»

К нему заскочил давний приятель — Егорий Сазонов:

— Ванька, а ты чего печальный сидишь?

— Тэмы нет... и трешки не заработал.

— Что ты за дурак такой? Да пиши о Распутине.

Манасевич-Мануйлов поморщился — скушно.

— Ну, что мне твой Распутин? Что он знает и что он может? Бабы, винцо, бани, вокзалы... Вот если бы он, любимец богов, градоначальнику Петербурга штаны с лампасами порвал! Вот если бы он, кудесник, Столыпину фонарь под глазом засветил!

— Плохо ты знаешь Ефимыча,— отвечал Сазонов.— Поверь, что этот мужчина на святой редьке с уксусом плотью не иссушится! Хочешь, я тебе это распишу до печенок?

— А почему сам не пишешь о нем?

— Не могу! Потому что Распутин у меня же в доме и живет. С детьми возится. Кухарке помогает самовар ставить... Материал у меня на него собран — ох! Договоримся: я тебе его *продам*. Но только ты меня, Ванька, не выдавай.

— Журналист, как и врач, обязан скрывать болезнь пациента. Ты не бойся. Вали все...

Вечером Ванечка снял трубку телефона.

— Барышня, мне сорок-семнадцать, личный аппарат на улице Жуковского... Наденька, это я. Поставить в духовой шкаф отбивные из зайчатины с красной капустой. Приду поздно. Тэма есть!

«Сахарная головка» старательно склонился над чистым листом бумаги, чтобы сделать его грязным и за это получить деньги.

. . . . . .

Суворинский клуб (Невский, № 16) — самое пахучее стойло журналистов-черносотенцев, средь которых Ванечка всегда чувствовал себя великолепно, как микроб в питательном бульоне. С тех пор как старик Суворин разругался со своим сыном Борькой, тот отпочковался от батькиного «Нового времени» и заварил свою крепкую бурду в «Вечернем времени». Входя в

буфет, где было принято просаживать гонорары, Ванечка сказал журналистам:

— Там внизу какой-то пьяный валяется...

Никто на эти слова не обратил внимание. Борька Суворин, с утра насквозь проконьяченный, сидел на столе и стряхивал пепел папиросы на свои брюки в крупную клетку. Манасевич выпил рюмочку слабенького винца и закусил виноградинкой, которую стащил с чьей-то тарелки. Сам подошел к Суворину.

— Ну как?— спросил издатель.— Писал?

— Пописывал.

— Крепко?

— Не жуть.

— Для меня? Или для родителя моего?

— Для твоей «вечерки»... о Распутине.

— А ты с ним мадеру хлебал?

— Не.

— Так чего суешься?

— Кое-что нащупал.

— Поздно хватился. Уже все описали.

— Позднее всех и закончу...

Борька выложил рубль и сказал:

— Лень вставать. Дай за меня маза хорошего!

Ванечка пробил за него удар на бильярде, промахнулся, получил еще рубль, опять промазал, с третьего засадил шар в лузу.

— Катись,— сказал издатель...

Вошел толстенький профессор Пиленко.

— Сволочь ты,— тихонечко сказал ему Манасевич на ухо.— Ты зачем же на меня бочку с кайзером покатил?

Пиленко призадумался о тех путях лабиринта, которые вывели Ваньку к его разговору с Извольским. На всякий случай профессор уселся на стуле плотнее и перешел в контратаку:

— Бурцев сейчас в Париже собирает с политэмигрантов денежки, словно татарин ясак с православных, а... зачем?

— Зачем?— моргнул Ванечка.

При этом нервно моргнул и профессор Пиленко.

— А затем, что ты, агент охранки, обещал Бурцеву, что за миллион наличными продашь ему тайны нашего эм-вэ-дэ...

Между ними врезался пьяный журналист-нововременец Краков, женатый на сестре Бориса Савинкова, и обоих расцеловал:

— Только без драки... Мы же все братья!

Скандал прервало появление швейцара.

— А внизу пьяный валяется. Уж вы посмотрите, ваш или не ваш. Писатель или не писатель? Вышибать его или так оставить?

— Оставь так,— сказал Краков.— Потому что если он еще не писатель, то он обязательно станет им...

Шел уже третий час ночи, когда Ванечка по Надеждинской возвращался к себе домой на Жуковскую. Было темно и пустынно. Его окликнул вполне приличный господин с тростью:

— У вас горит? Позвольте прикурить.

— Ради бога,— сказал Ванечка...

Прохожий нагнулся к его папиросе и вдруг — снизу вверх!— со страшной силой вонзил в ноздри Ванечки два пальца. Голова журналиста вздернулась. От страшной боли из глаз хлынули слезы. Он очнулся лишь тогда, когда приличный господин вырвал из ноздрей свои пальцы (при этом раздался щелчок, словно откупорили шампанское) и сказал набежавшим из подворотни филерам:

— Это он! Я не обознался... тащите его.

Ванечку в охранке решил допросить сам Курлов.

— Здравствуй, Ванюшка,— сказал он приветливо.— Ну, милый, ты меня знаешь, я тебя знаю, люди свои, богадельня наша родная, порядки тебе знакомы... Садись на табуретку. Валяй с ходу все, что известно о Борисе Савинкове со слов твоего приятеля Кракова.

— Жизнь моя — это удивительный роман,— сказал Ванечка, усаживаясь на табуретку и понимая, что этой табуреткой его будут бить.— Простите, я не слишком утомил вас своим рассказом?

— Нет. Пока не засыпаю. Давай покороче.

— Покороче будет так: пока не станете мне платить, ничего говорить вам я не буду... Принимайте меня обратно в эм-вэ-дэ, тогда и спрашивайте.

— Встань!— сказал Курлов.— Табуретка понадобилась...

Над ним звучал голос жандармского генерала:

— Говори, паразит, за сколько банных веников ты продал нас Бурцеву? А кто скупал для Пурталеса суворинские акции? А что знает Краков о Борьке Савинкове?..

...Через несколько дней он вернулся домой как ни в чем не бывало. Надежда Доренговская встретила его слезами:

— Ванечка, о боже, что с тобой сделали!

— Честнейшие люди,— сказал,— служат в царской охранке. Смотри сама: зубы выбили, а коронки тут же вернули... В какой еще стране возможна такая трогательная забота о человеке?

. . . . . .

О нем существует книга — «Русский Рокамболь»!

10. КОЛОВРАЩЕНИЕ ЖИЗНИ

Владимира Николаевича Коковцева навестила красивая госпожа М., в прошлом придворная дама. Прослезившись и мило высморкавшись, она сказала певучим контральто:

— У меня записка лично от государя императора... к вам, Владимир Николаевич. Мне нужно (срочно!) сто двадцать тысяч.

Коковцев был человек умный, хорошо воспитанный, но болтлив не в меру и сейчас завелся как шарманка на целых полчаса, рассказывая прекрасной госпоже М., как трудно быть в России министром финансов, что десятимиллионный фонд давно исчерпан, что покрыть расходы казны без ведома Государственной Думы (и без прений в ней) уже не представляется возможным...

— Владимир Николаевич,— сказала госпожа М.,— я прекрасно вхожу в ваше положение, но

войдите и вы в мое: мне срочно (даже очень срочно!) нужны сто двадцать тысяч рублей.

— Высочайшее повеление,— отвечал Коковцев,— я должен исполнить, и просимую вами сумму вы от меня получите, но, мадам, я вынужден доложить его величеству об источнике этой суммы.

— Золотой вы человек!— сказала госпожа М.— Мне ведь важно получить деньги, а источник золота меня не касается...

Через несколько дней Николай II заметил Коковцеву:

— Из личных денег моего Кабинета вами изъято сто двадцать тысяч рублей. Мне неловко говорить вам о своей эмеритуре, но вы и сами понимаете... деньги на земле не валяются.

Коковцев показал царю его же записку.

— Вы ее дали для госпожи М.,— пояснил он.— Но вам известно, государь, что ресурсы казны исчерпаны, а деньги, как вы высочайше заметили, на земле не валяются, и посему я был вынужден прибегнуть к капиталам вашего монаршего Кабинета.

Царь две недели подряд с Коковцевым не разговаривал. Императрица же при встречах с ним делала вид, будто он обворовал ее в темном переулке. Миллиардеры, живущие задарма, на всем готовом, в сказочных дворцах, наполненных сокровищами, они выедали казну, как крысы, забравшиеся в головку сыра, но... только посмей тронуть их кубышку! Коковцев рассказал этот случай жене:

— С тех пор всякие записочки о выдачах прекратились. Свой карман они берегут так, будто едут в переполненном трамвае. Понимаю и Распутина, ищущего прибылей на стороне...

Вскоре парализованная от сифилиса красавица княжна Саломея Орбелиани (кстати, бывшая любовница Николая II) плакала перед царем, прося у него пять тысяч на лечение, но он не дал. Орбелиани потом сама же и жаловалась Коковцеву:

— Что случилось? А раньше давали... записочку!

Коковцева посетил Егорий Сазонов, наглость которого не поддавалась описанию. Кандидат сомнительных прав, Сазонов в дни революции опубликовал фельетон Амфитеатрова на Романовых, а теперь, когда баррикады разобраны на дрова, он вступил в черную сотню... Сразу видно «принципиального» человека!

Устало вздохнув, министр сказал:

— Ах, это вы... Что у вас ко мне?

— Профессора Мигулин и Алексеенко (ну и я, конечно) просят вас утвердить устав Хлебного банка.

— Какого?— переспросил министр.

— Хлебного...

Владимир Николаевич заведомо знал, что никакого Хлебного банка не возникнет, но жуликам на хлеб всегда хватит и даже детям их останется, а банковские уставы продаются, как облигации.

Коковцев раскурил длинную сигару «Корона Британии».

— Я не верю, будто вы упрятали за решетку своего родного брата, как о вас говорят. Но я не верю и тому, что вы были другом повешенного Желябова... Простите за сентенцию: все-таки неприлично бывать в том доме, хозяина которого вы ругаете!

Сазонов засмеялся. Его еженедельник «Экономист» регулярно устраивал для Коковцева китайскую пытку: по капле, по капельке, не спеша, год за годом министру долбили череп, терроризируя его критикой. Ведь даже вселенский грех «винной монополии» сваливали на Коковцева, обвиняя его в спаивании водкой народа. Чувствительный к критике аристократ, дабы утихомирить живодерские наклонности плебея-издателя, субсидировал Сазонова дачею в его журнал прибыльных объявлений. Но Сазонов (к несчастью Коковцева!) имел глаза во много раз больше желудка, и сейчас он дал понять министру, что поезда в Царское Село ходят каждые полчаса. Сразу стало понятно развитие интриги: в Царском охотно принимают Распутина, который от царя и царицы едет ночевать на Кирочную — к Сазонову... После разговора, неприятного и тягостного, Коковцев вечером признался жене с брезгливостью:

— А меня стали шантажировать именем Распутина! Сазонов намекнул, что мою особу могут шлепнуть лопатой, но зато могут и оставить во здравии... могут даже сделать премьером!

Анна Федоровна Коковцева пришла в ужас:

— Володя, дай ты им! Дай... Пойми, что Столыпин тебе не опора. Это садовый георгин, хотя и пышный, но стебель его слабый, и он сразу надломится, когда на него облокотишься.

— Пусть георгин! Не опираться же на чертополох.

— Не связывайся с ними — дай!

— Но если я дам, тогда-то и буду связан...

Коковцев был человеком честным, и в обширную летопись грабежа русской казны он вошел как собака на сене: сама не ест и другим не позволяет. Но теперь Владимир Николаевич понимал, что, как бы он ни «трезорил» этот стог сена, распутинская шайка все равно сено по клочкам растащит... Утром он сказал жене:

— Придется мне утвердить устав Хлебного банка!

Позже он стороною выведал, что устав этого банка Сазонов продал на юге страны за четверть миллиона. Разбогатев, этот экономист тут же разлаял работу министерства финансов, куда опять и заявился, чтобы продолжить китайскую пытку... Свою дружбу с Распутиным он использовал на все корки! Теперь он, помимо журнала, хотел издавать еще и газету. Коковцев испытал состояние карася, который сидит на крючке, а его, бедного, прямо за губу тянут из родимой стихии на сковородку... Келейно он созвал на Мойке у себя директоров кредита, директоров госбанков, и сообща они постановили: дадим! Объявив между собой подписку, они вручили Сазонову сто тысяч на процветание его новой газеты...

Коковцев не сдержался и все-таки сказал:

— На этот раз вы залезли в мой карман!

— Извините,— отвечал Сазонов, забирая деньги...

. . . . . .

Газеты оповестили Россию, что старец Гриша вновь объявился в Царицыне, где затеял создание

женского (!) монастыря, для которого уже подбирал штат — из молодых да красивых. Газеты сообщали, что устроитель монастыря «садится с женщинами на один стул, целуется, гладит их за лопатки (и не за лопатки), произнося фразы вроде следующей: «А не люблю я этой Х., уж больно толста, а ты куды как покрепче да круглее...» Ясно, что монастырь обещал быть очень строгих правил! Между тем травля старца в печати продолжалась, и Гришка не спешил в столицу. Наконец он осознал, что испытывать терпение царицынских жителей далее нежелательно, и стал собираться в дорогу. На вокзале его провожала толпа, одни бабы молились на Распутина, а другие плевались в него — все как положено! С площадки вагона Гришка стал говорить речь, «но речь его,— писал Илиодор,— была такая путаная, что даже я ничего не понял». После Распутина выступил с речью один пьяный абориген — и тоже никто ничего не понял. Илиодор решил вмешаться, «но Григорий сделал в мою сторону жест рукою, как генерал солдату, когда солдат что-либо невпопад скажет, и в духе придворного этикета он промолвил пьяному:

— Продолжайте, пожалуйста. Продолжайте...»

Пьяный выступал до тех пор, пока поезд не тронулся.

В купе ехали какие-то молодые чиновники, читавшие о нем в газетах. Распутин, обожавший даже поганую славу, с гордостью заявил попутчикам, что Распутин — это я! Ему долго не верили, так что пришлось поведать о себе немало пакостей, пока не поверили... А поверив, чиновники с интересом спрашивали:

— Неужели все это правда, что о вас пишут?

— Да врут половину, а другую половину... кто не без греха? Одно меня сердит: псинаним придумали, в «Новом времени» кака-то «маска» про меня стала писать. Что ни слово — все правда! Знай я, кто он, пошел бы и настучал в морду. Но он же, анахтема, за псинаним спрятался... «Маска»! Поди ж ты, сыщи ево...

Пока он там куролесил по задворкам империи, слухи о его безобразиях копились в келье архимандрита Феофана, и (как принято говорить в консисториях) «владыка омрачился». А тут приехал епископ Гермоген, новых сплетен подбавил и сказал Феофану:

— Не на того Холстомера мы ставили! Гляди, скоро Гришка так возвысится, что мы ему вроде гнид покажемся... Сказывал мне борец Ванюшка Заикин, который на еропланах летал, что с высоты люди мельчей муравьев видятся... Дело ль это?

В интервью газетчикам Гермоген заявил:

— Святейший Синод, печась о духе народном, недавно воспретил постановку пьесы Леонида Андреева «Анатэма», где от сатаны запах серы исходит. Верно, что нельзя сатану на сцене играть. Так почто же, спрашиваю я вас, мы Гришке беса играть позволяем?..

Почуяв в лице Гермогена опору для себя в Синоде, Феофан при свидании с императрицей объявил ей:

— Едет сюда богомерзкий и грязный шут Гришка Распутин, едет за виноградом царским, благоуханным, а я, виноградарь немощный, не для него взращивал ягодки в покоях сих. Государыня! Если я не скажу этого тебе, то кто еще скажет? Отрекись же от Распутина и впредь не путай бога с дьяволом!

Александра Федоровна вытянулась — во гневе:

— Мои глаза не увидят вас больше,— прошипела она.

Злыми слезами разрыдался Феофан, взмахнул крестом:

— Пропадете вы... с Гришкою-то!

— Уходите,— велела царица.— Еще одно слово, и я навсегда забуду, что вы были моим духовным пастырем...

Гермоген прибыл в столицу на зимнюю сессию Синода и, как заведено, представился императору. Николай II сказал ему:

— Не понимаю, зачем вы Григория Ефимовича совместили с этой дурацкой «Анатэмой» бездарного Леонида Андреева? Григорий Ефимович принят в нашей семье как... умный человек.

Гермоген, пылкий мракобес, запальчиво ответил:

— Где вы ум-то у него видели? Я хотел его священником сделать, поручил Илиодору подготовить его, так он бился с ним как рыба об лед, а Гришка — олух, ни одной молитвы целиком не знает.

Николай II махнул рукой: прочь. Возникла дикая ситуация: *реакция выступала против реакции.* Конечно, в этот момент царь не подумал так, как у меня здесь написано, но и он, кажется, ощутил всю остроту создавшейся обстановки; он решил: «Теперь, если Столыпин пожелает разорить это гнездо Гермогена и Илиодора на Волге, я возражать не стану!» Вслед за этим стала собирать свои вещи, желая покинуть царский дворец, нянька наследника престола Елена Вишнякова. Императрица велела няньке подробно доложить, как ее растлил Распутин, после чего Алиса положила подбородок на валик кресла и долго смотрела на Вишнякову синими глазами.

— И ты хочешь, чтобы я поверила тебе?— спросила она.— А мне кажется, ты вовлечена в заговор тех недобрых сил, которые сейчас ополчились против отца Григория... Говори же честно, кому ты еще рассказывала обо всем этом?

— Фрейлине Софье Ивановне Тютчевой.

— Хорошо. Ступай. Я видеть тебя не желаю...

В седьмом часу вечера Тютчеву, заступившую на фрейлинское дежурство при дворе, навестил скороход:

— Вас просит в бильярдную его величество.

Николай II встретил женщину словами:

— Софья Ивановна, что за сплетни вокруг моих детей?

— Никаких, государь. Дети есть дети.

— А... Вишнякова? Для этой женщины, взятой из народа, мы с женою так много сделали, а она... о чем она, дура, болтает?

Тютчева подтвердила стыдный рассказ Вишняковой.

— Выходит, вы тоже не верите в святость Распутина?

— А почему я должна в это поверить?

Царь точным ударом загнал шар в лузу. С треском!

— А если я вам скажу, что все эти тяжкие годы после революции я прожил исключительно благодаря молитвам Распутина?

— Я позволю себе усомниться в этом, ваше величество.

Николай II искоса глянул на фрейлину: перед ним стояла внучка поэта А. Ф. Тютчева, женщина сорока лет, с мощным торсом сильного тела, обтянутая в дымно-сиреневую парчу, из-под стекол пенсне на царя глядели едкие непокорные глаза.

— К чистому всегда липнет грязное,— сказал царь, невольно смутившись.— Или вы думаете иначе, Софья Ивановна?

На это он получил честный ответ честной женщины:

— Да, ваше величество, я думаю иначе.

— В таком случае я вас больше не держу.

— Позвольте мне понять ваше величество таким образом, что отныне я могу быть свободной от придворных обязанностей?

— Да. Зайдите к моей жене... попрощаться.

Следуя длинным коридором, Софья Ивановна отстегнула от плеча пышный бант фрейлинского шифра, в котором красовался вензель из заглавных букв имени-отчества Александры Федоровны, и этот шифр она положила с поклоном перед императрицей.

— Я чрезвычайно счастлива, ваше величество, что поведение Распутина делает невозможным мое дальнейшее пребывание при вашей высочайшей особе. Я пришла откланяться вам...

Царица знала о попытке Распутина изнасиловать фрейлину, и она — очень спокойно — дала ей понять:

— Но, милая, Распутин — это же ведь не пьяный дворник. Вы должны бы радоваться этому обстоятельству.

— По-моему, никакая женщина этому не может обрадоваться.

Царица (немного смущенно):

— Я не так выразилась. Ну, если не радоваться, то хотя бы... стерпеть.

— Странные советы я слышу от вашего величества.

— Ничего странного. В вас вошел бы святой дух...

Тютчева вышла. Я не выдумал этих диалогов! *

...Распутин приехал в столицу и, засев на квартире Сазонова, сразу же стал названивать по телефону Вырубовой:

— Слышала, как Гермоген-то меня обложил? Феофана не надо! Так и скажи папе с мамой, что, покеда Феофан здеся, я не приду... молиться стану. Тютчевой по шапке дали? Дело! Вишнякова — дура, она сама ко мне лезла. Чисти дом, Аннушка, чисти! А как ишо там «Анатэма»? Это што? Про бесов? Не надо про бесов... Писателев тоже не надо: от них много смуты идет!

Василий Иванович Качалов вопреки замыслу автора все-таки создал на сцене трагический образ современного беса Мефистофеля, полный сатанинского пафоса разрушения. А после всей этой крутни и нервотрепки императрица сказала:

— Ники, ты должен вмешаться. Театр Станиславского нам не указ, а здесь, в столице, «Анатэма» Леонида Андреева поставлена не будет. Это черт знает что такое... И вообще,— разрыдалась она,— я не выдержу! Мне все уже опротивело. Каждый день какие-нибудь новые гадости. Сколько можно! Я скоро сойду с ума...

. . . . . .

В растопыренных пальцах Распутин держал блюдце с горячим чаем, поддувал на него, чтобы скорей остыло, и говорил:

— Не пойму, Егор, откедова эта Маска, что меня в газетах ругает, все про меня верно описывает? Ежели б этот псинаним мне попался, я бы ему всю рожу расковырял...

Маска — псевдоним Манасевича-Мануйлова, которому Сазонов (чистая душа!) и выдал тайны быта и жизни Распутина, а теперь он (дивный человек!) решил продать Распутину и самого Манасевича-Мануйлова... Надевая серую шляпу, экономист сказал:

— Так и быть, едем. Я покажу тебе эту Маску!

Приехали на Эртелев переулок, в дом № 11; здесь размещалась редакция «Вечернего времени», филиала «Нового времени». Сазонов объяснил, где кабинет Маски, а сам идти уклонился:

— Пока ты там его ковыряешь, я в пивной посижу...

Распутин, напрягаясь телом, через три ступеньки — прыжками, решительный и сильный, взлетел по лестнице на четвертый этаж, по табличкам на дверях отыскал номер кабинета своего хулителя. Без стука отворив дверь, вошел. За столом сидел круглолицый (словно кот) господин без пиджака, опоясанный французскими подтяжками, и вел беседу по телефону. Разговор шел о зубах, а так как у Гришки зубы болели часто, то он со вниманием прислушался.

— Коронки вернули,— говорил Ванечка,— а зубов не вставили. Три передних... Почему? Но я же не пенсии у вас домогаюсь, а лишь того, что положено: выбили — вставляйте... на казенный счет! Это неправда... вранье. Курлов ведь ясно сказал, что я пригожусь. А если так, так на что я вам сдался... беззубый-то?

Повесив трубку, Манасевич-Мануйлов сказал:

— Какого ты черта сюда вперся?

От такого приема Распутин малость потускнел. Вежливо, даже сняв шапку, он спрашивал Маску для разговора.

— А ты кто такой?

— Распутиным будем... Новых — по пашпарту.

— А-а-а, куманек... явился. Мое почтеньице!

Распутин был готов драться, но вид наглого жур-

---

* Тютчева С. И. (1870—1957) — заслуженный советский искусствовед, научный работник музея-усадьбы Мураново; М. В. Нестеров написал портрет этой женщины на фоне «тютчевского» пейзажа (находится в Горьковском художественном музее).

налиста смутил его, и Гришка как-то вяло, извинительно бормотал:

— Пишут тут обо мне всяко... нехорошо пишут...

— Ну, пишут... так что? Тоже писать захотелось?

— Оно не про то. Я вот и говорю, что ежели писать, так ты пиши... оно понятно! Но ежели ты жук, так ты мне прямо и скажи: я, мол, жук, и тогда я тебя пойму... Кто не без греха?

Манасевич набулькал себе воды из пыльного графина, попивал малюсенькими глотками, смакуя, будто ликер. Сказал:

— Значит, как я понял, ты мною недоволен? Признаться, я тоже не всегда доволен собою. Можно бы писать и лучше. Но ты, приятель, ошибся, надеясь в Эртелевом переулке встретить Пушкина!

— Нельзя обижать хороших человеков!— выпалил Гришка...

Вслед за этим произошло нечто феерическое. Ванечка каким-то полицейским приемом обернул Распутина к себе спиною. Гришка ощутил страшный удар по затылку, отчего согнулся и упал на четвереньки. При этом лоб его упирался в нижнюю филенку дверей. Последовал завершающий удар ногой под копчик, двери сами собой растворились, и старец птичкой выпорхнул из кабинета.

— Не мешай людям на хлеб зарабатывать,— сказал Ванечка, отряхивая прах и пепел Распутина со своих шулерских дланей. Удивительно громко стуча сапогами, Гришка мчался вниз по лестницам редакции, а из кабинетов высовывались потревоженные сотрудники Борьки Суворина, спрашивая о причине шума. Манасевич-Мануйлов не сказал им, что ему нанес визит сам Распутин.

— Да так... Приходил один читатель, удрученный неправдами жизни. Ну, я и показал ему, что аптека находится за углом направо...

Распутин (бледнее обычного, весь дергаясь) спустился в подвал пивнухи, где расселся Сазонов, заказавший дюжину пива.

— Ну как?— спросил.— Повидал Маску?

— Дык што? Само собой... малость поболтали.

— О чем же?

— Как сказать? О разном... больше о жисти.

— Манасевич хороший парень, правда?

— С ним жить можно,— поникнул Распутин над кружкою пива и потянул к себе с тарелки рака.

— Ну вот!— обрадовался Сазонов.— Я знал, что вы друг дружке понравитесь. Что ни говори, а два сапога — пара!

Распутин долго чистил рака, потом признался:

— А все-таки он большой нахал. Уважаю!

. . . . . .

Неожиданно для Сазонова Распутин впал в глухую депрессию, будто алкоголик после страшного перепоя, сидел на постели и днем и ночью, нечесан, немыт, в одном исподнем, мычал непонятно:

— М-м-м, бяда... пропал я, бедненькой!

— Ефимыч, да ответь толком — что с тобой?

Активное «изгнание бесов» в Царицыне не прошло даром. Случилось невероятное: *Распутин стал импотентом...* Он плакал:

— Господи, на што ж я жить буду теперича?

Утром его потревожил телефонный звонок:

— Григорий Ефимович, с вами говорит доктор Бадмаев... знаете такого? Я слышал, что у вас, мой дорогой, случилась маленькая мужская неприятность... Это чепуха! Навестите меня...

(Продолжение в следующем номере.)

Валентин Саввич Пикуль

НЕЧИСТАЯ СИЛА

Роман

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ», ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ, СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *И. Вититнева*

Художественный редактор *А. Моисеев*

© Иллюстрации *П. Пинкисевича*

Технические редакторы *А. Кашафутдинова, Л. Ковнацкая*

Корректоры *О. Журавлева* и *М. Макарова*

Сдано в набор 20.08.90. Подписано в печать 15.11.90. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 10,08. Усл. кр.-отт. 11,34. Уч.-изд. л. 13,9. Тираж 3 200 000 экз. (1-й завод 1 - 2 700 001 экз.). Заказ 588. Цена 1 р. 22 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской области.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

Уважаемые товарищи!

С этого года подписка на «Роман-газету» проводится на год, полугодие и поквартально. Стоимость подписки не изменилась. Цена одного номера 1 р. 10 к.

План выпуска «Роман-газеты»
на 1991 год:

I квартал

1—3.	Пикуль В.	Нечистая сила. Роман.
4.	Повести	В. Астафьев. «Людочка» и другие.
5—6.	Фаулз Д.	Подруга французского лейтенанта. Роман. Перевод с английского.

II квартал

7—8.	Успенский В.	Тайный советник вождя. Роман. Кн. 1—2-я.
9—10.	Белов В.	Год великого перелома. Роман.
11—12.	Карпов В.	Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. Литературная мозаика.

III квартал

13—14.	Балашов Д.	Отречение. Роман.
15.	Сборник фантастики	Произведения зарубежных авторов.
16.	Повести	В. Быков. «Облава» и другие.
17—18.	Волкогонов Д.	Триумф и трагедия. Кн. 2-я.

IV квартал

19—20.	Алексеев С.	Крамола. Роман. Кн. 2-я.
21.	Каипбергенов Т.	Каракалпак-намэ. Роман-эссе.
22—24.	Солженицын А.	Август Четырнадцатого. Роман. (1-я часть публикации)

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Витаутас БУБНИС, Олесь ГОНЧАР, Геннадий ГОЦ, Юрий ГРИБОВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Александр ЖУКОВ, (ответственный секретарь), Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора), Василий НОВИКОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Леонид ФРОЛОВ

1 р. 22 к.

70782

РОМАН-ГАЗЕТА